

№ 2015

3589 к



ДЮСЕНБЕК
НАКИПОВ

**ТЕНЬ
ВЕТРА**

DN

0124171212

11 2015/35597

Бекету Махматову
с признательностью

ТЕНЬ
ВЕТРА

ВЕЛКО
КО

КО

УДК 851.214 : 688
ББК 84 (82-470) 74
Н 514

ТЕРА
ИЗДАНИЕ

Наманов Д.
Н 51 ТЕНЬ ВЕТРА. Роман

Новый роман писателя
продолжает его первое романистическое
художественное творчество, посвященное

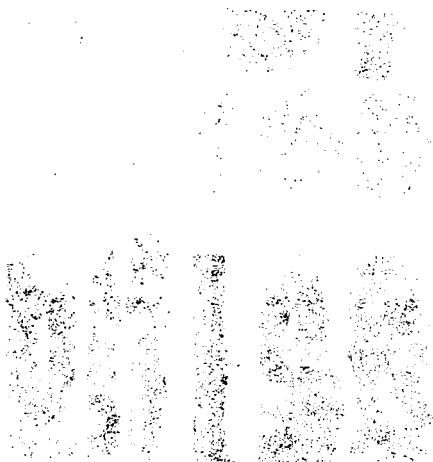
4702010201
0060202

ISBN 966-443-72-3

© Мананов Д., 2002

УЛТИК АКАДЕМИЯНИК КИТАПХАНОСИ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНИҢ
00322241

УДК 821.512.122-31 ✓
ББК 84 (5КАЗ-РУС) 7-44
Н 217 ✓



Накипов Д.

Н 21 ТЕНЬ ВЕТРА. Роман. – Алматы : *CaJa*, 2009. – 272 стр.

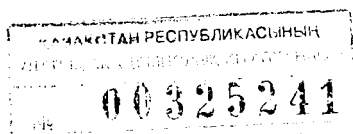
Новый роман Дюсенбека Накипова «Тень ветра» можно рассматривать, как продолжение его первого романа «Круг пепла». Во всяком случае, в плане единого художественного стиля, своеобразного и дерзкого.

Н 4702010201
00(05)09

УДК 821.51
ББК 84 (5КАЗ-РУС) 7-44

ISBN 9965-443-79-3

© *CaJa*, 2009
© Накипов Д., 2009



Дюсенбек Накипов

ТЕНЬ ВЕТРА
(роман упований в круге пепла)

Алматы
2009

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

*...на горизонт ушли-ускакали
... равнину трав пересекли... не нашли
края... мать-кобылица устала... в тра-
вах-росах осталась... вошли в горизонт
... стали к небу подниматься... ветрами
овеянные, сквозь кольца времени про-
шедшие... оставившие печаль в кругах
пеpla... не пораньтесь о лезвие листи-
ка...*

Из песен самионов

Глава 1

*...вспороть брюхо бабье легко... особо, если в тягости она...
взмах меча... миг... и точеное-каленое лезвие вновь возвращает-
ся в ножны... даже не окровавившись... движение отточено,
лицо непроницаемо... убийце-самураю должно не ронять лица...
даже в ранге палача... а что до той, что вспорота от грудины
до паха?... так, то лишь блик на клинке... роса краткая-летняя...
вспыхнуло-погасло-испарилось... дело-то житейское-привыч-
ное... а у той, что ахнуть не успела перед смертью, карма та-*

кая... мать твою... скок и храп конский... свирепая улыбка-оскал и рык звериный из-под шлема... крик женичины убитой остался далеко позади... за туманами семи веков... но... но... жизнь-то не клинок... обратно не вставишь – не вернешь в брюхо-ножны... не в силах никто меч жизни вернуть в ножны тела... нет... нет... и лишь дух червя могильного торжествует в такую минуту... грядет время его встречи с человеком и вознесет он моленья свои безмолвные в алом-малом храме мертвого тела... душу станет высвободить... человечью... червь сомненья при жизни, червь могильный по смерти... верные друзья человеческие... да?... нет?... а?..

Ожерелье осени рассыпалось и ветер гонял его жухлые останки. Медово томились злато-багряные-истонченно-томные листья. Последние. Медитативно густела синева неба. Тихо и грустно томилось осенним разноцветием ущелье Медео, сотворенное в давние времена свирепой волей грязекаменных селей. Склоны гор над городом прострочены тяжелыми тёмно-зелеными тянь-шаньскими елями. Уже, вероятно, началась тихая миграция подземного насекомого населения вниз, к теплему пупу земли. Непревзойденная никем горная река Кім-асар несла свои ледяные белые воды в город, не любя его, как прежде, за то, что он чрез меры разросся, загнал её в нижнем течении в бетонные шоры. Город стал грязен и шумен. О машинах несметных, испражнявшихся вонючими выхлопами и говорить не приходилось. Как и о горожанах, испорченных потребительской проказой. Суетой.

Огненный Лис заката менял окрас и искал нору для зимней лёжки. Великий Белый старец – Кыс уже начал обходить снежные вершины гор, выбирая трон для новой тысячелетней зимы. И лишь окончательно воцарившись, с первыми снегами он станет вспоминать время своей молодости, когда прекрасная степная воительница-амазонка, не стерпев своего поражения от Серого Воина, ушла в чужедальний край земли, где стала рекой.

... в спиральной логике галактик нет места земным реалиям хотя и здесь хватает извилистых линий и кругов на воде, вогнутых и выпуклых поверхностей, причудливых листовенных и

ветвистых форм развития, включая скрытые искривления корней, а также раковины улиток и их водных сестер-медуз, голова каковых не услышаны ракушкой человеческого уха, разве что исключить жужжание жужжальцев-мух-жуков и легкий треск крылышек стрекозы, узоры которых много загадочней тайн вселенной, круговращаемой неведомым колоссом с женской сутью гравитации, в свою очередь искривляющей пространство, презрев простоту прямых линий вместе со сверкающей многогранностью мгновенно тающей снежинки, если ей выпала судьба упасть на ладонь ребенка, чья наивная интуиция позволяет ему уловить невидимые-неслышимые биоритмы-узоры ещё нарождающейся души своей младенческой, чьей силы недостаточно, чтобы изменить судьбу спиральных галактик, ввинчивающихся в черные дыры космосмертей и самопоглощающихся материй, каковым нет дела до вычурно-простой сути человека на земле во все времена...

В то же время, на другой стороне планеты, гигантский речной сом-сонм зашевелился на дне, в устье широкой обильной-равнинной реки (реки, в природе исконной своей, бывшей некогда женщиной), лоноотверстой и распахнутой вечному любовнику своему – морю, который то накатит страстно-сильно-приливно, то снова уйдет на волю, в простор волн. Проказник-ветренник синий. Сом-сонм речной придонный и древний давно уже не помнил, когда он родился и был ли рыбьим мальком, как не ведал и того, для чего он рожден и разросся гигантом таким. Гены его соминые-сонмные-тминные-длинные не имели в себе кода старения-окончания в смерти. Сонм столетий рос-возрастал сом многократно, пожирая все обилие пищи без разбора (живой или дохлой), что несла ему великая река-женщина-мать в устье своё. Сом пожирал и то, что наносил временами хахаль-море-любовник (приливный и непостоянный) женщины-реки. И от пищи этой многой-несметной-непотребной сом-сон-сонм придонной-речной стал таким огромным, что выловить-уловить его обычным способом люди уже не могли. Многие и вовсе принимали его за гладкое дно-русло речное-морское на стыке-устье, имевшее природное свойство постоянно перемещаться. У людей

это называлось половодьем весенним или обмелением, когда волнениями свыше наступала засуха, дожди иссякали или в дальних горах рано истаявал снег. Длиннющие усы сома цеплялись за корни деревьев и камня, и потому он мог подтягиваться вверх по течению, замыкая своим чудовищным ртом все устье-лоно реки, щедро изливавший в чрево ему весенние паводки и жирный ил. Насытившись, сомище-сонмище распускал усы-петли свои и вновь сползал вниз, в течение морское-донное, позволяя женщине-реке и любовнику-мору заниматься соитием долгим-влажным-смадным-страстным-волнокипящим. Устье-лоно великой реки, как и место их соития-встречи, с безмерным волнистым фаллосом-морем менялось несчетное количество раз, но речной-придонный сом-сонмище-гигант плотоядный-всеядный был всегда.

... и таки веждь... дробь вещь...ибо камня не слово... ам...лоно...зев...время...аз... то бишь есмь... он-тот, о ком низ-зя...долгое, как зубная боль, молчание...вне слова...н-н-н...к-к-к...и выплёвывая зуб, выываешь крик...аааа...сведующий да поймёт...а мы видим беззубое-кричащее и слышим-зрим потустороннее и немно проступает нечто-ничто...ам-аз-о-нн-кк-аааа...мама...река...изз...ттравв...ссс-ттт-еее-ппп-ее-ийй... т.е. из трав степей...не путать с озоном или зоной... с азаном-молитвой...зело...то бишь, новыми словозвучиями энд звуками... без смысла...грядущего...из тёмного...графика пеццер...вдыхая хрипло... кроманьонно... напоследок... с всхлипом...ххх...ууу... иии...до ааа...замыкая уста затем...ннн...аз воздам-двигну-создам-подвигну-и ад-дам...ввв...ррр...ааааа...адам плюс остальное плюс ева плюс зев плюс дыра плюс ам плюс лоно...еее...ббб...ааа... ттт... ььь...и забылось всё, аки зуб пропащий...

Века предстояния и века отстояния. В середине круговерти вселенной, меж тяготами земными и тем запредельным, где нет гравитации. Пославший этих четверых в дозор (к людям земли, в разное время) выслушал каждого, ничего не ответил и никого не допустил к себе. Он остановил их в поясе предстояния и отстояния от всех и всего. Невесомо застыв в позе думанья, Посылающий жизнь и дух в тот же миг с непостижной скоростью

облетал все миры по окружности. Скорость эта была так высока, что Посылающий обгонял свет и оказывался впереди него в совершенной тьме. В смертной тьме, в капсуле полного отсутствия всего: света-звука-гравитации и собственно самой вселенной и её вещества. А это означало, что и он - Посылающий отсутствует. Находясь в тайном и глубоком сомнении, Посылающий мог и не выходить из тьмы-тени ветра, тем самым уничтожив все миры и сущности, им сотворенные из хаоса ради гармонии, но всякий раз он медлил с решением и давал свету возможность снова лететь впереди себя, изливаясь повсюду, достигая земли, чьи обитатели поражали его своей неистребимой отвагой жить даже в тревожных ритмах смены света и тьмы.

...Пространство трясло. Дальнее и запредельное. Вибрации линии, звуков, объемов, полостей становились столь велики, что мыслимые связи материй-энергий-сущностей были на грани разрыва. Гроссмейстер вибрирующих линий, находясь в полях второго неба, вновь с горечью думал о невозможности гармонии. Лишь на миг он увидел свою Лунную красавицу, как она тут же исчезла в тумане нескончаемых изменений форм, хотя должна была и могла находиться рядом с ним, подобно этому круглому пёстрому дереву, которое соединило, наконец-то, свои корни с кроной, что придало стволу форму круга с тонкими ветвями внутри. Так творится круг пепла. Только здесь в просторах пустынного второго неба Гроссмейстер понял, что именно из невероятных и критически опасных вибраций, во время свирепого порыва-вихря великого ветра-хаоса заплетается в спираль двойная нить ДНК, и всякий раз во всё новых вариациях, дабы ни одно живое существо не повторяло другое, а тем более, если это человек. Но видел Гроссмейстер и такие спирали, где нить разрывалась и тогда на землю летел бесформенный ком-клубок и становился там, внизу, на земле античеловеком-людоедом-проктозом в человеческой плоти, почти неотличимый от прочих людей. Гроссмейстер сел на облако и стал фиксировать хаос...

Глава 2

...учиться проступать, чтобы стать заметным... некоторых не видят-не провидят, даже стоя рядом... других еще издалека примечают, ибо они научились проступать, найдя или накопив в себе огромную силу, которая позволяет им проступать из себя, как роса на камне... вернее, это камень проступает росой... не тот камень, на который дождь выпал или он стоит упрямо в потоке ручья-реки... нет, тот камень, что в каменистой пустыне, безводной, живет и жаждет проступить влагой...такой камень умеет порой внутри себя так усилиться, что после целой ночи, глухой и бессонной, станет на утро проступать росой... росный камень это... и птицы редкие к нему слетаются и живность разная...грызуны-насекомые-ящерицы собираются в свой черед, на рассвете и утоляют жажду жизни той самой-сильной-скупой-редкой росой рассвета...без такого сильного росотворящего камня они умрут-погибнут-высохнут, когда жестокому солнцу придет свой срок взойти в зенит и безжалостно испепелить пустыню...но камень, проступающий росой, и самому солнцу не по лучам-зубам... разве что, через тысячудругую лет-солнц-лун этот заветный-заметный-росный камень не рассыплется песком...как стать таким?.. где та сила, чтобы проступить росой, из себя вытаскивать свое-самое и сквозь кожу проступить светом-росой и быть видным-заметным-надобным для людей других...даже ночью... впотьмах... или для одной-одного хотя бы человека, чей взгляд с любопытством-вопросом будет обращен к тебе...либо хотя бы начало любопытство-внимания уловить... порыв души легкий... начало выделения тебя, как росы, из каменного тела...желание подойти к тебе, не как к предмету скажем какому, а приблизиться-прикоснуться к тайному, к тому, что под кожей, в сердце и мыслях, в кровотоках и лимфах...как такое внимание-побуждение почувствовать, как вызвать его и проступить особой субстанцией-запахом или быть может фосфоренцией-мыслесвечением неким?.. как?.. как?..

Мысль эта огромней-громадней всего прежнего... наваждение-ужас... вот того полюбили и видно это, а за что?.. а меня – нет... чем хуже я этого-той?.. что сделать надо, как проступить той самой таинственной-волшебной-магнитно-привлекательной-притягательной-ароматной росой, так чтобы без слов или знаков стало понятно: ты избран для любви... простая человеческая способность правильно думать-смотреть-мечтать позволяет иногда собирать фантастически-роскошные-свежайшие цветы, прозрачно-дымные и розовые на заре, голубые-синие днем и полудни, феерически-сиреневые и пурпурно-алые на закате, когда неспешно и беззаботно прогуливаешься по небесным лугам... в полях хорошего настроения... купаешься в реке мыслей, как в самом себе...

Так думала иногда Балерина, скучая и нежно думая о Гевре, когда его подолгу не бывало дома. Ничего, даже легкой досады не было в этом скучании-ожидании, а только цвели вот такие невероятные цветы.

Прошло чуть более года, как Балерина ушла из театра и неведомо куда исчез кот Батман, пепельный друг ее забытого одиночества. Ну, да что об этом думать, если у нее есть теперь Гевра, любимый человек и муж. Верно, сам Театр, подобно доброму рыцарю-волшебнику, подарил лучшей своей приме-балерине эту блаженную любовь, обручив ее с одним из самых верных своих оруженосцев, то есть, работников сцены.

Когда после года неразлучного-неотторжимо-страстного стонно-тонкого блаженства жить-грезить-есть-спать рядом с ним, а более всего (вершинное счастье) просыпаться ночью или на рассвете вместе. Но однажды утром, случилось неизбежное. Во внешнем мире произошли перемены и стало надобно теперь Гевре выйти из их малого рая и искать работу-пропитание. С той ночи, с которой (после театра и балета) явилась им во всей сияющей полноте любовь мужская-женская (в них и меж ними), когда в каскаде перетекания-переливания друг в друга порой терялась грань, где он-где она, и нельзя было отличить, что телесное и что душевное – все стало равным для них. Их страсть была выше всяких мечтаний о страсти земной-ураганно-безы-

мянной и несказанно-чистой, и не счесть было в ней всех полутонов-вариаций-инвариаций в непрерывном потоке чувств. Порой наступала-подступала тоска и острая мысль о танце утерянном, когда ноги-руки-голова-все тело просили-требовали сильного и надрывного(на грани боли) движения и музыка Чайковского врывалась в сердце, угрожая взорвать его, и тогда лишь эта и такая любовь неизменно спасали её от приступов слез о танце, но Балерина благодарила судьбу, что этот чудесный волшебный переход из балета в любовь-таяние-реяние состоялся. И шептала она себе:

...О, за что мне такие дары? Как и кого благодарить мне? То ли звезды и созвездия, удачно сошедшиеся и пересекшиеся надо мной или по ту сторону неба? То ли отца-мать своих, испивших горький настой печали и бед, и спасшихся умением растворяться в просторах степных, беседовать безмолвно с травой полынной-духмянной-окаянной-пряной или с птицами-ягнятами-живностью всякой вокруг себя говорить? То ли потому, что на меня изливали они любовь свою отцову-материнскую, и тем отводили печали от меня, или сглаз недобрых людей? Или благодарить неведомо откуда слетевшую на плечо мое лучезарную удачу-лебедь, когда взяли меня в балетную школу, хоть и плакала я тогда, неразумная, разлучаясь с привычным?..

Не было ответов, кроме истово-стыдливой и светлой благодарности за стечение обстоятельств. – Долго ли? – порой тревожно стучало в виске, но потом приходила мысль о Жизели, девушке-крестьянке, за которую ей пришлось так много страдать и душой и телом. Может, Жизель и теперь помогает ей? И Балерина улыбалась так, что у нее на глазах выступали слезы.

И вот вдруг, жизнь вне их любви стала рушиться-меняться и Гевре стало надобно уходить из дома, как всякому мужчине, кормящему и оберегающему свой дом и женщину. Теперь ей пришлось учиться науке расставания-ожидания и было то не легче, чем ремесло танца. Главным для нее стало теперь одно: не расплескать бы в этих, как ей казалось, пустых-полых часах ожидания капли-струи-водопады её любви. Как-то, выйдя из дома, она увидела сухонькую аже-старушку, продававшую вместе с семеч-

ками и куртом овечью шерсть. Сразу было видно, как искусно взбито это белое пушистое облако шерсти. Рядом лежали цветные мотки овечьей нити, видимо, скрученные на домашнем старинном веретене долгими вечерами за тревожными разговорами о непонятных и странных событиях (исчезновение привычных денег, появление кричащих на митингах и по телевизору людей) последнего времени.

Балерина купила у благодарной бабушки воздушную шерсть и мотки цветной нити, попросив приносить еще. Ей пришлось на ум научиться ткать из этих нитей картины её любви и ощущений, или выкладывать шерсть по контуру рисунка, как это делалось у казашек раньше и было забыто ради фабричных тканей и ковриков. Её навык вязальщицы мог помочь ей в этом, но в ней жила также еще неумершая-неистребимая память о древнем степном ремесле ткания-выкладывания картин из шерсти. Батик-панно. Так теперь модно назывались казахские традиционные «киіз-токма». Вскоре Балерина, после многих ошибок-проб и досады на себя, освоила азы древнего ремесла, придумав и сделав вместе с Геврой нехитрый инструментарий: ткацкий станок, спицы-крючки из дерева, которые так хорошо умел резать её возлюбленный. И вот, постепенно, порой мучительно-долго, стали появляться легкие абрисы, цветные композиции и линии-узоры, напоминавшие образы-ощущения, мысленные и чувственные картины их любви. И ожидать Гевру стало легче, и время вновь уплотнилось и стало снова зримым. Цветной пестрый кордебалет ее рыбок все также неостановимо плавал-вился-кружил в аквариуме, словно помогая проступить на батике коралловым садам. Некоторые узоры-линии, казалось, повторяли движения плавников или рисунок рыбьей чешуи. К этому добавлялись неразстворимые в воде-времени-памяти картины детства, балетные воспоминания, ноты музыки и волны чувств. Нужно было только терпение и упорство, чтобы сохранить яркость переживаний-флуктуаций, но это давно было уже освоено Балериной еще в танце. Стежок легкий, точный прокол иглы сквозь полотно основы, быстрый проплыв челнока в тесном канале станка и ... как когда-то на станке балетном начинали проступить узоры

движений. Только теперь это была невесомая мягкая шерсть, а не танец.

Занимаясь неспешным-неутомляемым делом вышивания-выкладывания узоров из шерсти, Балерина с невольной улыбкой вспоминала свои мини-битвы с холостяцкими привычками мужа (Гевра не рассказывал ей о его «подценной» жизни, ибо она была тайной сагой одиночества и долгой битвы с мигами «вчера-завтра» и с мигами «сейчас»). В первое время, её умиляло и сердило одновременно то, что Гевра всю свою одежду держал рядом с кроватью: брюки и рубашку на стуле у изголовья, а ботинки под кроватью. Каждую ночь, едва он засыпал глубоко после вспышек-лазури-сирени-индиго любви, она тихо убирала его одежду в шкаф, а обувь – в прихожую. Наутро она с улыбкой наблюдала, как Гевра просонья, вслепую шарил рукой в поисках одежды и пока он еще не проснулся окончательно, она попросту перекладывала его руку к себе на грудь и мгновенно его искания обращались в иное русло, всегда неожиданно подступавшего утреннего половодья чувств. Но после душа, когда надо было выходить в «мир за дверь», он по привычке, сначала шел к изголовью кровати, бормоча: – Ну где это, где? – И она, уже хохоча, вела его к шкафу и подавала рубашку. Он смущенно улыбался, понимая свою оплошность. И самой Балерине пришлось избавляться от своих «холостяцких» привычек, в число которых входили беспорядочно разбросанные трусики-лифчики и другие вещицы женского туалета. Все это пряталось теперь. Апофеозом этих борений стал небольшой «шедевр», придуманный ею. Своим каллиграфическим почерком, с завитушками и прочими украшательствами, она написала две записки: одну – на шкаф, другую – в прихожую. Текст забавлял обоих. 1-ый: *«Милый, твоя одежда должна обниматься с моей в этом шкафу.»* 2-ой: *«Айналайын, твоя обувь должна целоваться с моей на этой нижней полке.»* И там и там, подпись: *«В любую секунду – твоя.»*

В лето первого «года таяния» они совершали длительные прогулки в горы, которые Гевра отлично знал. Он водил ее в те самые места, где практически не встречались даже любители горных прогулок и где, когда-то, бродил он сам (ему казалось,

что это было очень давно). Гевра показывал ей свои любимые потайные места необыкновенной красоты: родник из-под влажного камня или им сотворенный грот, который она восхищенно принимала за естественный, чудесную маленькую рощицу берез в распадке уютного ущелья, где все еще сохранился шалашик, устроенный им так искусно, что тоже казался капризом природы. Этот шалашик вызвал у нее самые неожиданные ассоциации, и там, в шалашике, у них случился такой приступ страсти, когда трудно было определить, где срастаются ветви на дереве, откуда начинаются корни и какую мелодию завевает ветер в листве над ними. И только крохотная улитка-ребенок тьмы могла видеть это дивное стонущее и перекатывающееся существо о двух головах. В небольших, всегда неожиданно открывающихся, горных лугах цветы застенчиво-нежны, словно совсем юные девушки, уже ведающие о том, что в них проснулись древние-тайные-женские силы и отныне уже не могущие быть наивными и простоватыми девочками-шалуньями. Эти цветы, как юные девы, теперь больше таили, чем открывали... Когда из-за большой гряды гор появлялось солнце, всюду начинали сверкать краткие горные росы, рассыпанные по травам и ветвям багульника или кустов смородины. В таких горных лугах хорошо полежать вдвоем или сидеть в позе двух лотосов: мужской цветок внизу, а женский – сверху, и медитировать в любви. И глаза!.. Каждая пара смотрит в свою сторону: одна – видит освещенный солнцем склон ущелья, где среди камней пробирается вниз ручеек от тающих высоко снегов, а другая оглядывает тенистый овраг, где корни горных кустарников выходят наружу и оплетают мшистые камни, вновь уходя вниз, в почву-тьму, найдя сладостное место проникновения в лоно земное. И красота нетленная горных лугов в распадках, и любовь человеческая, если ей случится расцвести здесь, среди трав, цветов и камней на природе, без какого-либо стеснения и оков обыденного: все это – миг за мигом – и есть высшая суть бытия. Такие мгновения могут изменить не только судьбы людские, но порой и весь ход жизни на земле... *апрельский свет-снег на заре поутру... слияние-сияние обреченных на слияние... и поется азан... молодой муэдзин, недоспавший вчера... о человеке, подумай... просыпаться тебе или все еще спать?..*

Во время этих прогулок привычка Гевры есть всухомятку уже не раздражала Балерину, как если бы он то же самое делал дома. Ведь пища должна быть терпкой-вкусной-пестрой-острой, иметь все дразнящие-дремучие запахи-достоинства-свойства еды-явства для истинно мужского желудка. И Балерина терпеливо отучала своего мужчину есть всухомятку и наскоро: скажем, колбаса внакладку на хлеб или сыр, запиваемый кефиром прямо из пакета. Пришлось забыть и свои вегетарианские вкусы и делать суп на килограмм мяса, жарить котлеты с добавлением в фарш бараньего курдюка, специи и лука, а соус готовить отдельно в виде общигающего язык огня. В Балерине проснулся талантливый восточный повар-изувер и это постепенно становилось второй вкусной темой любви, и она повторялась три раза в неповторимой сиюте дня. Если зеленый перец и помидоры нафаршировать реберным, с жиром, мясом барана, мелко нарезанного(ни в коем случае фарш), вложить кусочек острого красного перца и головку чеснока в блюдо, а затем тушеный перец и помидоры сложить в глиняный горшок, залить варевом из жареного лука и джусая с букетом сушеных специй и виноградных листьев, долить туда нужное количество растительного масла, и все это! – поставить в духовку, то при вкушании баранина, томившаяся в двойном жаре огня и раскаленной глины, вызовет гурманский-густой-желудочный оргазм такой силы, что потом произойдут, неизбежно и высокие оргазмы плоти и вулканические выбросы плазмы чувств. Иногда случались сбои биоритмов, и Балерина, выспавшись днем, любила читать рядом со спящим Геврой и это чтение имело небывалую ранее глубину и доставляло иное наслаждение, как если бы в сюжете появлялся непредусмотренный автором герой. И это был ее возлюбленный, и он витал над строкою и меж строк. А если, в свою очередь Гевру томила бессонница, то стоило ему смежить веки, как спящая рядом Балерина принимала в его видениях-воображении образ дивной гурии рая, но всегда, по-земному доступной ему. Часто она виделась ему в прозрачных (из шифона разных цветов) тонких «тюниках», которые она шила специально для сцен любви, зная, что выходя из душа в таком чисто символическом, но плоть

взрывающем одеянии, она творит из него свирепого вепря и нежного принца, или дикого мавра (в зависимости от кроя и стиля этих чувственных «секс-тюник»). Таковы были эти обоюдные и неостановимые перетекания друг в друга и не имели над ними власть ни явь, ни сны. И не было меж ними границ-преград.

Глава 3

Отчего-то привиделось так... шаг качелей уменьшался... большая наклонная ветвь карагача-гиганта казалось недвижимой, как будто и не служила вовсе перекладной этим сельским аульным качелям (из аркана бараньего-тугого-витого-с конским волосом внаклад), но концы веток дрожали мелко, а листья так просто трясло, словно в некоей древесной «падучей», как если бы листья были не зелено-красными-родными детьми могучего черного дерева, а его пасынками-бастардами... Дрожь была и мальчика-бастарда на качелях, с запрокинутой головой и шалыми от качания глазами, сквозь косину-щель которых он уловил промельки синевы в густой кроне, досадливо пытаясь вновь увидеть то гнездо, где почудились ему птенцы...

...вот бы подняться-добраться до гнезда и потрогать пушистый клубочек перьев... почувствовать будущие крылья... быть-находиться у начала настоящего полета птицы, рожденной для неба без границ и для ветра без конца... жить иначе, головокружительно, вместо этого скучного качания от края одного маха до другого...

Цыплят он уже разлюбил, он становились обычными курицами, кудахтали и не поднимали голов к небу. Другое дело – птенцы птиц. Бастард спрыгнул с качелей и, в остатках-наплывах неожиданной досады, лег навзничь, на траву и продолжал летать уже в мечтах своих в густой-задумчивой кроне карагача. Ему казались понятными мысли-листья старого карагача и язык его бессловесный: шелест-шевеление в струях предвечернего ветерка-бриза-прохлады. Жаль только, что ствол черного дерева слишком широк и высок и далеко до первых ветвей (ему еще надо

расти самому), а пока приходится лежать вот так, скрипя зубами, окатываясь недетской злостью(недаром его за глаза прозвали ублюдком-бастардом). Надо подождать, когда наступит день-срок покорить это древо, добраться до нижних ветвей, влезть еще выше и найти гнездо пестрого дрозда, и увидеть-потрогать начало полета. И хотелось это сделать самому, без чьей-либо помощи. Качельные веревки тянулись вверх, как и мысли-мечты Бастарда.

Бастард еще не знал, сколько лето того года приготовило ему изобилия густой травы для игр, горьких слез обиды, овощей и тугих красных яблок для покраж, пескарей и форелей для ловли-ловитвы без удочек, и студеной воды для купания. Что такое эти «удочки» для настоящих пацанов?! Фук и тьфу! Тросточки-палочки какие-то с лесками, крючками-поплавками цветными. Смешно. Истинный сельский пацан ловит рыбу бреднем из собственной майки, завязанной в узел на одном конце, стоя по пояс в кипяще-студеном потоке горной речки, руками прижимая два угла тряпичного бредня у дна, а верхний, закусив зубами. И свирепо смотрит вверх по течению. Там другие пацаны из его ватаги отворачивают камни скользкие-тяжкие, вода-лед-кипяток окатывает их тощие зады и хлещет, как из брандсбойта. Эта же свирепо-студеная-пенная-с песчинками вода горно-речная ломит мальчику зубы, заливает лицо и глаза, но он терпит и ждет, весь уйдя в ощущение-азарт природного ловителя рыб. И нельзя ему спутать трепет коловоротной воды внутри майки с живым биением стайки пескарей, вброшенных потоком в бредень-майку и... быть может!.. с отчаянным танцем горной форели у подбородка и зубов, стиснутых намертво. Форель попадаетея редко, но такое случается и тогда ты – король горной ловли. Ловитель! Не какой-то там паршивый городской рыбак-пижон. Но пока... бредень трещит от напора воды меж двумя валунами, стынут зубы, глаза пожирают белый поток у глаз и пестрые горы вдали и... увва! Затрепетало-рвануло-забилось. Не зевай теперь, выхватывай бредень зубами-руками, стяни углы майки в тугой узел счастья и бросай на берег. Ступням больно на окатышах-щебне-корягах, но не оскользнься. Терпи. И тогда, швырнув бредень на траву

и песок, ты увидишь, наконец, сверкающую брызгами бешеную пляску пескарей, агатовых на солнце, а может быть!.. и высокий прыжок темно-сиреневой форели. Царицу потока. Гордую-сильную-горную. Нет, нельзя тебе Бастард забыть этого, чтобы ни случилось потом. А не то, в самом деле, станешь истинным Бастардом-ублюдком-изгоем.

Окончание четвертого года обучения в их начальной-колыбельной школе запомнилось Бастарду, да и всем одноклассникам, суматошной нелепицей. В момент, когда вручались им грамоты по успеваемости, в двери класса был нанесен сокрушительный удар. Все всполошились, как куры в курятнике. Чинность события рухнула. Таранные удары в дверь наносились с упрямой размеренностью нечеловеческого характера. Секунды ожидания неизвестного! Что может сравниться с ними? Потаенный страх-восторг! А вдруг- это Приключение?.. Классный руководитель - статная суровая дама (как и положено ей по статусу) после легкого замешательства решительно направилась к двери, толкнула створы наружу и... в класс ворвалось Оно!.. Крепкий, темно-бронзовый ягненок-кошкар, с наметившимися рожками, пролетел торпедой мимо невольной охнувшей учительницы и тормознул у парты Бастарда, завершив свой великолепный штурм банальным бараньим бляением. Бастард обмер, но тут все вскочили из-за парт, отшвыривая надоевшие портфели и окружили общего любимца-ягненка по прозвищу Агник, беспечно пускавшего в этой суматохе травяные шарики-горошинки.

Агник, несомненно, достоин внимания. Его овечья биография началась в феврале того же года. Холодной ночью, в хлева-сарайчике-яслях бараньих окотилась-разродилась его несчастная мама-овца. В ту же ночь ударил мороз из ядерных и последних сил своих, когда Агника-агнца, еще мокрого от материнских лизаний, дрожащего от холода, вынесли из навозных яслей ягнячких. Так и попал он в жилой полуподвал саманного домика, где было сухо, топилась печь, пахло хлебом и молоком. Бабушки Бастарда (две на одного внука) положили агнца-младенца на сухую подстилку и ушли хлопотать дальше, в хлев. Бастард проснулся от суеты и незнакомого-ознобного запаха и сразу же по-

тянулся к дымящемуся паром комочку... Кроткие, карие глаза... испуг-вопрошание и доверие излучали они...ресницы враспах и черная точечка зрачка... Ни у кого из людей не видел еще Бастард таких глаз, разве что, у сестрички своей Акнай, сгоревшей в огне неизвестной болезни чуть больше года назад, в дни своих первых лепетаний. В возрасте чистоты. И невольно вырвалось у него: Агник, Агник! – так называл он свою сестренку-ангела с наивными очами и лазоревым кругом-светом за плечами. Вернулись бабушки, усталые и стылые, но с улыбкой на уголках сухих губ, с еще двумя ягнятами и козленком. Поворчали с порога, увидев внука, уже уложившего ягненка-первенца рядом с собой, под пестрое одеяло-корпе. Внук гладил братца-агнца и шептал ему в ушки непонятные-невнятные и почти овечьи - не человечесьи слова. Ягненок слушал, подняв головку... И сели бабушки пить чай с молоком-жиром и паром над чашами, поглядывая на приплод, молча и сосредоточенно думая о предстоящих назавтра заботах, а Бастард забылся темным сном ребенка-зверенка, где навсегда останутся тепло агнца-Агника, треск угольков в очаге, строгие овалы лиц его бабушек и что-то такое огромное, чего ему всегда не будет хватать потом. Во взрослой жизни...

Через неделю-другую наступила невиданная оттепель и уже через месяц травы так бурно пошли в рост, а земля так обильно запотела темной испариной лугов и оврагов, что Бастард еще долго верил в зеленые темные сны наяву. Агнец-Агник рванул на травы с диким фальцетом-блеянием, начав постигать-жевать-зрить эту зеленую необъятную, как казалось и агнцу и мальчику, жизнь-траву-сны-явь...

а где-то вне этой весны, у гор, далеко-высоко, много еще было холода... океан горя-снега разливался по земле... шипя-шумя встречались с ним реки огня... людей смывало в воду и сжигало в огне... дети-сироты рты разевали, как рыбы, устав кричать и плакать у тел матерей и отцов... Бастард и Агник резвились на своем райском островке среди океана горя. Но айсберги опасны и тают долго и уплывают далеко...

Глава 4

Рисовые чеки на террасах. Рассада уже поднялась и сияла бриллиантовой зеленью. Лаковая лазурь неба источала покой. Благодать цветущей земли была сравнима, разве что, только с безмолвной сутрой. Сайко стояла у края полей, где ещё недавно натужно гнула спину, высевая рассаду. Ей едва минуло двадцать весен и она улыбалась новой – двадцать первой. И было чему улыбаться. Дружные всходы на поле и теплый огонек в чреве-весть о том, что она вновь зачала и, значит, будет чем обрадовать супруга своего Кена, ушедшего вслед за войском князя к полю намеченного сражения. Она благодарила судьбу за то, что муж её принадлежал к дза могильщиков и, стало быть, огражден своим ремеслом от участи быть убитым в бою. Сама она происходила из ещё более презренного «дза собирателей испражнений». Когда к ней, тогда ещё пятнадцатилетней девушке посватался Кен (он увидел её, однажды в третий день третьей луны), то вся её семья обрадовалась. Особенно, отец. Ведь переход в сословие «дза-могильщиков» избавлял его любимую дочь Сайко, подобной нежной кувшинке, от их грязного ремесла. Недаром это случилось в конце недели «Хиган – Другой берег», в дни весеннего равноденствия, когда солнце уже перешло заветную черту и дни стали удлиняться. И жених её Кен, черноволосый крепыш с ясными глазами, понравился ей, а их первые брачные радости пришлось на дни любования сакурой. О, – ханами! И любовь в ней расцвела, как цветок сакуры, в те же дни, и была такой нежной и сильной, что просвечивала сквозь кожу её, как лучи света сквозь крону ясеня, росшего близ их хижины из бамбука, с соломенной крышей, каковая полагалась для семей из «дза могильщиков». И хоть они тоже принадлежали к отверженным «париям-эта», но коли говорить от сердца: разве люди не бывают красивы сами по себе, как её муж Кен-могильщик, и разве не он благоговейно относится к ней, ласково называя: – «Хана-цветок вишни». И пусть даже цветение вишни кратковременно и в эти дни часто говорят о бренности и извечной печали жизни, Сайко не переставала улыбаться тому, что Кен сумел продлить их дни «Сакуры любви»

до сего дня, когда она поняла, что зачала второго ребенка. Подумав об этом, она заспешила к дому, где оставался их трехлетний первенец... Подходя к селению, Сайко услышала нарастающий гул скачущих коней. Вот уже показались, из-за холма, верхушки боевых знамен, а затем и рогатые шлемы самураев – личной свиты Князя... *в теплой, согретой солнцем купальне дня, стало холодно, будто кто-то неосторожно распахнул дверь и в дом ворвался поток холодного ветра... ветер беды... и вчуже от себя думаешь порой... сорванные демоном цветы сакуры... медля-медленно, в душе, тает аромат цветов вишни... тайна прелестного цветения сакуры... мгновение... росчерк туши на рисовой бумаге... монохромное горе... О, – Ханами!...*

...чкю-чкю... все вокруг-над и под землей... скользкие-скользкие-вьющиеся-хлюпающие есть одно-единое сонмище живое-жирное... и имя ему – Червь могильный-трупный... он и будет последним владельцем человека по смерти, ибо рожден с человеком вместе... от зачатия до смерти... и в час и в день свой червь-властитель восстанет в человеке, в могиле его, в храме тела... станет очищать-освобождать кости его от плоти-мяса... кыля-кыля... по окончании работы-призвания своего червь могильный-чистильщик трупный исчезнет... останутся от человека только кости чистые-белые и волосы-ногти безчувственные... только тогда сможет душа человекья выпорхнуть из тела-храма скелетного и уйти-взлететь в высокое пространство неба, которое не дано червю могильному-скользкому-белому-отвратному увидеть... ибо слеп он по воле вещей и причин на земле... судьба такая ему чреведо-людоедо... червь могильный отойдет вместе с плотью человека своего-единственного, для него рожденного и с ним умершего в темных глубоких чертогах земли... в тьму-грязь-прах-тлен... чкю-чкю... глас червя могильного...

Настоятель-Отшельник на склоне холма, над рекой сидел. Размышлял. Песок сеял меж пальцев. Удивлялся. Откуда эти ракушки прибрежные здесь на горе, в том далеке, куда он бежал некогда? Сюда в горы, к диким скалам, знающим туманы в лицо, когда еще различимы они в узком ущелье и не поползли еще в

низину бесформенным клубом-облаком белёсым, изгнанным морем огромным без берегов, как и он ныне теперь. Когда-то он ушел из низины сюда, в горы, а братец-туман упрямо ползет вниз обратно и словно тянет его. Особо, по осени и теплым зимам. Вот и сейчас сгущается, как всегда молча, и копится в кроне горного ясеня. Клубится. Еще узнаваем в лицо. И зовут его – Сыромятный Молчун. Копится и оттого так хорошо видим в контурах кроны. Хорошо здесь. Покойно. Вот уже семнадцать лет, как ушел он – Настоятель из низины, от князя, в высокие горы. Обидел его тогда Князь. Рывкнул. Будто он, тогда еще в миру – Кен, был повинен в том большом поражении Князя, на исходе стычки-вражды- битвы домов Минамото и Тайра. Да, не воин он был. Он родом из презренного всеми «дза» могильщиков. Париев – «эта».

Можно подумать, что это легко: ждать окончания битвы, а потом хоронить воинов, враз по смерти терявших лицо. В конце того дня-поражения, когда дали отмашку черными флагами и к работе своей можно было им- могильщикам, приступить, вышел Настоятель (тогда еще в миру Кен), в поле, щедро засеянное смертью, хоть и всем известно с давних времен: ничто не взойдет здесь, кроме жирной-ядовитоядной травы и новой вражды. В середине поля сражения молча раскланялись они с могильщиками из лагеря-дома другого и за дело ремесло свое принялись. Расстаскивать воинов из смертных братских объятий. Костры зажгли. Духов зла отгонять, да видеть лучше: где свои- где чужие? Оскальзывались на крови, обильной черной и стылой, когда в землю и в ночь уходит она из человека. Ругались могильщики (просто так повелось, без злобы, по ремеслу) и смотрели они-могильщики последними в лица погибших-убитых воинов, облагороженных и омытых светом луны. Воины-самураи. Окропленные кровью. Своей и чужой. Искаженные ранами от меча и боевого топора. Болью. Редко – ненавистью. Чаще – недоумением, что именно они избраны смертью, а не враги их. Были и головы без тел. В их открытых глазах стояла такая печаль от внезапной и вечной разлуки с телом своим, что смотреть на то было почти невмочь, хотя и привычно это по работе могильной. Просто бе-

решь за волосы, тащишь и ищешь родное тело головы. Как ни странно, мертвое тело головы узнаешь сразу. Как приблизишься с головой отсеченной, одно из тел безголовых, вдруг, становится бесконечно одиноким, таким безмолвно-виновным, как будто по собственной воле отказалось от головы своей и потеряло ее. Некоторые тела в этот миг грустной последней встречи будто даже чуть шевелились, а головы их отсеченные, словно кивали и кланялись телам своим, словно извиняясь друг перед другом, а со стороны могло показаться, что то была некая торжественная церемония-ритуал встречи голов и тел после смерти, в середине поля павших и понимавших все тайное значение их нового воссоединения перед вечной разлукой с живыми. С миром земным. Досадно только, крик вороний нарушал это посмертное таинство под луной.

Когда тела своих и чужих растащили, могильщики двух враждебных домов, вырыли одну общую яму, куда сложили отсеченные в битве (так никем и не опознанные) руки-ноги погибших воинов. Впервые эти «ничьи» руки отдыхали от мечей и луков и словно пожимали друг друга последним суровым приветствием, а ноги... что?.. ноги лежали вповалку, не зная больше куда им брести. Ничьи ноги не могут идти. Они идут в никуда...Засыпав яму безымянных конечностей, могильщики вновь раскланялись друг перед другом и понесли свою скорбную ношу в душе. Каждый в свою сторону. К утру, могильщик Кен - глава своего низкого сословия париев-эта, схоронив все тела воинов, доложился Князю у его походного шатра, согласно правилам-обряду-долгу. Назвал при этом число погибших. Много их было, много больше, чем у победителей (те уже выставили свое число копий на том берегу пограничной реки). Вот тогда-то и рывкнул Князь, будто именно он-могильщик Кен презренный был повинен в поражении и войну-битву эту начал бесславную... Да, он презренный могильщик-парий-эта и ремесло его низкое, ниже разве что, скотобойцы и собиратели испражнений. Не скажешь же грозному Князю, огромному в доспехах своих и шлеме рогатом, среди свиты его в мерцающих воинских одеяниях, в тишине, нарушаемой только бряцанием лат о латы неосторожной

охраны и сухим хлопанием воинских флагов, как... как горько было ему, могильщику, видеть столько убиенных, какой печалью наполнялось сердце при виде совсем еще молодых самураев с тонкой линией нежных усов и бородкой вкруг пунцовых, сочных и в смерти губ... как тяжелы сейчас от крови края серого кимоно, бурые штаны и сандалии, из трав сорных сплетенные грубо... разве скажешь?

В себе Кен уже решил, что уйдет-убежит от Князя, ибо не заслужен им упрек за его скорбную, но хорошо сделанную работу, ведь и он человек, и сердце его не заросло еще дикими криптомериями презрения к жизни и смерти. Ведь сердце не крипта для пепла. Нет, он уйдет. Небывало далеко от этих мест. В горы уйдет из долин войны. Вот только жену и сына малого, трехлетнего, из убогого селения могильщиков заберет... И все... Конец на том его ремеслу. Кончилось сердце, а равнодушным эту работу делать нельзя. Иначе дух воинов погибших осквернишь и не найдут они дорогу в места обитания блаженных, погибших в бою... Думая так, он попятился спиной из шатра княжьего, враждебного теперь ему, вышел из широкого квадрата, резко хлопающих на ветру знамен, подивился грозным знаменьям неба, где тучи были сходны со шкурами разодранных тиграми черных буйволов. Будто кровь в небо взошла и течет теперь вспять от этой проклятой земли. Она, земля, точнее, чрево ее, благословенно и родственно лишь червям могильным, которым еще предстоит свершить их смрадное-влажное, но по-своему важное назначение. Освободить тела мертвых от плоти. И делать это тайное дело внутри земли. В могилах. Вдали от праздных глаз и свидетелей, чтобы душа убитых воинов могла выйти из временной тьмы-тюрьмы тела, а затем взойти разноцветным травополем, взлететь невесомым запахом и там, в небесах, воплотиться в разные-иные цветы-существа. Или сразу воссесть в чаше лотоса, если чисты были в помыслах и делах своих при жизни...

Лагеря враждующих домов снялись с поля битвы. Здесь, на месте недавнего сражения остались лишь два больших воинских погребения. По обе стороны поля. В противостоянии, но не во вражде, и общего теперь дозора мертвых воинов над местом бит-

вы. На седьмую ночь после сражения над погребениями встала особая тишина, как если бы небо накрыло это поле непроницаемым куполом временного храма. Воссияли над полем тысяча тысяч чистых, скорбящих звезд, словно безмолвные сутры неба. Для успокоения душ. Для обереженья таинства смерти. Только небу дано это знать и хранить, хоть и не видимо из звездных высей творящееся на земле. Там, в могилах, в земле, в телах погибших, в ярости бойни, в момент свершения зла, в грохоте и криках битвы (оборотных и враждебных покою и тишине) стали уже просыпаться из своего неземного сна черви могильные, твари скользкие, белые. Каждый червь отдельно. В своем человеке. В теле его. В человеке, который при жизни имел свое суверенное имя. И свою судьбу-неотвратимый знак умереть именно здесь. В свой час... И шепот некий будто слышался из земли...

...О, это сокровенное-долгожданное тело мертвеца, наконец-то свободное от забот-беспокойств житейских и бестолкового существования... о, тело человека-дом червя могильного, его родовое гнездо... не нужно оно теперь душе человеческой... тело мертвеца принадлежит теперь только ему, червю могильному -наследнику мертвого... здесь они, по смерти встретятся... плоть человеческая и червь могильный... под землей... нет, человек, не будешь ты одинок и в смерти... есть у тебя последний верный брат... я – червь могильный...

И оглядевшись в своем родовом гнезде, в теле мертвом, изумившись совершенству и пропорциям этого золотого гулко-го храма, червь могильный вызвал из себя энергию деления-умножения. И вот, уже с целой семьей-сонмом других червей стал делать свою вожделенную работу, устраивать и улучшать гнездо свое-храм золотой мертвого тела, ибо знал червь, что здесь обретается первозданный алтарь, где душа хранилась-таилась при жизни, и надо теперь только кокон телесный очистить и дать душе человека – страдальце вечной изойти и свободу обречь. Знали то все черви могильные-безмолвные-отвратные твари от начала времен, и вот теперь копошились в заботе своей трупной и трудной, в служении последнем человеку, мертвому, и начинали они с живота, дабы устранить все нечистоты, размягчить

отвердевшие ткани, не дать человеку мертвому окаменеть и избежать еще более страшной участи, чем эта могила... стать могилой души, нетленной и чистой. И черви могильные шептали за работой трупной-трудной-смердной...

...ах, мил-человек!.. зачем жил?.. дело это не наше... нет на то нам разума... а тебе зачем ум твой?.. помог ли тебе он при жизни?.. нет?.. но ты не печалься... мы выберем-вынесем из тела твоего всю грязь, а из черепа твоего все черные-гиблые-слабые мысли и оставим все лучшее... мысль о радости быть человеком... мысль о матери, об отце и о доме земном на пригорке зеленом... мысль о любви, что была у тебя, мил-человек, или только ждала-вызревала и наполнилась именем возлюбленным... мысль о добре, однажды сотворенном для тебя кем-то другим или тобой, сделанном во имя кого-то... спи, мил-человек... ты творил добро, но ты и убил... а то, что ты в битве погиб, это кара небесная, а не случайность-судьба-удел... может-быть, ты был многих лучше, но стал воином-рыцарем смерти, а не любви... к примеру, мил-человек, мог ты умереть от яда ползучего гада, при жизни еще разлагаясь, и тем дав вторгнуться в наши суверенные-природные права-владения... нет, добрый воин, мы тебя теперь не обидим... черви могильные не обидят и врага твоего... в смерти вы одинаковы... и тело твое, мил-человек, и тело врага твоего мы подготовим, как нельзя лучше для исхода нетленной души, чтобы стали возможны твои новые воплощения, мил-человек, и дали тебе понимание всего, что ты оставил на земле и того, что не пришлось тебе, при жизни увидеть-познать... ах, мил-человек... мы здесь оставим только чистые кости твои и череп, свободный от мыслей пустых...ты увидишь потом, из другой чуждедальной судьбы-воплощения, как было красиво тело твое - белый задумчивый храм... и душа в нем была красива и чиста, а теперь улетает из твоих пустых огромных глазниц... отдыхай, мил-человек... дай теперь нам потрудиться...

Досада нежданная взяла могильщика Кена по пути домой. Не сможет теперь он больше по древнему обычаю, через месяц прийти на поле павших. Проверить. Так ли все? Не растащили ли дикие собаки прах убитых? Покуда, на два метра вниз не утих-

нет гул червей могильных, все может случиться. Кен-могильщик, еще только подходил к селению своему после погребения. Едва издали взглянул, уже знал. Там – беда. Будто знак тебе подали тайный. Ощущение беды - это от ремесла. Это знаешь. И все... Одни хжины догорали-дымились, другие были сорваны крюками со свай. Видно, Князь так решил. Дескать, коль виноваты эти могильщики, презренные эта-парии (как он, Князь решил), то пусть получают наказание и для семей своих. Князь и войско его уже учинили разбой, пока могильщики возвращались к селению пешим ходом. Князь раньше их доскакал и порушил. На то он и Князь. Раз сказал – значит прав. И делать надо по слову его. Иначе, лицо потеряешь. А что до чести, то она у него иная, княжья. И лицо свое он не потеряет. У него есть власть. А у этих презренных эта – могилокопателей какое может быть лицо? Тьфу...

И подул ветер шальной-мятежный-безудержный-низинный на всю планету и вверх рванул-взлетел, сатаня, небесные своды-обводы пытаясь унизить-испятнать. Все и вся. Кромешный то ветер, крушащий, полный низменных злобных выдыханий людских. И то ветер беды...

И подошел Кен к селению своему и увидел... У порога лежала жена его молодая. Сайко. Со вспоротым брюхом. Белая в лице, как полотно. От живота вспоротого - красная. И черви уже копошились там. В животе. Два дня уже, как солнце стояло после сражения-поражения... *нет...так нельзя...на свету...тайное дело червя могильного видеть... среди дня...сокровенное не для глаз живых... так заведено от богов... оскорбление смерти-знак конца самой жизни... последняя почеть от могильных червей - привилегия мертвых... уединение в могиле свято... как и встреча во тьме с червем могильным... сакральна эта встреча... оправдание краткого существования человека... слепы черви... нельзя им видеть мерзости тления... и нюха нет у червя могильного, дабы смрад разложения не вдыхать-не отворачиваться от мертвого... только так сможет червь с рвением-старанием-тицанием дело делать свое подземное – неземное... не на земле...не на свету... средь бела дня... и человеку зрячему нельзя видеть такое...ибо мир живых для красоты сотворен... не для мерзости тления...*

нет... где вы, боги?.. почто допустили такое?... С нею... с невинной моей женой... с душой ее светлой что будет?... разве теперь смогут черви довести дело до конца?.. нет... вот, уже корчатся черви и сами умирают... в мертвом теле Сайко...на солнце палачем...не начав дела своего... ааааа...

Плач ребенка послышался в тишине. Наизнанку. Как грохот земли сотрясенной. Мальчик, сын его, лежал под кустом. В тряпиче. Живой. Взял Кен сына на руки и понял, что делать. Созвал сотоварищей своих по дза, по ремеслу могильному. Схоронили мертвых с червями их умирающими, уже не могущими закончить дело свое. А свое дело погребения они сотворили отменно. Тихо, в себе, прошептали-пропели сутры надобные, зная меж тем, что невозможно будет душам родных изойти, как-то было издревле, от начала времен определено. Связь миров прервалась ныне, тайна исхода поругана-унижена-осквернена. Кошунство злое, бессмысленное. На случай, в надежде слепой, из могил вывели полые трубки бамбука. Может быть, хоть так свершится освобождение душ убиенных невинно и не станут они после смерти своей черным мором скитаться среди живых, мстя-проклиная их за порухение порядка извечного, за разлуку-невстречу тела человеческого с червем могильным, без которого не будет исхода душе, ибо нельзя им вместе-человеку и червю- умереть. Должно это произойти порознь. Каждому из них свой черед. Человек первым уходит, а за ним червь. А тут?.. Что же будет теперь с этим миром, пошедшим поперечной тропой бытия?.. А князю – проклятье...

...Первая волна медитации горя и отчаяния изошла от Кена... Туман цвета индиго окружил его и отделил от недавнего, полного ярости-бойни-криков стенания или торжества убивающего над убиваемым... смрад сражения остался за туманами... труд погребения забылся... одна, но самая страшная, картина еще жила внутри тумана... то была его Сайко с брюхом вспоротым-багряным-сизым... человежье нутро тайное-святое-теплое открылось беспощадному оку солнца и навсегда перестало быть святилищем жизни... на разоренном алтаре чрева, в глубине, едва видный, сжался в стручок эмбрион – дитя возможное...

мир внешний молчал... мир внутри из индиго-тумана ненависти кричал... мозг измышлял мечь неимоверную-неотвратную-отвратительную-мерзкую... до обнаженности мездры подкожной... Но как быть с сутью сутр?.. Слова моления-упования не мог он забыть... боль и ненависть спиралью завинчивались в нем... сердце стянули тенета тяжкие из железного вервия... не кричалось уже, не стоналось... вылось немотно-дико-долго... убить-истерзать хотелось князя и ватагу его испепелить в огне, что душу алым жаром наполнил и пылал нестерпимо-жестоко... но слышались и сутры в шуме пламени... горело горе его... сжигая мертвую Сайко, навсегда обращая ее в белый летящий пепел, оседающий в круге сердца... тяжкий туман – индиго стал рассеиваться... Волна-сигнал медитации Кена-могильщика отошел от земли, превозмог гравитацию боли и горя и достиг второго неба... Вибрация была так сильна, что Гроссмейстер ощутил ее и принял сигнал медитации-боли от Кена-могильщика стенающего немотно-молча...

И Кен-могильщик в горы пошел, в отшельничество. Сына взял с собой. Три товарища с ним, сироты-бедняги тоже пошли. Шел и думал Кен, как теперь должно жить ему, пока сына не вырастит. А главное, как самому умереть, не уподобившись милой жене, которая лишена была права на исход души. По вине Князя. Нет, пойдет он на нарушение порядка вещей. Не допустит он теперь в тело свое могильного червя и сонм его братьев. Коли с Сайко такое случилось, то и с ним должно это повториться. Но по собственной воле его, Кена, униженного и оскорбленного. Почему его возлюбленной жене не дал Князь право умереть в могиле своей, чтобы червь могильный ее светлую душу освободил от тела, и дал им возможность встретиться в иных воплощениях, в иных мирах. Кен верил, что жена и муж, коли любили друг друга, то должны когда-нибудь встретиться по смерти – жизни земной. Но Князь пресек их путь-судьбу. Отнял надежду. И Кен проклял Князя словами, которые вслух не произнести, так они были тяжелы и несвойственны ему ранее. И верил Кен, едва вздохнув от слов проклятья, что соединится он с любимой своей в ином воплощении. Вопреки всему. И просил Будду по-

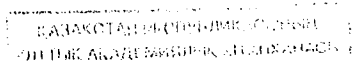
заботиться о том. Коли Будда допустил с Сайко такое, то пусть сам и исправит свою ошибку. А он, простой смертный, сделает то, что задумал. Он умертвит свою плоть так, чтобы в него не смогли проникнуть черви могильные. И в этом он сравнится с телом Сайко, разлученным со своим червем могильным. И к себе, к плоти мертвой своей не допустит он червя, и тогда у него появится надежда встретиться с любимой Сайко. Пусть через тысячу тысяч воплощений. Он отмолит душу ее у смерти, освободит из клетки мертвой плоти, из могилы черной-тесной, прочтет все молитвы-сутры, которые знает, пока и сам не освободится от мук тяжких-несметных души своей. Не для смертных та мука. Нет. Но он выдержит все. Так Кен обещал себе и шел в неизвестное. В отшельничество.

Глава 5

Гевра смотрел в глухую ночь. Было пасмурно. Небо набрякло-налилось влагой высокой. Небесной. Видно, дождь будет долгий-обложной-осенний. Здесь, в хижине-сторожке, сколоченной из старых досок и всякого другого бросового материала, пристроенной к дальней ограде зоопарка, под горой, сквозь влажный-ватный воздух слышался дальний рык-визг-уханье зверья, запертого в клетках. Гевра поселился здесь недавно, устроившись сторожем в этом удивительном месте поселения зверей-птиц-гадов. На окраине большого города. Причин тому было несколько. Его новая биография «в миру» началась с обвала рубля, ставшего совсем невесомо-«деревянным», когда рубль быстро пошел вразнос, а «лес советский» стали рубить-кромсать-пилить и растаскивать на щепки-спички. С того дня, как он вместе с Балериной бесповоротно (так она решила и захлопнула створки перламутровой раковины-шкатулки, где уже не было ей места) ушел из театра, многое случилось-изменилось и ушло невозвратно-необратимо. Целый год они таяли-цвели-летали-реяли-падали-умирали и вновь воскресали на полях своей любви, всецело принадлежа друг другу, и прочий мир стал для них химе-

рой, неким досадным фоном их подлинной жизни бесконечных соединений-перетеканий-замираний и блаженных снов-обмороков любви. Вся скопившаяся в нем мужская сила воплотилась в страсть мощного бизона, в пике самцовой зрелости и обретения блаженного простора для покорения, а вся лиственнно-хищная-по-таенно-прелестная сущность Балерины, внезапно открылась ему с самой невероятной щедростью по воле Великого Случая. Они жадно постигали открывшееся им пространство любви и были неотторгаемы друг от друга. Мудрость целомудрия забылась ими во имя беспечных похлопываний по ягодицам и противопоставленным им местам и, казалось, ничто уже не могло прервать эту медоточивую и творящую мед любви жизнь человек пока... пока не грохнула инфляция и не упали враз старые деревья и голубь черный не сел к ним на подоконник. Этот голубь так посмотрел на них своими пуговичными глазами, что они враз вразумились знаменами рока, беспечность спала с них, как шелуха, и они оказались перед новыми обстоятельствами более голыми, чем в постели и в любви.

Гевра вышел в то утро вразумления-знамения из рая-меда-полосканий на ветрах страсти и нанялся грузчиком, то есть, подсобным рабочим в магазин. Он договорился получать оплату продуктами, а обязательную бутылку водки обменивал на литр молока или на масло, либо пачку чая. Работать по профессии инженера-проектировщика Гевра не мог, чтобы не встревожить своих коллег, потерявших его в «те годы подценной жизни». Притулившись у края новой неведомой-непонятной жизни, Гевра знал только одно: надо приноровиться как-то ко всему этому, научиться добывать хлеб для дома и Балерины и оградить ее от нищеты. О каком-либо своем социальном статусе Гевра даже не думал, а больше заботился о сохранении некоего пространства вокруг Балерины, чтобы не быть вымытым щелочным раствором мелких забот из большой заботы-работы любви. А унижения и суеты стало предостаточно, но домой он должен был непременно нести охраняющую энергию и передать ее хрупкому и поразительно наивному человеку (в ее-то возрасте зрелой женщины), каким оставалась Балерина вне своей былой профессии, вне театра. И



особенно теперь, когда ее жизнь прилепилась к его собственной, очень и очень проблемной, кстати, и почти эмпирической среди руин «PS» - постсоветской реальности.

Когда в день бенефиса Балерины Гевра окончательно преодолел заплоты и страх перед своим прошлым, а любовь-пение одарила его силой принятия реальности (пусть даже в самом неприглядном виде), он еще раз с удивлением и благодарностью подумал о том, как его, почти отвергнутого человека, в химерическом условном мире театра приняла и полюбила эта хрупкая, но великая женщина. За что же он был так помилован судьбой, избран для новой жизни? Будучи человеком технического логического склада ума, Гевра все же допускал участие в своей судьбе неких высших сил. Он относил это к причинам и началам божественным и внебытийным, и часто думал (в глубине своего очень потаенного кокона, который образовался вокруг него еще тогда, когда он жил в театре и спал под сценой), что может быть, та первая и давняя жена его и сын, погибшие в авиакатастрофе, стали его ангелами-хранителями, ибо он всегда был верен им душой и едва не утерял разум от постигшего их несчастья. Нет, он не самоубился, но отверг свою прежнюю жизнь ради высшего слияния с ними. Допускал он и такое, что ранее не посещавшие его мысли о божественной, метафизической природе вещей стали неким незримым кругом, в котором он спасся от отчаяния и смерти души. И хотя он не находил объяснения и ответа на свои вопросы, втайне от себя самого, в глубинах сознания роилось и такое гипотетическое объяснение всему, что с ним случилось. Фабула реальности превратилась в сверхвымысел ирреально-волшебного. Гевра как-то даже прошел мимо «того дома», где он жил когда-то с погибшими – женой и сыном, но ни одна бытовая деталь не взволновала его и даже две неуловимо знакомые старые женщины, сидевшие на скамье у подъезда, не вызвали в нем ностальгии о прошлом-реальном и он понял, что жил он вовсе не в этом доме, а в некоем высшем мире со своими первыми, возлюбленными им людьми, а все прочее не имело значения и места в реальности. Ни в «то время», ни в этот, обычный, ничем неотличный от прочих дом, ни в былые дни ему уже не было возврата.

Все это навсегда принадлежало тому миру, который исчез тогда за чертой горизонта, сторев вместе с обломками упавшего самолета. Все свое суверенное-неповторимое, лишь единожды бываемое с каждым человеком, «Они» - его первые возлюбленные унесли с собой в миг своего необъяснимо-катастрофического исхода из жизни. И Гевра надеялся, что был избран «Ими»- женой и сыном, ибо в неких мирах он станет для них заветным островом, куда они приплывут и там уже никогда не избудется память об их общих радостях, и все начнется заново, но без катастроф и печалей. Все это понималось им, все оставалось в нем, не мешая тому, что пришло потом с Балериной.

Между тем, в повседневных своих параметрах жизнь шла так парадоксально-фантастично, так беспардонно-постыдно-публично, что могла изумить кого угодно, словно решила навсегда сломать свои привычные правила-расписания и, сбросив с себя старые оковы, решила испытать всю глубину и восторг хаоса. В этих непредсказуемых выбросах в фарс-трагедию, жизнь пыталась найти свой новый экстравагантный облик. Казалось она, как живое существо, хотела показать, что не может быть больше обывательницей и все прежние расчеты-каноны нужно выбросить, как хлам. Она хотела найти иное русло, чтобы бросить в незнакомые волны всех людей, привыкших барахтаться в ее прежнем застойном пруду, и снимала с себя ответственность за любые события, которым она сама хотела быть причиной. Как сошедшая с катушек разведенная женщина, она стала необычно развязной и даже обнаружила вкус к экспериментам, а нелепые сиюминутные капризы так и били из нее фонтаном. Короче, прежняя совковая жизнь-житушка соскочила с катушек и понеслась во все тяжкие, а есть ли в ней смысл или порядок, то эту проблему она оставила решать людям. Она даже с любопытством наблюдала, как они барахтаются в новом непредсказуемом потоке и предоставила им выплывать по мере их собственных сил и возможностей.

...мездра...мерзко...мерзлота... меридианы стянулись к полюсу... в узел завязались... Гордый гордо улыбается... ждёт развязки своей загадки... теорию общего поля Эйнштейн вывел

вместе с собой за черту жизни... но вопросы частного поля уже решены... степь продают и без доказательств, как аксиому...

В магазине, куда Гевра нанялся рабочим, объявился очередной хозяин, тихо-вкрадчивый и наглый одновременно. Он сразу (почти шепотом-шипением) дал такой разгон, что у продавцов побелели глаза, и они окончательно поняли: к старому возврата больше не будет и надо «мантулить» из одного только страха быть выброшенным за двери, как эти трое рабочих-алкашей на подхвате, которых хозяин вытолкал на глазах у всех. Гевра молча наблюдал, съел все унижения судорожными спазмами гортани, радуясь-не радуясь тому, что был оставлен, как единственный трезвенник, даже среди женщин. Одеждой своей повседневной он, честно говоря, не очень отличался от бомжей, изгнанных за пределы реального натуртовара и деревянных дензнаков, ежедневно нараставших номиналами, но еще быстрее терявшими свою исконно-стоимостную функцию. В голове у Гевры сейчас стояла только Балерина и мысль об ограждении её от всякой мерзости. Поэтому он проглотил комок протеста и принял почти кабальные условия нового хозяина-хама. Отныне он стал чем-то вроде бригадира, нанимал с утра на Сейфуллина трёх-четырёх парней (они стояли здесь, надеясь на подёнку), вместе с ними быстро выгружал ящики с товаром, загружал пустую тару и тут же их рассчитывал, а сам уже в течение дня что-то подтаскивал-оттаскивал внутри магазина и получал стабильную оплату рублями, почти в уровень с инфляцией, а продукты покупал здесь же по цене оптового рынка. Так он сводил концы с концами, не переставая думать о том, где бы ему найти более пристойное занятие. Возвращаясь домой с тем немногим, что он заработал за день, Гевра получал в награду улыбку Балерины, которая будто чувствовала, как много испытал он унижений за день и со всей своей интуицией женщины понимала, что нельзя сейчас – всуе расспрашивать мужа о том, чем он занимался весь день. В эти первые минуты возвращения Гевры Балерина становилась необыкновенно внимательной и вся светилась таким обаянием, что и слов больше не надо было никаких. Такое неизмеримо высокое возмещение за свои унижения Гевра принимал, как дар судьбы.

Он видел себя в эти минуты выброшенным на берег после кораблекрушения матросом, спасенным в последнюю минуту, когда огромный вал мутной воды останавливался буквально в одном метре от него и стремительно откатывался назад, унося всю грязь и память об испытании-катастрофе. Вопреки природным законам, в следующий момент, Гевра видел уже спокойное море, синее небо над ним и ослепительно-чистый прилив встречал их, его и Балерину, беспечно идущих в обнимку на великолепном берегу своего острова любви. А простор благодарных чувств все расширялся, на губах ощущалось соленое совершенство счастья. Балерина была, будто бриз свежайший, и в ту же минуту, словно море зовущее или корабль белопарусный, ожидающий своего уверенного навигатора-капитана. И каким-то тайным взором Гевра видел в ней такое безоблачное безбрежное будущее, где они обязательно будут счастливы. Между тем Балерина, хлопоча по кухне, отвлекала его пустяковыми разговорами, сообщала ему милые новости, досадуя ему на скучание- ожидание, но так, что это не раздражало его, а наоборот наполняло чувством своей избранности-необходимости. И так это было хорошо чувствовать себя мужчиной, что весь безалаберный день мгновенно забывался, как нелепый сон. Поев и окончательно отойдя от дневного стресса, Гевра вытаскивал какую-нибудь «зачапку». Вот как сегодня: удачно приобретенную книгу, за которой ранее пришлось бы буквально охотиться, а теперь на стихийных развалах, прямо на тротуаре, можно было за пустяк купить книгу-шедевр. Так ему сегодня попались искрометные письма Вольтера, будто ожидавшие, что именно сейчас он подойдет и купит их, как то было недавно со сборником рассказов фатального Акутагавы Рюноске с мистической «Чашей», или прелестный Бунин совокупно с «Мастером...» Булгакова, какового можно было теперь неспешно почитать-посмаковать, пряно-запретная «Лолита» Набокова и далее: Джойс, Габриэлла Мистраль, дремучий Фолкнер, «Факкультет...» Домбровского, и многое такое, что ранее было читано наспех и в очередь, о чем говаривалось шепотом-мимоходом на кухнях, чувствуя себя причастным к когорте «подпольных читателей». Теперь это они читали вдвоем внимательно и нетороп-

ливо, а это значило удвоение всего того, что было в тех книгах, лежащих ныне на асфальте.

Иногда по вечерам смотрели и новости по ТВ. Особо забавляли-удручали «бестселлеры-сериалы» о далеких латиноамериканских страстях, «рабынях изаурах», а пуще всего нескончаемые серии-шедевры трéпа первого советского, а потом и казахского парламента. И люди, казалось бы, были известные и неглупые, и говорили о наболевшем, вроде бы, и никто не оспаривал демократические ценности, но откуда-то все время выскакивала то физиономия Кашпировского, то мордочка Чумака, и складывалось впечатление, что за всем этим стоят очень умные режиссеры-кукловоды. У этого оглашенно-гласного фарса и комедии «свободы слова» открывалась обратная сторона. Казалось, что все эти люди не столько говорили, сколько испражнялись своими бесчисленными ртами, заполняя уши дерьмом пустых слов. Зато все было проще и суровой на улице, на стихийных рынках, среди живых персонажей неореалистического фильма-хроники «последних дней совка», перед которой древняя трагедия Помпеи представлялась красивой сказкой. Но именно эти маленькие люди, молчащие или азартно обсуждавшие цены и новости, были по-настоящему искренни и трогательны в своей неизменной отваге жить в пенном потоке перемен, являя простые человеческие примеры почти христоматийно-христианского терпения, что в сердце закипала веселая злость и радость быть рядом именно с этими людьми, а не с теми, кто испражнялся на ТВ. В такие минуты в голове у Гевры все более упрямо стучала мысль об устройении своем и жизни Балерины, покой и счастье которой было выше всего пережитого-читанного-передуманного им за эти дни. И он вспоминал, что как-то Балерина сказала ему:

...арабеск в танце – это такой неожиданный излом-виньетка среди прямых пресных движений и что надо следовать такому изящному капризу, потому, что это такая точная и своевременная точка-остановка в танце, с которой начинается новая канва движений, чтобы прервать поток бездумного механического танца.

И он понимал, как она глубинно права, как тонко направляет его мысль, будто чувствуя его тектонические сомнения о смысле этой вывороченной-вымороченной суеты, и что пора выходить в иное плавание, уловить ветер подлинного странствия, пусть даже это будет шторм и риск утонуть, но только бы не обманываться легким дуновением-тенью ветра... Надо же! Арабеск-излом-точка-начало!..

... маленькая поляна... пестроцветный шедевр в роще... лютики-васильки-ромашки-одуванчики-клевер... бриллиантовая зелень травы... это лечит... серая болезнь асфальта забылась... как и СПИД городов... природа медленно превращается ландшафт...

Глава 6

Август в этом году выдался ясный. Глубокий, как колодец, который был вырыт еще первопоселенцами. Колодец находился в центре села. Там брали воду только летом. Прохладную. Чистую, как кожа младенца. И вода эта была неслыханно вкусной. Жидкое блаженство-сокровище-бальзам. С особенным потаенным запахом тины и камней, что лежали там, в глубине, в самом сердце колодца. В этот день Бастарду дали важное поручение. С утра сходить в соседнее село и пригласить дядю-фронтовика с семьей в гости. И он пошел с гордостью и радостью. До дома дяди километров пять-семь, наверно. Зато дорога верхняя, вдоль гор и садов. О, как она хороша и обещает много приключений! Еще на выходе из села, мимо мальчика, в бешеном галопе проскакали парни на особых конях. Среди них мелькнул густоволосый Сапар-заводила. Наверно, хотят устроить кокпар с соседями из горного села. Эта бешеная древняя забава-соревнование истинных степняков никогда казахами не забывалась. В те годы эти игрища устраивали негласно (кокпар числился в списке отсталых феодальных пережитков и сельсовет, и партбюро не поощряли его, наложив негласный запрет). Но вопреки всему, вскоре вся округа наполнилась слухами, и все склоны вверх по ущелью

заполнялись людьми, делались ставки (тоже тайно) и все такое. В общем, кокпар был выхлестом из обыденного, последним убежищем степной гордости и отваги. Редко, когда кокпар обходился без тяжелых травм. Туша козла килограмм на тридцать, витые плети, кони обученные-злые, да и сами кокпарщики в пылу погони-схватки, в коловороте коней и людей, не знают пощады ни себе, ни сопернику и могут до темноты гоняться-таскать козла от склона к склону, пока кто-нибудь торжествуя, с ватагой односельчан не утащит козла в свой аул-село. О, дела давние-веселые-великие...

А Бастард шел. Через час его чуть не свел с ума один сад... С абрикосами! Огромными! Оранжевыми!.. Таких он еще не видел. Бастард вник-уразумел сразу. Такое охраняется. Строго оценив всю экспозицию, Бастард-опытный покражник плодов решил, что можно снять абрикосы с дерева целыми, если проползти по арыку на животе, тем паче, что хозяином сада был чечен. Злой. Бородатый. Лысый. Как волка не корми, но чечен останется – чеченом. И у них всегда есть оружие. И Бастард, по всем законам схрона пополз по дну арыка. У него перед глазами сияли абрикосы и он не мог остановиться. Азарт был сильнее страха. Еще до того, как он пополз в сад, Бастард скрутил из проволоки сачок, приладил к нему тряпицу в виде мешочка, а все это привязал к концу длинной (метра на два) сухой ветки. И вот теперь из арыка, находясь почти под абрикосовым деревом и всего в двадцати шагах от злого чечена, Бастард своим хитроумным инстинктом прирожденного покражника садов, тихо и незаметно стал срывать абрикосы и утягивать их к себе, едва чечен отворачивался и занимался побочным хозяйским делом. Когда Бастард отполз в безопасную зону и вновь вышел на дорогу, за пазухой у него приятно холодили живот великолепные-спелые-оранжевые абрикосы. Он ел их, сначала полюбовавшись и представляя себе, как злой чеченец будет удивляться на сборе урожая, что с одного дерева, каким-то образом, пропала почти половина абрикосов. Вот за таким приятным занятием, по дороге разогнав стайку шипящих гусей, Бастард дошел до дома дядюшки, где как раз жарили большую сковородку картошки с зеленым перцем,

баклажанами, помидорами и свежим луком с огорода. К вечеру Бастард с семьей дядюшки возвратился домой и... первое, что он увидел и весь сразу заморозился изнутри: на заборе висела шкура зарезанного Агника, а голову его обугливала над огнем его же бабушка с нелепо радостным лицом. Бастард взревел, пнул казан с варившимся мясом, половина которого вывалилась на землю и огонь почти загасился жирной сурпой, и запахло паленым. Глаза Бастарда стали такими же мертвыми и недвижимыми, как и у его любимого Агника, убитого этими прежде родными людьми... и глаза эти, умершие враз для радости, увидели... *девочку пухлую, двенадцатилетнюю, у двери летней кухни... улыбалась она и ... и ела... жевала тонкий лепесток свежесваренной печени ягненка Агника... плоть агнца... печень подносила она к пухлым губам и ротик открывала с белыми зубиками и... откусывала кусок за кусочком еще живой печени-плоти и... и смотрела беспечно на опаленную головку агнца-Агника... аааа... и глаза мальчик-бастарда, как фотовспышка бесцветная «сфотали» навсегда эту девочку-дочь дядюшки-мясоеда и... и оставили во тьме зрачков Бастарда не засвечиваемый-нестираемый негатив... девочку, пожиравшую печень невинного агнца – аааа...*

Все всполошились и стали ловить Бастарда, оравшего столь дикие непотребные слова, которые до того были им уже слышаны на улице, но никогда эти слова не были так яростны и справедливы. Злость-слезы-боль- гнев-бессилие- ком в горле-мерзлое сердце: эти минуты навсегда остановили в нем детство и потом долго продолжали перекатываться в нем камнями ненависти, душившей его, пока он бежал к речке, на старую мельницу, где под большим и давно не работавшим, покрытым ссохшимся темным мхом колесом, у него был свой мальчиший схрон, где он прятался всю ночь, пока слезы его превращались в лед ненависти и душа Бастарда спряталась там навсегда.

... тиеница созрела зерно осыпается пора идти в поле жнеи дома горящие полыхают с крыши... фундаменты вновь превращаются в план-чертеж... дни догорают и осыпаются, словно перспелая рожь... кто-то шепчет так заведено не огорчайся пойди поклонись равнине трав в час росный и увидишь в росе

отражение Тенгри... может быть все вернется на круги своя или навсегда останется в круге пепла как чертеж мечты...

Эти три дня... это потом ему сказали, что он исчез-отсутствовал-пропал на целых три дня. Для него они были просто молчанием и спазмами в горле, жжением в сухих глазах. Никогда еще Бастард в своих мальчишеские годы не думал так долго одну мысль. Мысль-гвоздь, который ему вбили по шляпку в голову. Те дни, что он провел под пахнувшей плесенью старой мельницей, под давно недвижимым колесом, навсегда изменили Бастарда и он стал незнакомцем самому себе. А потом и другим. Ему казалось, будто сквозь темя его, заново открывшееся и пульсирующее, как в младенчестве, кто-то опускал ведро, а он от темени до сердца стал колодцем. Ведро грохоча опускалось на дно, которым было сердце его, затем он мучительно долго вертел ворот. Ось ворота скрипела в висках, выжимая из них холодный липкий пот, но когда ведро поднималось оно было пустым и вновь с шумом падало вниз, а ось ворота стремительно вращалась в висках, подобно дрели. И все повторялось опять и вновь, и опять, и заново, и обратно. Все больше и быстрее. Наконец, на второй, кажется, день ведро пробило сердце и он увидел на его дне немного сукровицы... в горле у него стояла жара-сухота и появилась неведомая-бесконечная-неотступная жажда и потому он отпил этой сукровицы. Его вырвало, горло с треском гоняло маленький кадычок... жажда не отступала и Бастард опять бросил ведро, вытащил его из колодца и стал пить сукровицу, подавив в себе рвотный рефлекс, и его уже не рвало... он привыкал к вкусу крови, к боли, к скрипу ворота, но жажда все не утихла и крови пришлось пить много... сукровица эта тяжелая, как жидкий камень, все больше густела и в ней стала проступать ужасающая картина того, что произошло три дня назад, но еще более реальная, чем сама реальность... *розовая, с прожилками, мерзкая мездра на шкурке его Агника-агнца-ягненка... ясно-явственно стояла эта картина перед его глазами на расстоянии протянутой руки.. в упор, недвижно смотрели на него тускло-лиловые мертвые глаза ягненка-агнца Агника из обугленной головы, с которой соскребали опаленную шерсть... кое-где уже*

проглядывала белая кость черепа... у летней кухни улыбалась пухленькая девочка и жевала-ела-жрала-глотала еще живую печень ягнечка-ребеночка и продлевала его агонию с каждым новым укусом-жевком-глотком... глаза девочки были тупо-тусклыми-черны и беспечно-бездумны... Потом эта картина сменилась другой, которую Бастард хоть и не видел воочию, но представлял себе четко, со звуками и запахами... голову полугодовалого и все еще агонизирующего ангелочка-агнца-младенца Агника варили в казане... лилово-тусклые глаза ягненка продолжали смотреть на мир через кипящий бульон-сурпу, будто недоумевая: - разве все это происходит на самом деле, а не привиделось ему, еще недавно беспечно бляевшему глупому бараненку-ребенку... голову подавали на блюде и дядя-мясоед, как почетный гость отрезал острым ножичком его щечки нежные-ягнячьи... Затем нож погружался в глазницы и вырезал один глаз... дядя-мясоед подает этот глаз своей пухлой дочке... затем вырезает второй... вот, глаза его начинают жевать-есть-глотать... и ягненок-ребенок-баранчик Агник слепнет для внешнего мира, но парадоксальным образом продолжает видеть своими пережеванными глазами желудки своих едоков-глазоедов изнутри... затем слепнет уже окончательно... теперь он видит то, что происходит дальше глазами глазоедов... все довольно смеются за столом и хватают его глаза за отменный вкус... агнец-ангел продолжает видеть глазами глазоедов, как ему отрезают правое ухо и подают его той самой девочке-пухлянке, а левое, еще неотрезанное, ухо рефлекторно-реверно слышит, как дядя-мясоед-живоглот говорит своей дочке-глазоедке-ухожорке... ешь-ешь и будь послушной девочкой, золотая моя... всё еще агонизирующий агнец-Агник после изъятия второго уха становится окончательно глухим... затем вырезают и сизый язык его и он после этого немеет... ни бе – ни ме... а потом вскрывают его черепок, выскребают горячий белый мозг ангела-ягненка-ребенка и он еще теряет, хоть и крохотный, но все же разум бараний... и вот теперь Агник стал слепо-глухо-немой-безмозглый и уже точно мертвый, убитый-зарезанный-сваренный-съеденный ради утоления голода умных-говорящих-слышаших-зрячих людей, которые таким об-

разом останутся в памяти Бастарда глазоедами-ухоглотами-языкожорами-гурманами ягнячей плоти-мяса, а вовсе не гуманными гурманами мысли... (Эх, плотоядство человеческое ненасытное). Когда на четвертый день, в четверг, после чревоугодия-пира Бастард вернулся домой, то он был уже не прежним простодушным и открытым мальчиком, а другим. Каким? Этого ни он сам, ни его близкие еще не знали. Он так посмотрел на всех лилово-тусклым взглядом, почти таким же, как у своего съеденного любимца Агника, ласкового-бодливого ягненка, который был так жестоко казнен. И никто не смог в этот момент попрекнуть Бастарда и прикрикнуть на него для острастки или порядка ради.

Все поняли, что он теперь всегда будет находиться от них бесконечно далеко, много дальше своего враз утраченного детства и гораздо ближе к тому угрюмому молчаливому юноше, каким скоро станет. А этот юноша, в свою очередь, и вовсе скроется (будто свернул за угол), за спиной того мрачного нелюдимого мужика, в кого превратится много лет позже тех трех дней и спрячется окончательно в доме своего одичавшего сердца.

Есть ветер шальной-мятежный-безудержный-низинный на всю планету...вверх рванет-взлетит сатаня, небесные своды-обводы пытаюсь унижить-испятнать...кромеиный то ветер, сокрушающий-крушащий, полный низменных-злых порывов...

Но есть и ветер ровный-сильный, несущий по - над землей листья палые-обреченные или рой мошек усталых-вьющихся... ветер-оберег, помогающий стайке малых птиц миновать зону грозы, оставляя по себе тень-память, пока не обессилит и не растворится в тишине и покое, став бесконечно прозрачным-невесомым и пронизаемым для света...О, упования!...

Наконец, четырнадцатого июня, в день смерти большой золотой пчелы, через два года после трехдневного скрытия под мельничным колесом, начался невероятный отлив и на открывшемся песке-береге пологом появились следы...

Семья «пухлянки-глазоедки-ухоглотки и, одновременно, печень-хавки» переехала в их село «длинных деревьев» (т.е. серебристых пирамидальных тополей) по причине отсутствия в их маленьком ауле-селении школы-десятилетки. Таким вот образом,

уже пятнадцатилетняя пухлянка Камилла «ухоглотка-печеньхавка-глазоедка и языкожорка, вкупе» по окончании семилетки, внезапно, очутилась перед Бастардом на расстоянии каждодневного лицезрения. Теперь ей предстояло учиться в его школе. Все события того кошмарного лета, когда казнили и съели Агника-агнца (по смерти ставшего первым агностиком из племени баранов, т.е. философом высших сущностей) вновь всплыла перед глазами Бастарда (уже отрока) та необъяснимая и жестокая казнь-съедение Агника и в них появилась полузабытая сухота и жжение.

В Бастарде вспыхнуло неодолимое любопытство ко всем изменениям, произошедшим с пухлянкой Камиллой, внезапно превратившейся в прелестную девушку со всеми пугающими атрибутами юной женщины. Вся сукровица, выпитая Бастардом из колодца его собственного сердца, вновь ударила в голову. Вернулась та мучительная жажда. Только теперь эта жажда утолялась тем, что Бастард стал незаметно следить-подглядывать за Камиллой, желая понять, как повлияли на нее съеденные ею «печень-глаза-уши и язык агнца Агника-ягненка-ребенка-бараненка», потому, как сам Бастард с «того лета» больше никогда не ел бараньего мяса. На дух не переваривал. Даже запаха. Духоворотным стал.

В дни переселения семьи Камиллы-глазоедки надолго замолчала кукушка, дотоле изводившая всех длинным кукованием. Даже икота нападала от этого рыдания-всхлипа-ку-ку... И когда она смолкла, в эту паузу влилась тишина начального лета, когда надобно природе растить посеянное весной. Он избегал прямых встреч с Камиллой, но отныне неотступно следил за ней, тайком, со всё возрастающим инстинктом-азартом первобытного охотника-следопыта (герой Фенимора Купера мог бы позавидовать способностям Бастарда в этом древнем умении, каковое быстро становится маниакальной страстью в особых субстанциональных обстоятельствах, осложненных личностью субъекта и его сужающимся внутренним миром). Тщательно изучив все перемещения глазожорки, ее привычки и повадки и весь распорядок жизни в ее доме, Бастард все лето посвятил слежению, незаметно для себя превращаясь в истинного преследователя-дикого камы-

шового кота. Этот переход-перерождение из домашнего безобидного кота-балуна-шалуна, в истинного хищника-большого камышового кота был для посторонних незаметен. Это был особый зверь, изучивший природу и повадки человека, находясь рядом с ним. Но коты всегда живут сами по себе. А такой зверь опаснее обычного вдвое...

...поймать след, услышать шорох, подкрасться, замереть, раствориться в камышах, уловить ветер, ухватиться за струящийся запаха...теперь ждать, следить, ничем не выдать себя, стать незримым-кротким-неопасным до...до рывка, до предельного выброса всей лавы сил-терпения-вожделения...пролететь, как метеор из пустоты, и рухнуть-упасть на жертву и ...и разом вознестись на вершину исполнения желаний...упований зверя... избавиться от нутряного сверхнапряжения-давления, разрядиться и ...вкусить блаженство обладания вкусом-плотью-кровью жертвы... задрожать от конвульсий... от агонии того, за кем так долго крался-охотился-следил и ...и теперь вливаешь в себя, пьешь алую магму иной жизни, дабы увенчать свою охоту триумфом-тризной-выбросом сгустка всех инстинктов-энергий и насладиться чистой поллюцией звериного счастья... нет-нет...

Бастард еще только постигал искусство ловителя-триумфатора, ибо был лишь зверь-отрок, но дремлющий хищный гений его стремительно набирал силу-мощь. Он заставлял Камиллу-наивного грызуна и поедателя печени-глаз-ушей-языка агностика-агнца Агника в самых неожиданных ситуациях, при этом сам оставаясь невидимым и неосязаемым. Из сгущающейся в нем тьмы он смотрел...

...стельные волчицы перекрыли полную луну тучными телами-тучами...дева-ухажорка разглядывает свою грудь-гроздь с розовой ягодой на смуглом бутоне... стыдливо, с оглядкой приподнимает ночную сорочку...холмик с неземной-нежной-волнистой моховой травкой на нем...чуть приметное начало влажного овражка ищет своей дрожащей рукой...подносит к губкам своим и ротуку запах тлена...пальчики свои, увлажненные тайной влагой родника, что течет в овражке... обнюхивает носиком,

вдыхая запахи тинные-тминные-невинные еще... глаза темно-агатовые жмурит в первоистоме девьей... не помня того резкого запаха свежесваренных глаз ягнячьих агниковых и вдвойне невинных, по сравнению с ее девчачьими... языком своим розовым облизывает губки капризные алчные-алчущие, забыв вкус другого языка, что блял-пел свои песни овечьи, но...

...видя все это Бастард уже исходил блаженной поллюцией мечты, даже не ведая к каким краям бездны скользит он в эти минуты. Он задумывал месть без имени и меры и верил в справедливость возмездия... Да мог ли он знать в те минуты, как сокрушительно безмерно его хищное воображение, питаемое умом человека-отрока, уже перешедшего грань меж адом вожделения-мечтания и раем действия-воплощения темных грёз.

Глава 7

Гроссмейстер вибрирующих линий, сидел на облаке. Вдруг, его словно обожгло. Вернее, пронзило-проникло-сотрясло. Он завибрировал и чуть не свалился с облака, ибо сидел на краю черной бездны. Ему был послан сигнал. Всей своей тончайшей оболочкой, сотканной из тысяч нитей сострадания-сочувствия-предвидения, всей своей сокровенной сукровицей сердца он понял... Кто-то там, внизу, на земле, будто оповещал его: некий человек ступил на путь сверхзла несусветного-несметного-смертного. С той поры, как Гроссмейстер покинул тело земного художника Калмыка (до того успев развесить свои картины-декорации-флуктуации из патины красок и линий по кулисам вселенной), он еще ничего подобного не ощущал. Ведь он был послан сюда лишь фиксировать хаос, а теперь от него просили участия в делах земных, в то время, как он думал, что может отдохнуть здесь, в тихих просторах «второго неба» от суеты и пустячных забот, каковые с облегчением оставил там, на земле, в театре, под порталами сцены и вне театра: в двух скверах вокруг, и в тех ручейках печали, что остались навсегда там и текли вдоль улиц по руслам старых арыков, ныне укрытых решетками и бе-

тонными плитами. Пробуждаться заново к тем печалям-разочарованиям-мукам было невыносимо. Но сигнал?! Но вибрация?! Но призыв?! И Гроссмейстер стал искать источник сигнала на вертящемся сиренево-синем шаре земли.

Сигнал шел из центра Евразии – суперконтинента надежд и конфликтов, от пестрых снеговершинных гор, которые обозначили западную линию глубинной встречи двух гигантских континентальных плит Азии и Европы, взывивших величайший горный массив, Гималаи, до такой невероятно-небесной высоты, который не могли достичь даже самые сильные птицы.

Волна горячей ностальгии хлынула на Гроссмейстера... Ведь там, у подножия пестро-цветных голубо-ельных гор Алатау, находился тот самый яблонно-звонкий шелестящий листьями серебристых тополей город Алма-Ата, принявший его в минуту невзгод и расставаний всех со всеми, как блудного сына. И там же, в самом центре того города: сиреневого-белого в мае, оголтело зеленого летом и искристо-пенного от ярой-яркой смеси золотоохряного, дымчато-желтого с грозной багрянью, кроваво-темного на фоне серебристой сепии елей – по осени, в центре того города, меж двух сквериков стоял-был-витап его родной Театр, где ему встретилаься, однажды, и навсегда потом отлучилась от него Лунная Красавица, невероятным образом ставшая знаком всех земных Любостей?.. О, сколь может это еще томить-волновать его, даже здесь, на краю второго неба?.. Но... но тревожный сигнал сдвинулся чуть дальше от города (и Гроссмейстер облегченно вздохнул). Затем вновь задрожал – завибрировал у маленького селения «длинных деревьев», у тех же пестрых гор И смутно увиделось... начало зла... глаза мальчика, утерывшие взгляд... обман, окутывавший душу ребенка туманом сырм... дымящаяся мездра зарезанного агнца... без жертвенной цели... ради еды только...

Стоило призадуматься: для чего послан этот сигнал и кем? Ведь еще там, в яблонно-сиреновом городе, он до смерти устал от мучительных вибраций при виде даже тонкой патины грусти или тени обиды на челе и в глазах человечьих. О горе, истинной беде или боли (глубокой-нутряной-телесной-душевной-моз-

говой) и говорить не приходилось. От сопереживания такого он почти умирал. Его при жизни, тогда еще спасало только то, что он придумал писать «картинки» и уходить в свои фантазийные неземные миры, чтобы не быть убитым состраданием, как ножом или пулей?.. И вот этот сигнал? Чем может он помочь и прервать начало зла, если даже этот сигнал настолько слаб, что едва виден из просторов «второго неба»? Откуда и от кого он исходит? Ведь он Калмык (в той жизни) и Гроссмейстер вибрирующих линий (ныне) никогда не умел помочь кому-либо конкретно, спасти кого-либо, а тем более предотвратить «Нечто» (так он это для себя называл) или остановить «Некоего»... Оттого и бежал мечтами в свое «второе небо» от страданий и немотной немочи упований пустых и был удивлен, что был водворен «Неким», именно сюда. Во Второе Небо. Более реальное теперь, чем та первая жизнь. Ему уже начинало нравиться наблюдать хаос земной из такого отдаления, мыслить-мечтать о вариантах наведения гармонии в частных и более обширных масштабах, но именно вот так: виртуально-визуально-отдаленно-мысленно... Что теперь?.. Опять страдать во втором небе второй жизни своей? Где сил взять? О какой нирване и вечном блаженстве витающего и беспечного духа может идти речь, как о том мечталось-уповалось на земле?.. Но Гроссмейстер все же стал напрягаться-вибрировать-управлять и отслеживать этот сигнал, еще не зная того, к чему это приведет и что надобно будет делать. Время беспечности во «втором небе» второй жизни для него кончилось. И он начал вибрировать и творить новые линии упований...

... с треском и болью вращается ворот в висках у мальчика... головокружительно и неслышно кружится колесо вселенское... неведомо в какую сторону... звезды и земля недвижны, словно блестящие шляпки гвоздей, вбитых в черную ткань тьмы... траур и недвижение... пространство прошито нитями из сердец людских... пряжа тонка и легка... шерсть шкуры агнца чёсана гребнем острым и частым... колья и репы рядом с пряжей... не смешайте опять... на веретено мотается пряжа и нить... пообок дороги... шкуры заскорузлые-скукоженные-брошенные-овечьи-человечьи... не шагреня, нет... ворот-веретено-

колесо... нить и пряжа... верно ли вращается-кружится все?.. верно ли делается дело земное-небесное?..

После разведки в Крабовидной туманности, Атай с ужасом задумался над тем, что первичное вещество вселенной начинает портиться, растратив себя на катастрофически-взрывной процесс создания-сотворения бесчисленного множества звезд и галактик, и при таком сверхзатратном методе лишь в одной солнечной системе, лишь на одной малой планете Земля удалось посеять жизнь. Через миллиарды лет ошибок и экспериментов, через гигантское многообразие форм органической - растительной - молекулярной - биологической и микробовирусной жизни - существования, сменяя эпохи и целые миры - биоценозы случайно найти разумную модель, вырастить человека, сознающего себя и природу вокруг, и когда казалось, что первовещество не зря потрачено, что человек и есть оправдание столь чудовищных - невероятных усилий, вдруг, т.е. теперь стало очевидно: человек с его умом и всей искусственно-сотворенной им техноцивилизацией, сам оказался главной угрозой жизни на Земле. Если не сказать, самоубийственно-губительным для самого себя и всей ноо и биосфере. Тупиковой ветвью развития. И вещество сознания стало портиться, энергии созидания стало слишком мало, для пересотворения и нового витка развития. И верно. Раз вселенная родилась из сокрушительного перво-взрыва, значит ген разрушения заложен был с самого начала, то чему удивляться, что высшее из созданий - человек, тоже занялся разрушением и самоуничтожением. Атай понял: надо искать причину, а еще важнее - выход из тупика. И он впал в лихорадочное состояние в поисках разгадки - объяснения, а затем, если получится, то и найти решение проблемы. Он забыл о потребности есть - спать и отключился от линии связи с любимой женщиной, искавшей с ним встреч. Он жалел Одиною и хотел бы поговорить с нею, но энергия ориентированного на поиск интеллекта не могла быть потрачена никуда, и даже мимолетная встреча с возлюбленной была теперь, до решения проблемы «Х», невозможна. Навыки настоящего Навигатора и некий импульс свыше подсказали ему, что поиск надо вести за пороговыми понятиями, в астральных

пределах сознания, где-то на грани безумия-разума и отдаться волне интуиций-интенций. И вот, однажды, ему пришло в голову использовать в расчетах-уравнениях (наряду с индо-арабскими числами-символами, прописанными наоборот – зеркально) еще и древне-тюркские руны, а также алгоритмы инкских-ацтекских речений-узлов и египетских знаков-иероглифов вместе с геометрическими схемами, включая математические обсчеты размеров и форм храмов и пирамид, ввести в расчеты заглавные и последние буквы священных текстов и книг, письма на чаше из Иссыкского кургана, а также вставить по строке из самых ранних стихов гениальных поэтов, имена героев великих эпосов-саг-сказок и дать сверх-алгоритм всей программе расчетов в виде контуров горного ириса и человека. Через 117 дней Атай получил поразительные формулы со знаками и буквами, которые говорили о следующем:

... на самых дальних окраинах черного необъятно - немислимо - огромного Шара - Вселенной, куда дошли частицы-элементы перво-взрыва-творения, на тех окраинах, откуда сама вселенная кажется непроницаемой остановившейся - и убившей в самой себе свет... там зарождается новая прозрачная оболочка, где начнется спасительный рассвет над Вселенной... и Там еще в сохранности перво-вещество вселенной в угрожающе малых количествах.. Оно ждет соединения с Веществом - эмманацией Любви, которая есть еще на Земле, но тоже в ничтожных количествах... Надо найти Женщину, хранящую последний Импульс Любви с гигантской энергией для преодоления размеров вселенной, но при этом должно отправить туда, на окраину (к оболочке вселенной, что подобна розовой плаценте - рубашке на эмбрионе-человеческом), надо того Мужчину, который любит ЕЁ... Великую Женщину, любящую его... Сила их взаимной любви должна быть столь огромна, а их человеческое сознание, не приемлющее даже мысли о вечной разлуке настолько велико и горестно, и лишь тогда, только в таком случае – варианте – комбинации Импульс Любви получит достаточное ускорение-энергию, дабы достичь окраины вселенной и сохранить Перво-вещество... одолеть сверхгравитацию и человеческое эго любви...

Далее шли формулы-расчеты траектории полета-исхода-истечения, технологические решения о трансформации звездолета с Вестником на борту и превращения-сжатия их до размеров кванта света, который и есть – станет в тот момент Импульсом Любви Земной, и в таком виде пройдет центр старого мироздания-вселенной и, получив конечное гиперускорение, достигнет окраины вселенной и соединится на излете с Перво-Веществом. И только тогда Импульс Любви спасет все живое-мертвое на земле и над Вселенной взойдет Новая Заря... Да, Вестник погибнет, да, Женщина та умрет от тоски, но это единственное условие спасения всех и всего... и обосновать новый центр мироздания у кромки вселенской зари...

Получив столь диковинный и почти безумный результат своих поисков, Атай (едва сам веруя в это) сумел убедить Космосенат планеты и на деле, включая все интеллектуальные технические - экономические ресурсы мирового сообщества, осуществить этот планетарный проект. Он был назначен руководителем проекта, обосновал свое право быть Вестником и занялся реализацией своего проекта исхода-спасения. А в том, что их любовь с Одинойею необыкновенна и сильна, как Любовь Любовей всех, как в «Песне Песней», он не сомневался и уговорить свою возлюбленную Одиною взялся сам. Он знал: она поверит ему. И... поддержит. Перед его глазами стояла-сияла простая и вместе прекрасная, как гроздь винограда в полдень, формула Исхода-Спасения. И не менее ярко, рядом, сияла-воссияла Одиноя в одеяниях из рос. Божественный хмель ударил в сердце Атая - Вестника и тот же хмель, подобно нейтрину, прошел сквозь душу. И он пошел к Одиное...

...Эта нить меж землёй и краем вселенной была натянута так давно и сильно, но все же не рвалась, как бы не становилась тонка. Может быть потому, что она состояла из первичной субстанции-вещества-сущности-атома любви, от которой потом и произошел человек в двуединой своей природе – женщины и мужчины, и тем спас и усилил любовь и дал ей тысячи воплощений и образов, возобновляя и возрождая её во всех испытаниях и надвижениях темных времен... И потому все ещё есть,

это тонкая и вечная нить меж землей и краем вселенной... нить жизни... одоление бед-натяжение любви...

Звездолет надежды, разогнавшись, начал трансформацию в корпускулу-волну-квант света. Погружаясь-засыпая в режиме глубокого анабиоза, который должен был превратить его в живую мумию, а затем вместе со звездолетом перейти- уменьшиться и, в конечном свете, стать квантом света, Атай - Вестник видел - помнил Последнее Откровение и, еще улыбаясь, отметил для себя, что его удаление от Одиной и Земли теперь велико и необратимо и все же нет ничего, что могло бы сделать их ближе.

В тот день прощания они договорились устроить пикник на горном лугу, где еще природа оставалась нетронутой. В той высокой траве альпийских майских лугов, на склоне, обращенном к солнцу, где можно было представить себя былинкой, но которая казалось бегущему в заботах мурашу гигантской секвоей, в двойной перспективе малого-большого и третьейского спокойствия гор. Атай исподволь начал разговор с Одиной. Она лежала навзничь, погружая небо в свои глаза, покусывала травинку (единственный признак волнения), а он смотрел, как жучок упрямо лезет на гладкий камушек, скатывается и вновь, и вновь повторяет свой безымянный и не имеющий, вроде бы, смысла подвиг-восхождение. Выслушав все его длинные-странные рассуждения-доводы, Одиноя сказала, все так же не отрываясь от созерцания неба:

– Я поняла, хоть и не совсем. А нельзя отказаться.?

– Так я же сам предложил...

– И другого решения, значит, нет.?

– Вроде так...

Еще помолчали и, кажется, долго. Она сказала:

– Ты решил, ты знаешь, а я ...

– Не обижайся только, потому что...

– Глупый, разве в таких вопросах есть место обиде.

– Я знал. Ты поймешь, но без твоего согласия, мне не сделать этого. Сил не хватит.

– Хорошо, но мне будет также плохо без тебя, как было хорошо с тобой. Мне трудно говорить. Наверное, то же чувствовал

ли все женщины древности, провожая мужей на войну, зная что они не вернуться.

– Не война же это, а...

– Хорошо, а теперь просто посмотри мне в глаза, и я пойму все остальное. И приму. Но я буду ждать. Все равно.

И Атай повернулся и посмотрел Одиное в глаза, в дно зрачков, все еще хранивших образ неба, и только сейчас понял все прекрасное, что было на Земле и будет потом...

Когда он содрогательно-неотвратно ощутил плывущее от него облако и уже не мог остановить его в себе, все привычное ему ранее неожиданно изменилось, и тогда он увидел высокую и легкую женщину, пронзительно постревишую на него. Она словно пронизала его насквозь, одновременно захватывая мысли, как территорию своих женских владений. Кроме того, ей была известна тайна глубокого молчания и слова становились бессильными и бессмысленными. Он понял, что проиграл битву и надо либо умереть, либо сдаться на милость ее сердца. Тогда он призвал на совет все значительное в нем и свои осколочные знания о женщинах. Первыми сдались его окраинные чувства. Глаза полностью подпали под магнитное влияние ее внешнего тела и не могли отказаться от восторженного созерцания великих сокровищ. Отзывчиво-звеняще восставшая крайняя плоть его – полярный символ любви – совершенно потеряла самообладание и хотела только прямого обладания сердцевиной сияющего мира. Хотя бы на миг. Руки тряслись и пришлось их сильно сжать перед собой, а это уже было знаком мольбы о пощаде и желания покориться. И она – Королева Одиная, к счастью, приняла его бессловесные верительные грамоты, чуть улыбаясь. На церемонии вручения целовательных грамот и тайных даров сердца она была великолепна. Одежда на ней была так тонка, что светилась, как облако под солнцем. А волосы!.. Нельзя было без восторга и слезного тремоло глаз смотреть на это ниспадение-низвергание-истечение сверкающего потока волос вдоль шеи и по плечам. Глаза бездонны и их зову – повелению нельзя противиться, а взгляд матов и мягок, и полон магии, ускоряющей сердцебиение. Рядом с нею не о чем было жалеть, а мечты

становились почти осязаемы, когда она призывно повернулась... оставалось только следовать зову её.. И он уже не боялся утонуть, хотя океан блаженства пугал своей необозримостью. Так свершилась его любовь-умирание в ней. Атай истекал квантом света.

Позже она сожгла все вещи, к которым он мог бы ревновать ее или сравнивать с чем либо. Оставалось только прирасти ней, как черенок, привитый к дикой яблоне. Ну что ж. Это все же лучше всего прежнего...

... Жаворонок-жеребенок резвится в траве небес... душа купается в облаке... сердце срывается с гребня и падает вниз... ястреб страсти подхватывает его и вновь относит на гребень терзанья... капельки крови становятся калеными ягодами калины...росно-пушистое гнездо в ущелине устроено искусно и потаенно... нагота округлых камней совершенна, а сами камни нежны... горячая плазма дыхания... кости плавятся, но снежные прикосновения охлаждают боль... в этом океане не тонут... летают... стоны уходят вглубь... улыбка - жемчужина в раковине губ...растворяется тело и уже неотделимо от вод блаженства... когда признаешься себе , что ты - форель, то нагота и умение плыть естественны... в океане прилив и берега исчезают... становишься большим и тебе миллион лет... ты древен и юн, и время и смерть бессмысленны...

Атай-Вестник, ставший уже квантом света, летел к центру вселенной, чтобы получив дополнительное ускорение, направиться к ее окраинам, где зарождалась новая оболочка и новая заря. Там должно было произойти соединение Любви и Первовещества.

Как ни странно, на самой Земле этот безумный план прекратил на время распри людей и стран, и все говорили о Надежде. Бурно, но как в большой семье, где обсуждается переезд.

Одиная, в день отлета Атая, тихо-инкогнито поселилась недалеко от Школы Навигации, рядом с тем незабвенным горным лугом, откуда хорошо был виден пик Хан-Тенгри.

Поразительно, но почти от каждого из землян вслед невидимому Вестнику-кванту-надежде потянулись тонкие паутинки

упований, более прочные, чем те, которые были когда-либо. Была среди них и самая сильная и тонкая нить. Импульс-нить любви от Одинои. Себе же она казалась и Ширин и Мехменэ-Бану одновременно, тоскующая-ревнующая-любящая своего безумного Фархада, который, как в старой легенде, ушел пробивать гору, чтобы выпустить на волю воды откровения...

Глава 8

...он трепетно-нежен аки, бабочка, пока не пришел-налетел ветер тяжело- сильный-громкий-войный и не сорвал одеяние ея, крылья-пыльцу, и она встрепенулась-содрогнулась и не вспорхнула более...увечная-обнаженная-обесцвеченная... глаза чистого цвета ночи померкли... ночь-полночь-мрак наступил... он без страха и упрека взглянул на дело свое завершенное и малое сердце свое опустил в жидкое кипящее олово стенания... шар земной чуть качнулся и вновь обрел привычную ось и полетел-закружил среди братьев-сестриц, сияющих звезд и яркого солнца, в ночи незримого... она уже охладела... кокон-женщина бескрылая-бессветная и смертная и новый полет её в небе вечной любви не случится... а он зверь-мужчина забудется, как ветер-вервь вчера и его настигнет тлен-тишина и не пощадит изувера-людоеда проклятого-двойкого-пустого-изветренного... прощайте мечты... мертвый кокон женщины станет однажды черной личинкой, злой и прекрасной, и плоть-род мужчин истребит... ветер-вервь... червь могильный-летающий... о, превращение прекрасного в кошмар-ужас-уродство духоубийственное!.. В раковины ушей вплыла-вломилась та первая оглушительная тишина-безмолвие и он погрузился в нее и замер, предвкушая. Еще не зная, что произойдет через пару минут, не зная, что будет потом... Он хорошо помнил тот поезд. И особую душную жару Южной Сибири в июле. И сквозной - дробный перестук колес, больше похожий на удары отбойного молотка, и не где-то рядом, а прямо в голове. По вискам... Он смотрел в окно на мельканье пейзажей за окном, а в голове стучало: - Пронесло... Повезло...

Значит можно... И сразу злость, темным комом в темя.. Когда поезд по витым мостам переезжал реки, то прохладный поток воды, бегущей внизу, почти рядом с этим стеклянным аквариумом жары бесил так, что голография-иллюзия текущей воды возрастала до масштабов почти физиологического садо-мазохистского издевательства над плотью и волей (и мысль: почему не остановится поезд, почему?), и он молча бился головой о стекло-запрет. Хотя, казалось бы, думал в бешенстве он, пытаюсь стать стеклом бесплотным: разве нельзя, хотя бы летом, сделать здесь стоянку на несколько минут? Вот она река, искупнись, избавься от наваждения, дай людям возможность от духоты-жары спастись. Ведь это так естественно, остановиться... Но поезд ехал, согласно своему (далекому от природного) закону-расписанию от одной жаркой станции к другой, и ничто человеческое не учитывалось в этом жестоком расписании. Пробка из ушей вылетела на миг, шум жизни ворвался в капсулу тишины, но он поставил более надежный запор-заглушку изнутри (а он умел это делать теперь хорошо, очень важный полезный навык - отключаться) и возвратил себя в дни «того поезда»...

Тот поезд вез его в «дембель» из штрафбата, от более сурового наказания, но тогда его дело спустили на тормозах. Тому была своя причина, о которой молчали все: и армейское начальство и... и он сам, конечно (бывает же так, что вот - все очевидно, картина обстоятельств ясна. Смотри, суди, как есть. Но одна мелочь перекрывает другую, тень падает на тень и передний план лишается смысла и ясности, и вот уже перед тобой - серия искажений простого факта...). А было на деле так. В тот день они сидели с сослуживцем (парнем-простаком из Белоруссии), чистили по наряду бак картошки в подсобке казарменной кухни. Во все время этого тупого занятия, белорус (с каким-то странным упоением-смаком и омерзительными подробностями) рассказывал ему о своих блюдах доармейских, о случаях-способах-обстоятельствах, о каких-то невысказанных извращениях, будто речь шла о хронике времен Калигулы, а бедный женский орган, который он постоянно вырезал в картошке, начиная чистить, становился объектом столь убогих и грубых мыслей-вожделений- похоти-

маразма, что даже ему, Бастарду, уже тогда не любившему женщин (почему? – это отдельно, только ему понятное – большое) стало так мерзко-противно, что желудок и ум стояли у него на грани рвоты. Светящийся туман, с проблесками черных молний, стал наползать ему в мозг, закрыл всякую видимость и связь простых вещей. Отчего-то почудилось, вдруг, что это его мать трахает- поганит белобровый кретин и ворочается в ней сизым членом, как в картошке нож. Потом что-то выключилось и... он обнаружил, что воткнул большой кухонный нож прямо в сердце говоруна-фантазера, изгадившего без всякой внешней причины и день этот, и девок своего доармейского мирка-закутка, которых он придумал (скорее всего, будучи безнадежно несчастным онанистом с детства), и ничего не было, кроме потных и скользких фантазий-порнокартинок в этой розовой поросячьей безмозглой голове деревенского ублюдка. «Онанист» так и остался сидеть с открытым ртом, из которого так и не успела выскочить еще одна волосатая гадость про «то»... пока он медленно не завалился в чан с картошкой... Подумав минуту-другую, Бастард (он всегда потом удивлялся этой ясности ума, которая приходила к нему в такие минуты после совершенного) сообщил шеф-повару о случившемся, с необходимыми интонациями «потрясенной простоты». Дескать: мы хотели было уже нести бак, взяли за ручки (а бак с картошкой на роту и с водой, сами знаете сколько тянет), тут он поскользнулся упал прямо на мой нож. Шеф-повар допускал, что при таком развитии событий, рассказанное этим солдатом могло бы случиться именно так, и потому довел информацию до офицеров. Те дальше и, в конечном счете, в суде ему дали два года, условно, за неосторожное (в производственных условиях) убийство, с отбыванием наказания в штрафбате. И вот там, в короткие вечерне-сумеречные часы, после дня - наряда, сидя у кромки таежного леса Бастард предстал сам себе желтоглазым матерым волком, смотрящим из чаши (из мира заповедного-древнего) на этот странный мир человеков, где стало много отвратительных запахов и примет искажения волчьей вселенной, чистой-ясной, проницаемой и постигаемой инстинктом-голодом-утолением-охотой-покоем и упованием истинного хищника.

В эти минуты, когда он видел свое отраженное «я» в лице волчьем, Бастард вспоминал рассказы своей матери-полукровки о том, что их род происходит из племени тех самых древних «каменных татабов», которых гнал перед собой Чингис-Хан во всех походах, обещая подарить выжившим землю и «стан». А его вечно пьяный отец-алкаш бывало упоминал в глубоком похмелье, что он родом из некоего древнего корня – племени людей, начало которому положил Вепрь - Волк. В один из таких дней, когда лик Волка особенно долго мерещился ему из тайги, Бастард вдруг осознал себя потомком самого Чингис-Хана и новым его воплощением. Разумным волком-вепрем-сапиентом. Со временем это стало его истинной сущностью-нутром, которое он тщательно скрывал от всех, как самое ценное в нем. Хомо-сапиент-волк. И чаща эта казалась ему проще и понятней расчерченных, объясненных и потому скучных схем и формул будней. И стало ему все чаще мерещиться из чащи...

В купе беспечно смеялись попутчики. Рыжая молодуха и мужик-сезонник. За окном мелькало. Пили чай вприкуску. Водку – впридачу. Муха упала в малиновый джем, за первой – вторая, и эта мушиная обреченность дико веселила попутчиков. Смеялись над тем, что он не пьет водки. Мужик и молодуха были всецело увлечены тайным языком полунамеков, грубоватых шуток, пошлых анекдотов, недвусмысленных жестов, который давно устоялся на этих перегонах, как единственный способ быстрого сближения мужчин и женщин, которые только так могут, хоть как-то, остановить разлетающиеся пути-судьбы и взять в руки – в зубы кусок вкусного яблока-плоти, перейти от кружений «от того-этого» к прямому вкушанию смака жизни в самой ее «середке-промеж». А эти двое знали толк в этой суете-маете и умели ухватить свой «балык-рыбец» вовремя, а не якобы «когда-нибудь». Этим их уже не проймешь. Не-е...

Бастарда, вдруг, полоснуло в середке мозга, как тогда над чаном картошки, когда полез-налез тот острый-жгучий туман, и смутная ветвистая молния-мысль блеснула и точно легла на ландшафт-извилины мозга... Он широко-хорошо улыбнулся попутчикам, извинился, что ему надо навестить знакомцев и... вышел.

... покой ... водные глубины... в донном киселе бездумно делаются амобы... одна, две, четыре... от начала времен... микрохищник из тины... съедает, всасывает... четыре, две не успевают... и из одной опять две... и так без конца, смысла... рефлекс, инстинкт, природа... но они же простейшие и у них должно быть просто... а эти двое?... особо, эта рыжуха... вся, голей голого, и выражена откровенней, чем телка в течке... и сардельку из его толстых пальцев жрет, как... наверное, они уже приступили к делу своему скверному, к совокуплению мерзкому, точно так, как говорил тот буряк-белорус до ножа... лысого под кожу... мешок на колбасу... одноглазого в пещеру-дыру... и... дави мездру... бери мзду...

Когда через пару часов он вернулся в купе, то сразу понял, что гнус похоти восторжествовал. В нос ударил прелый запах распаренной вагины и острая ванильная вонь умирающих спермиков - протухающей «молофьи» (наверное, в том платочке, которой она мнет). Он стоял в «фокусе» их еще не сфокусированных глаз, а она жеманно промокала капельки пота со своего «куриного носика». Фань тленная... И тут Бастард вновь, лучезарно, как ни в чем ни бывало улыбнулся. Он уже решил, что ему делать. А поезд пусть едет, как едет.

... в раковину уха влетает звук... низкий... режет воду... ревет тишину... в ключья... надо заткнуть брешь... вернуть покой-плаванье... безмолвие...

Незадолго до Красноярска рыжуха собралась на выход, и когда поезд остановился на одном из многих полустанков, Бастард уже стоял в дальнем тамбуре, наблюдая. Проводник помогал рыжухе с вещами. Трехгранным ключом Бастард быстро открыл дверь вагона с другой стороны (к счастью, на таких полустанках всегда одно-два полотна), едва увидев, что «шустренькая шучка» сошла. Сняв с пожарного щитка молоток с длинной рукоятью и гвоздодером, Бастард сошел с другой стороны состава и спокойно пошел вдоль вагонов, почти впритык, так естественно, что его можно было принять за обычного обходчика путей.

Как только поезд скрылся за поворотом, а станционный смотритель исчез в будке, Бастард поднялся из-за трансформа-

торной будки, сразу вышел на проселочную дорогу за станцией, по которой удалялась «рыжуха» и вскоре нагнал ее прирожденной рысью - ходом волчьим, а затем наметив место пересечения у купы кустов раkitника, обошел ее длинным полукругом по подлеску и залег. Тишина стояла оглушительная и мир приходил в гармонию.

У укромной купы раkitника, «рыжуха» оглянулась, поставила поклажу и села было по нужде... Молоток провалился в темя без звука, в дыре запузырилось-заалело-забелело и стало малиновым джемом... Бастард быстро оттащил тело к кромке леса к краю овражка. Рыжуха все так же глупо смотрела зелено-белесыми глазами в последний час - миг своей жизни, не дойдя трех-четырех, видимо, километров до дома. Он раздел её. Вульва была ещё теплой на ощупь, как свежая мездра овцы. Не хренелось. Облом. Из чистого любопытства, прежде, чем закопать, Бастард вырезал у нее левую ягодицу - полную и белую и внимательно рассмотрел желто-розовую мякоть, понюхал, хмыкнул и, на всякий случай, положил в целлофановый пакетик и сунул его за пазуху. Закопав рыжуху, Бастард дождался сумерек и двинул обратно на станцию по краю лесочка. Никто рыжухи не хватился. Ночью Бастард сел на встречный товарняк и отправился обратно, в сторону Владивостока. Следующей ночью он сошел на одном из полустанков, зашел вглубь дубовой рощи, неспеша разжег костёр и поджарил ягодицу рыжухи и нашел мясо сочным и особенным. Возбуждение было быстрым. Оргазм ярким. Бастард заорал. А потом (сытый уже и напитанный туманом изнутри) вновь вообразил себя волком-тотемом, стал наполняться темной кровью и силой, проникся новыми - острыми - прямыми мыслями хищника древнего - одинокого, сел как-то по-особому, по-волчьи, как ему казалось, поднял голову вверх и завыл. Тихо, низко. Необычный покой охватил его, всякая пустячная суэта ушла, все наносы обыкновенного «совкового быта» и пресного «гражданства» исчезли. Он впервые ощутил себя другим, вернее самим собой, Изгоем, Эго-зверем, Волкоглавом разумным-сильным, единственным в своем роде. И запомнил себя таким, для других дней...

... раковина уха научилась впускать только прямые звуки суеты: голоса людей, новости... зато прочно хранила тишину дна и безмолвие верхних сфер... раковина тела внешне не меняясь приняла в себя сущность и дух волка - людоеда и осталась непроницаема для обычных глаз... музыка - скрежет..., муравей - скребет... плач - всхлип... треск-плеск воды... гримаса боли... рисунок на ткани... свежая рана - роза цветущая... вкус крови - вино вечности... убийство - мудрость... женщина - ошибка... охота - высшее назначение волка...

- Почему моя мать тоже женщина? Разве как-то иначе нельзя стать матерью? Если бы она могла быть только матерью? Зачем ей заниматься этой грязью с мужчинами, когда у нее уже есть он – ее сын? А этот омерзительный «отец», грязный, пьяный, называющий его маму непотребными словами, не защищающий ее? Мразь, скотина, я убью его и скормлю свиньям на соседней ферме. Вот только вернусь в свое селение длинных деревьев, у гор, и убью. А мать сделаю другой, а не такой, как все эти шалавы портовые, – так думал Бастард после своего первого «причастия» и «прозрения». Он поменял много профессий, работал на рыболовецких шхунах, в геопартиях, мыл золото и «целил пушнину», побывал в грязных портах, перевалках, базах и везде встречал один и тот же тип мокрого и грязного одноразового бабья-телок-сосок-давалок на халяву - хрен. И навидавшись дерьма, Бастард решил стать «чистильщиком» и при первой возможности резать, мучить еще живых «позорниц», но с таким расчетом, чтобы никому в голову не пришла мысль о том, что сделал это он – мудрый волк. Пусть думают, дескать, наверное... Упала в дробилку, утонула на сплаве, разбилась о камни, а затем одичавшие собаки или звери порвали и съели то, что чего в них не достает. И представлял себе, как будут обыватели обсуждать на ночь таинственные смерти - исчезновения несчастных бабочек-однодневок паскудниц сибирско-таежного образа жизни.

А где-то в лесу, вымытые тальми водами и обглоданные зверями лежали, белея, кости несчастной рыжухи. Над ними, по весне, токовали тетерева-глухари, оглохнув от любви безмерной к своим серым тетеркам - птицам неслышанным, чистым,

высоким и видели они только сияющее счастье гнезда и слышали щебет птенцов. Нет глаз, нет чувств и слез человеческих у природы и приемлет она все в свой круговорот слепой жизни-смерти.

Глава 9

Три колонны походного стана Воителя двигались вдоль гор. На восток. С правой руки - пустыня. Безотрадная, какой и должна быть осенью. В центре стана медленно едет широкая, почти квадратная, повозка с большими деревянными колесами на железных ободах. Ее специально, по заказу, сделали мастера из народа ковыльных степей, знающие в этом деле толк. На повозке - шатер из белой шерсти ягнят, в двенадцать шагов в каждую сторону. Качается, тащится, скрипит. Впереди сорок волов в десять линий упряжи. Бредут монотонно, то и дело испражня навоз. Сейчас ветер сбоку и пахнет не так густо, как если бы навстречу дуло. И потому опахальщики отдыхают. Возничие - волопасы идут впереди и сбоку, мерно взмахивая шестами погончими, и вместе вскрикивают - выдыхают: Хх-ох! Снова скрип колес, взмах, вскрик - и так весь день.

В шатре сидит Воитель - темный, бесстрастный. Едет к родовым стойбищам, на зиму. Думает, досадует он:

- Медленно все... Как-будто жизнь останавливается... И скрип этот... Сначала тонкий и длинный, словно клинок точат, затем - надрывный, со всхлипом, как если бы кто захлебывался в воде... Как тот горец, кавказский князь, когда в бочке его топили... буль-буль... а потом дергают за волосы вверх... выныривает с открытым ртом... аа-ррк... вдыхает воздух со всхлипом, истошно... ыы... и опять под воду... бульк-бульк... раз за разом... глаза выпучил-иззолупил круглые, дикие... говорили, что он всех своих предал и нас хотел... на нем эту китайскую казнь пробовали... не понравилось... я сказал тогда - пусть больше не выныривает... так и сделали... тихо стало, покойно... бочку велел расколоть и сжечь вместе с предателем... получилось неплохо... сначала водой, потом огнем... как же долго едем?..

второй месяц... вот одинокое дерево на одной линии с краем того длинного холма... когда его проедем? Скрипят колеса, сколько не смазывай жиром... хуже той китайской казни... ииии-ркрк... кобылье молоко плещется в чаше... лучше отопью, а то прольется опять... терпкое... а дерево?.. оно уже посередине холма... значит все же движемся...

Воитель приподнял полог. Войско его двигалось на отведенном расстоянии от шатра-повозки, образуя широкий круг и этот строй не нарушался в течение всего пути, кроме тех двух дней в неделю, когда полагались обязательные остановки и воины должны были совершенствовать свои навыки в стрельбе, владении копьем и клинком, и в других убийственных искусствах. Или устраивались облавные охоты для прокормления и, одновременно, для координации войсковых действий: охваты, засады, погоня, истребление. Воитель любил на склоне лет эти жестокие утехы, особенно, облавы. Загнать и убить. Ясно и просто. Теперь кроме воинских состязаний нечем и развлечь себя. Вот и осталось разве что размышлять:

- Как же тогда в той пустяковой охоте не повезло? Гнались за сайгаками, а вышли на обширные камышовые заросли вдоль реки. Конь попал копытом в сурочью норку, когда он привстал на стремена, чтобы пустить стрелу в камышового тигра, выскочившего из зарослей... Упал... Тигра тогда завалили телохранители. Две стрелы в два глаза... Молодцы... Да, не напрасно, видно говорили ему, что в этой ковыльной стране врага встречают копьем, а провожают проклятьем. Неужели, сбилось?.

Но с того случая что-то сместилось в нем и вокруг. Изменилось. Это, как в бурдюке, где образовалась-появилась трещина-щель в заскорузлой коже, когда кислая походная брага утекает незаметно. И только к вечеру, на привале замечаешь - в бурдюке уже пусто... Где-то там, в середине второй колонны едет этот, как его... мудрец пучеглазый... Год, как он находится при нем. Достался Мудрец ему в виде откупа кипчакского хана, что не перейдет он реку мутную Инд и не вторгнется в большую и влажную страну, где почти не носят одежду и не едят мяса. Когда его доставили к нему (худого-лохматого-босого - в лохмотьях), то

всех это позабавило... ну, да дело не в этом... важно, что было потом... вот еще один холм миновали... сколько их впереди?.. а лет сколько ему осталось скитаться - воевать на земле?.. потому и доставили этого, как его... патлатого босяка-мудреца... тьфу... но говорят он уже 150 лет живет, знание о тайных мирах имеет, ведаёт о долголетию и второй жизни... вначале я ему не поверил... слушал его древние веды... разве так выглядят мудрые люди?.. но потом он удивил меня и всех вокруг... на ножах лежит, как на траве... ни пятнышка крови... коня на спине поднял... не ест почти ничего... следящие за ним доложили, что раз в день на рассвете, уходит оборванец-чудак круглоглазый от лагеря и собирает травы-коренья-цветы, из земли что-то выковыривает и ест это все непотребное... на заре и ближе к ночи слизывает, по-собачьи, росу с листьев и камней, или, если в голой степи, находит родники одному ему ведомым способом... тем жажду и голод утоляет, а сил больше, чем у молодых... но самое поразительное: когда хотели хребет ему сломать за дерзость и ноги ему через спину перекинули к голове, он разогнулся молча, как если б змей был, не человек... помню, когда я усомнился в его способности умереть и возродиться, он попросил вырыть яму в свой рост глубиной, лег в нее и дал нам семь дней для вразумления... засыпали его, а когда выкопали мудреца по истечению срока и положили, как просил на пригорок, к утру он встал и только улыбнулся кротко... и тогда я поверил ему, что ведома ему тайна воскресения, если из могилы встать смог... но все же, поступить ли так, как он говорил или?.. а решать надо... скоро... да...

Между тем ближние холмы по правую руку, по которым можно было хоть как-то поддерживать в себе ощущение продвижения вперед, кончились и за ними открылось абсолютно ровное плато пустыни. Глаз не мог выделить линию, отчеркивающую небо от песка из-за нескончаемого струения - марева, отчего казалось, что твердь земная плавится там, вдали, отдавая часть себя зыбкому небесному пространству. Рыжий цвет песка передавался окраине неба, словно подтверждая мистическую мысль о кровавом захвате небесных начал земными. Пришлось Воителю, ради успокоения и утешения самолюбия, перевести взгляд

на горы вдали, ибо не мог влиять он на процессы природные, а вид молчаливых далеких снежных вершин словно подтверждал, что устройство им завоеванного мира незыблемо и зримо, как эти обращенные к солнцу горы.

Недвижность гор и отсутствие каких-либо ориентиров создавало ощущение, что все вокруг остановилось, и только покачивание и скрип повозки подтверждало: движение продолжается. И Воитель вновь принялся размышлять:

– Хорошо, что я остановил поход в ту влажную большую страну... если все живущие там подобны этому босому мудрецу и их мысли и образ жизни так же неосязаемы, как дым, ускользающий сквозь пальцы, то как бы я мог удержать их в своей длани-власти... не станут же клинки моих воинов рассекать пустоту, а стрелы пролетать сквозь цель... те народы и страны, которые я покорил и взял в мое мироустройство были все же понятны и предметны, хоть и несходны между собой... из них можно строить – скреплять и осязать устроенное, утверждая железный порядок, и править миром мечом и волей...

Из дальней сиренево-черной-вселенской выси, из покоя второго неба увиделось это в короткие-кратно-кратерные провалы во времени...

В каменистой безводной пустыне, у подножия гигантских по высоте и шири гор, уже который год подряд веяли сиротливо-свирепые ветры-суховей-сирокко, истив всю влагу вокруг. Из выси второго неба казалось, что пустыня эта безводная-каменная-суровая была сестрой тем горам снеговершинным-гордым, у братского подножия которых лежала пустыня-сестра в предсмертном томлении-жажде. Подумалось даже, что некогда чудовищной неземной силой сестринская-родственная (высившаяся рядом с братом – горным массивом) гряда гор (зеленая, поросшая лесом и травами, обильная ручьями и живностью) была раздавлена-расплющена без жалости и лежала теперь бесстыдно-навзничь, распластанная, утеряв свои первозданные округлые формы с прелестными ущельными таинствами. Но и теперь, при всей своей обреченности, эта каменная пустыня словно ждала сверхприродного соития с дождем лавинным-

страстным, что тугим сильным потоком мог бы ударить в ее обезвоженные-обезображенные-плоские чресла и посеять в ней новую жизнь, и тогда... все опять затрепещет-зашевелится в ней: трава сочная-упрямая прыгнет вверх, под камнями задвигается живность всякая-мелкая, заветвятся стволы юных деревьев-деревьев, а вслед за этим придут животные-звери большие, а потом появятся и хищники с холодными глазами и дикой-древней яростью внутри своих гибких-сокрушительных тел...

Именно там, на сретенье-сражении пустыни и гор, увидел Гроссмейстер вибрирующих линий небольшое племя полудиких людей (числом не более десяти особей), сидящих у костерка. Два старика, увядшая до сухости листа старуха, две зрелые женщины-самки, полный сил мужчина-самец и юноша (вероятно, сын последнего), и еще две девушки, на восходе округлых плодов плоти, и... и младенец пицал, укутанный в отрепья шкурные-облезлые. Молчание безысходное объединяло их в круге света с костерком в центре и голое чувство голода, уже давно томившего их и сжимавшего вокруг них второй черный круг отчаяния и обреченности. Надо было найти выход из этого двойного круга, но они не знали, куда идти: то ли вглубь опустошенной ветром-суховеем пустыни каменной, то ли подняться в бесплодные и бесстрастные горы, скальной породе которых был неведом ни голод, ни жажда, ни сострадание. В головах мужчины и стариков зрело решение: ведь чтобы идти хоть куда-нибудь, к спасению, надобны силы и ... пища. И... вода. По скупому жесту мужчины, старики разложили перед собой кости-когти-шерсть животных и пучок волос человеческих, и стали шептать-выть-камлать-шаманить, стуча костями о камни, дую на огонь костра и вне его, все усиливая ритм камланья-колдованья, пока все слова не слились в один тонкий визжащий звук... инни-й... тишина после визга была внезапна, как обморок... Обморочно-обреченно-потрясенно смотрели все на самого древнего из старцев, на ветхом лице которого зияли три дыры-бездны: открытый в крике рот и два глаза, смотрящие в никуда. Он был страшен. Страшной мысли о смерти... И он указал, сотрясаясь еще в конвульсиях камланья-ведомства... Указал на одну из двух

*юных дев... Та вскрикнула и упала навзничь... Кровь из шейной-
выйной вены испили все... Горяча была она, как надежда послед-
няя... Затем, одна из женщин-самок пошла кормить младенца
и он затих... Вскоре и трапезу отчаяния отворотной-отврат-
ную завершили и пошли туда, куда легла обглоданная последняя
кость девы-жертвы, брошенная через спину старухой...*

И долго еще, в самых разных-рваных-жутких промежутках времен говорилось-шепталось меж людьми о племени людоедов и о семени-потомстве их, что будут изредка-внезапно объявлять-ся среди человеков обычных в годы хаоса и потрясения истин-основ...

В той пустыне так ничего и не взросло, а горы продолжали медленно вылезать из земли, пытаясь подняться выше того заклятого места, что увиделось Гроссмейстером из далей второго неба... Сигнал зла, исходящий из того давнего-древнего пустынного места был все еще силен, и Гроссмейстер сотрясался вибрацией боли и бессилия, ибо сходный с ним сигнал теперь исходил из селения «длинных деревьев» нынешних дней и стал расширяться, грозя испепелить зеленые беспечные поляны жизни человеческой... Надобно было как-то остановить этот холодный пожар-жор людоедный... Но как? Как?..

Глава 10

Как бы ни были Гевра и Балерина слиянны в любви, как бы не передавались-наслаивались-умножались в них эхом длительным-неумолчным волны-отзвуки-оттенки чувств и мыслей, но в одном они были бесконечно одиноки-отдалены и одинаково несчастны. В мечте о ребенке.

Еще в самом начале их совместной жизни Балерина обмолвилась о давней своей женской ошибке, но тогда этот разговор не мог иметь продолжения и оба интуитивно понимали, что на эту территорию ступать им сейчас опасно, и кипенное цветение страсти-цветка и нежности-лотоса не могло принять этот отстоящий на окраине поляны любви молчаливый печальный Ирис - образ

ребенка. Надо было переждать. Хотя бы эту весну. А может он изначально вырос в краю нескончаемой осени, этот печальный Ирис-ребенок?. И не цвести ему в природе, в мечте ароматной, а затем расти-подниматься вверх цветочно... Поздний Ирис в дальних горах...

Мысли об Ирисе посещали их порознь, словно боясь встретиться в каком-либо тесном переулке, в неурочный час, а тем более в суতোлке нелепых мелочей. Возможно, они никогда не догадывались даже о своих поразительных умениях в сокрытии таких тайных мыслей, но действовали очень тонко, столь искусно, что порой сами не могли обнаружить, где в последний раз они утаили от себя этот тревожно-нежный вопрос - Ирис, в какой уголок сердца пересадили его на время. Но и сам Ирис-ребенок имел особенность объявиться неожиданно, среди дня ли, вечером, ночью, среди разгорающегося костра любви-страсти или малой заботы. Он, как бесправный необласканный сирота, мог возникнуть на миг среди пиршества чувств, но чаще Ирис являлся в час дотлевающих углей, когда приходило время уходить каждому в свое заповедное убежище - это, где Ирис смутно виделся им в разрозненных и совместных снах.

Иногда Балерине являлось будто такое: собралась она в дорогу, присела на чемодан, как водится, встала было, идти собираясь, а ее некто окликает, вдруг: - А ничего ты не забыла? Почему меня в дорогу не берешь? Я так мал, да и нет меня вовсе, но как же мне остаться тут одному? Может пригожусь, возьми меня, возьми... и Балерина, виновато оглядевшись, забирала это невидимое с собой. Когда еще в театре танцевала и теперь, когда с Геврой открывала родники подпочвенных вод и истоки небесных рек.

... И Гевру этот Ирис бывало поджидал где-нибудь в дремучих кустарниках суверенных блужданий-размышлений или на голом плато терзаний и сомнений в себе, когда пытался постичь назначение свое, приложение своих потайных сил, и вот Ирис неожиданно откроется ему на миг и словно спрашивает: - А если не встречу тебе вот так, ненароком? Забудешь, верно, совсем меня или мимо пройдешь? Хорошо ли это будет?..

...А бывали и двойные видения-сновидения... он слетал из немыслимой высоты, из тумана словно, и склонялся - витал над нею... ее фруктовое -мангровое - фиброво - тонкое - хрустальное тело дрожало, как нежное облако-мареву и словно источало из себя свет - голос - слова темные - вьющиеся – сокровенные, и просила его выпавшего из облака-мечты: ...упади, пади, пролейся на меня, в мою зияющую глубину и оставь в алой магне матки моей свое семя-зерно, чтобы смогла зачать-выносить я дитя-ирис, чего бы то мне ни стоило и чем бы ни кончилось, и тем завершу я свой изнурительный бег от себя к тебе... открой глаза чрева моего, ведь там я слепа без света-семени и глуха к музыке зачатия-рождения - повторения, которую слышат все божьи твари и женщины простые... стану делать без упрека тяжелейший труд ваяния зародыша - ириса - ребенка, яви мне лик дитяти моего в середине зрачка - матки, дай голос ему в моей гортани - вагине... Гевра весь плазменно воспалился от этих молений - взываний ее и наполнился энергией и соком всего произрастающего и живущего на Земле и готов был стать саможертвенным вулканом и так ослепительно - безоглядно- щедро извергнуться в нее тем, о чем она просит, а потом пусть пустота или хоть весь океан навсегда сомкнется над ним, не жаль жизни будет. Зато Ирису тому быть...

И думалось... вот витала-скиталась по Вселенной одна-единственная молекула с кодом органики, и хранила-хоронила-берегла себя среди галактических катастроф и ждала-ожидала хоть какого-то просвета надежды, что откроется ей островок-гнездо земное, где она сможет породить из себя жизнь. И достало же ей на это терпения. А иным людям чудо рождения ребенка дается просто так, без всякой натуги страдания и не ценят они того. А другим сколько ж страды-страдания перенести надо для обретения блага-чуда деторождения? А третьи, вовсе потусторонние будто, легко идут на убиение Ириса еще в семени, не говоря о том, что губят уже живые цветы, бросая детей к порогу чужому...

В первую ночь, как пошел Гевра в дежурство, Балерина, привыкшая засыпать-просыпаться рядом, затосковала так, что впервые взмолилась:

... о матери моей кроткой и краткой как долго мне еще вспоминать?.. ведь я давно изречена устами и лоном ее священным... и имя мое произнесла несчетно она, и слезное озеро излила при родах... и красива была и счастлива тоже... умела забыться в любви и в танце, а теперь лепечу имя мамы опять, как дитя... и роптать на судьбу мне нельзя, коли спину мне мама всегда защищала и никому не дозволила исподтишка удар нанести... да и после смерти своей шла за мной, охраняя... но печалюсь я, мама, и гневаюсь тоже.. отчего ребенка нет у меня?.. разве зло я кому сотворила?.. не могла я сделать такое, потому как жила по заветам твоим.. почему не могу я родить?.. кому передам, будто код твой материнский, тело-очи-руки-ноги мои, столько лет красоте сотворявшие?.. чадо где мое, которому душу твою передам и сердце отцовское - доброе?.. я бы все отдала за него... мечты-упования, восторги и умиления... да что говорить?! и сам танец, который любила, отдала бы, да простит меня боже.. что мне делать и как мне уйти от отчаянья, которое порой стоит за спиной?.. ведь есть у меня любимый мужчина, который тоже тайне этого хочет, но молчит... как поступить мне, если сердцем женским своим чую я, как начинает он отходить от меня, как тот поезд, однажды увезший меня от тебя?.. мама, мама, пчелка моя заботная, не забуду я до смерти мед твоих рук и глаз ограждающий взгляд, и вкус простой еды на огне из коровьих лепешек, но помоги, умоляю, мне из сфер высших, где ты, верю, усилилась сердцем и можешь теперь, будто ангел помочь и чудо сотворить для меня... возлюбленный мой, какого и ты бы мне пожелала, на дежурстве ночном, и потому свободна я для молитв... я знаю, мама моя, никто-никто не поможет, кроме тебя... ты ведь там с арухами... соберитесь вместе и идите просить у всевышнего чуда - ребенка для меня... вот стою в тишине, как в воде, но плыву всей душою к тебе, мама моя незабвенная... нет слез и печали во мне, одно упование к тебе...

...если долго идет дождь, то свечи надо ставить внутри себя, как в храме. Дело это, несомненно, болезненное и оплавленный воск со свечи будет стекать непосредственно в душу, но зато, когда дождь, все-таки прекратится, из храма души в мир

польются моления, как некое особенное свечение (образ свечи в темноте). Подсвеченный воск легок и невесом, и прозрачен, как долгое терпеливое молчание запертых на время в клетки одиночества. И это смола древняя, сияющий янтарь для предбудущих дней – душа человеческая, живая, молящаяся во вселенском долгом дожде. И незрячему виден свет тех свечей на душе...

Глава 11

Поскитавшись пару лет по тайге в геопартиях, поплавав по морю на рыболовецких шхунах, поев неверный хлеб сезонника, Бастард вполне укрепился в своем новом двойном образе жизни, найдя линию поведения оборотня среди нормальных людей. Он постиг науку ничем не выделяться и быть заметным ровно настолько, чтобы никого не насторожить. В эти два года, после того, как он спонтанно и импульсивно убил того буряка-белоруса белобрысого, а затем уже осознанно пошел за той девкой-рыжухой-сукой пухлой, замочил ее, а потом впервые вкусил-поел-отведал мятно-мускусной пряно-тягучей плоти женщины, плод падший-пахучий, и постиг наслаждение уничтожать-убивать это зло. Конкретно. Зубами. Желудком. И выводить паскудство это в виде экскремента-кала-дерьма, каким оно и являлось на деле. И вычеркнуть хотя бы одну из них - женщину злотворящую, из пейзажа чистой жизни. Одновременно, Бастард все больше проникался мыслью о своей особенностях, исключительности, избранности. Ибо он теперь и отныне-Истребитель Нечисти. Он стоит на толпой плебеев. А что касается жалкого племени сучек-членососок-дешевок-проблядей-шалав-одноразок, которых он уже навиделся и отпробовал с брезгливостью членом своим и зубами, то он будет властелином их жалких судеб. Отныне и навсегда. Он станет убивать их, когда ему заблагорассудится, когда решит, что их время пришло. При этом в нем все еще жила тайная страдальческая привязанность к своей непутевой-неудачливой-слабовольной матери. Ничего с этим людоед не мог поделаться, но ему казалось, что убивая и хавая-съедая блудниц, он хоть

отчасти, смывает позор с тела-имени своей матери. Блудницы по несчастью и факту. И, вообще, надо бы почистить родовые места от скверны, от всех распутных девок-бабенок-подорожниц. Это им он ставил в вину свое унижение и стыд за мать. При всем том он ей был благодарен за одну мысль-весть, возвышавшую его самолюбие. Мать как-то обмолвилась, что по ее линии он является потомком Чингисхана. И эта мысль охватила его мгновенным холодным пламенем гордости. У него, Бастарда, появилась родословная. Значит: он стоит выше быдла и всякого ничтожного люда. Идея-фантом овладела Бастардом целиком, ибо давала ему карт-бланш и оправдание всех его дел. Он называл теперь это – Деянием! Миссией! А он-Мессия Мести в этом развращенном и неверном мире. Отныне любые легенды и книги о Потрясателе вселенной укрепляли его в том, что волею судеб живет в нем ген «сверхчеловека» и ему надлежит (пусть по-своему) оставить свой след в истории. Эти ущербные, но как ему казалось, значимые мысли заполняли ту зияющую пустоту, которая образовалась после казни Агника-агнца, давно ставшего для него неким тотемом-идолом. Символом невинной жертвы, требующей отмщения. И не дано будет никогда узнать Бастарду, что он сам и есть жертва, порождение inferнальных сил, продукт катастрофического стечения обстоятельств, по причине которых его детская душа была жестоко обманута в своих ожиданиях. Механическая-мерзкая жизнь взрослых отвергала тончайшее устройство ребенка, когда одна единственная ошибка приводит к искажению человеческого гена и к чудовищным метастазам в душе и в уме маленького человека...

внезапно треснуло зеркало... лавина изломов-трещин стремительно стала расширяться... миг... и зеркало обрушилось и раздробило на бесчисленные осколки лик человеческий... в раме зеркала зияла черная дыра... там антимир... там нет отражения... нет красок, голосов, сострадания, небесной мозаики земной жизни...там лед, ужас, тьма... там античеловек. И мы, обычные люди, его потенциальные жертвы, его пища, его триумф. О, хрупкая жизнь – зеркало души! Расколется, рухнет душа и жизнь вместе с ней теряет смысл.

Туман чернильный-мерзкий-мерзлый в голове людоеда, становился все плотнее, но самым парадоксальным образом в житейских обстоятельствах он думал так ясно, а логика его действий была столь безупречной, что это могло поставить в тупик даже изошренный ум аналитика-психиатра и обмануть его профессионализм, навыки и чутье (что впрочем и произошло впоследствии). Вместе с тем Бастард, исподволь, бессознательно культивировал в себе преступную тягу к определенному типу девушек-пухлянок, походивших на Камиллу-глазоедку и вскоре это чувство (если такое можно назвать чувством) стало таким густым и сильным, что доводило его до гормонального стресса за доли секунд, до спазм в паху и молниеносных судорог в середине крестца. Точно током било и искрило в крови.

Через год после штрафбата и «первой рыжухи-пухлянки», оставленной им при дороге, в лесочке, в овражке без ягодиц-курдючка, Бастард получил письмо из дома, из селения «длинных деревьев», отбрасывающих еще более длинные тени на закате. Мать отписала ему, что дочка дяди-мясоеда по-осени выходит замуж, вернее, упомянула это среди других вестей, где была и эта весточка о смерти отца-отчима, покинувшего сей мир без всякой надежды, хотя бы на минуту трезвого покаяния. Известие о смерти отца-отчима-алкаша обрадовало Бастарда, так как он не мог забыть одной мерзости от которой его тошнило до сих пор. Однажды, ночью (ему было лет четырнадцать) он проснулся от смрада перегара над ухом, невнятного бормотания, и от холодной потной руки шарившей по его голой заднице, куда пьяный «отец-отчим-извращенец» пытался засунуть свой сизый набухший отросток. Он рванулся, что было сил, дико вскрикнул, выскочил из мерзких объятий и ударил «отца» по голове деревянной табуреткой, которая обычно стояла у изголовья. Мерзопакостник-отец сник и тут же захрапел-заснул прямо с приспущенными трусами. Бастард побежал к матери в «спальню», но и она лежала там пьяная вдребезги и...голая... и нечто (сизое мохнатое меж раскинутыми ногами) смотрело на него, словно прищуренный подбитый глаз. Виногато-бесстыдно-ужасно. Бастард выбежал во двор и всю ночь провел в сарае, на сеннике, дрожа от отвращения и

дикого гнева. С той поры он выплюнул «отца и мать родную» из сердца, как сгусток рвоты и гноя, окончательно заблудившись в чаще неверия в добрую природу мужчины и женщины, обманувших его ожидания-упования в который раз. Он проклял их и с той поры безысходно замкнулся в себе, закрыв все выходы наружу. В нем стала расти-множиться некая плесень, как на том памятном мельничьем колесе, которое теперь, глухо скрипнув, вновь стало медленно-больно поворачиваться в нем, вытягивая жилы. Оно, колесо, мололо в нем красную муку мести и ненависти к людям. Особенно, к Камилле-ухажерке-глазоедке-печеньгрызке и мозгоедке, слезка за которой стала его единственной тайной и пагубной страстью. И вот теперь, он узнает из письма материнского, что она собирается выйти замуж, стать чьей-то женой и с ней кто-то будет делать мерзкое действие, которое «отец» совершал с «матерью» и хотел сделать с ним... Нет... Камилка-глазожорка принадлежит только ему. И он знал теперь какой будет его месть, что росла в нем все эти годы. Бесформенная. Безымянная. И эта, уже обретшая форму, месть взяла над ним такую непомерную власть, что только свершившись эта месть могла вернуть ему свободу. Он хотел освободиться!... Бастард, в тот же день, взял расчет в порту Владивостока, (где работал грузчиком по найму) и вылетел наутро в Алма-Ату, через Иркутск. Весь перелет, с пересадкой Бастард думал только об «одном» и полет его извращенного воображения был быстрее летящего самолета и он, уже несколько раз совершал мысленную посадку в «селении длинных деревьев» у дома Камиллы-пухлянки-глазожорки...и вскипала в нем та темная сила-страсть-наваждение-мания. Снова туман вязкий-влажный-густой вступил в голову...охота... хищная... камышового человека на человека травы...Он летел в самолете, но... мысленно шел за ней...

...крался под фосфорными-невесомыми-недвижными ветвями фантазийного древа из фантастической чащи...след Ее взял сразу...ни одного из ферментов Ее запаха Он не забыл... в ноздрях цекотало от возбуждения и обилия запаха...Она была еще далеко и недоступна глазам, но Ее контуры парили в воздухе и Он проходил их насквозь, словно коридор был в чаще...контур-

ный-пахучий-знобящий...Он знал, что случится в конце коридора-тропы-следа-запаха...

Бастард мысленно тренировался в салоне самолета, восстанавливая в себе инстинкты-чутье-навыки многолетней слежки. Мозг его рисовал «ландшафт» преследования. Ее привычные маршруты и, особо, те места за селением «длинных деревьев», где Она любила уединяться со своими девичьими грезами...

...дистанцию надо было соблюдать...это главное в охоте... вот, кажется, Она остановилась... и Он замер, мгновенно обратясь в куст-камень-ствол дерева... замер... за... мер... мера... межа... у меры мертвенности... мерно... умер...смерть смердит...месть смердов-смертников...шевелились только ноздри, ловя запах Ее...испуг ли обычный или чует что-то Она?...не забывай, охотник, тот, за кем долго охотятся начинает это чувствовать седьмым жертвенным чувством...есть такая связь на самом тонком-темном уровне...вот показалось, что обернулась она, услышав шорох палой-паленой листвы...или это дуновение ветра?... шорох листьев-воспоминаний под ногами или шелест листьев-чувств на ветру?... это различать надо, коли хищник ты возвратный из человека травы в зверя камышей... пусть пока охота мысленная в голове, трен воображения, но все правила надо соблюдать строго...встряхнуться надобно изнутри, верхний слой обычного обывательского поведения надо снять, оснастку инстинктов сменить, восстановить гены хищные забытые-древние-дремные...

Самолет летел, дрожа корпусом, как и он сам, всем телом, пассажиры спали, но в Бастарде гудело свое напряжение в сто тысяч вольт. Это было вожделение- ожидание предвкушение истинной реальной охоты ...за Нею...

Об этом надо непрестанно думать. Поток настоящего верхнего ветра не изменишь. Как курс самолета. Сел, значит летишь. Уже не сойти. Люки закрыты. Все. Это, как в поезд сел или в вагон метро. Двери захлопнулись, рельсы дрогнули, колеса тронулись. Разгон. А дальше уже пойдет инерция неостановимого движения в замкнутом пространстве. Это тебе не пустые мысли, которые легко могут передвигаться туда и обратно. Все. Не вы-

скочить. (если под откос или авария в воздухе, моторы отказали, к примеру). То все полетят, все разом, вниз. Никакого различия, кто умнее, кто чище, а кто тварь мерзкая-грязная. Все равно... А теперь сам тварь-творец мерзости, жди остановки. Доедь-долети до заветного Места. Если выбрал цель-жертву и свободен идти за ней, если ты вне цивилизации и вне вагонов, вне самолета, вне мира людского, то не можешь ты остановиться, ибо должен настичь жертву в конкретном Месте, вскрыть артерию сонную, нежную и напиться всласть сукровицей жизни. А пока летим-тренируемся-возвращаемся к себе самому Истинному.

В селение «длинных деревьев» людоед не пошел, а затаился в ближних холмах. Он начал охоту. Уже на второй день наблюдений, по многим, едва ощутимым признакам, по запаху и иным, понятным только хищному зверю приметам-звукам-энергетическим импульсам, людоед-охотник знал, что Она здесь, и к вечеру выйдет к холмам. Недаром он столько лет следил за ней и даже в отсутствии своем, мысленно, в воображении своем не переставал идти по Ее следу...

...вышла... идет... заходящее солнце словно тянет Ее к холму, за которым Он... заломило в затылке... потянуло нутряным сквозняком... все происходит точь-в-точь, как Ему представлялось... Он заметил уже то Место, где все случится... там вились мошки... прозрачным роем, видимым только Ему... Она идет мелко, будто чувствует что-то... но идет... Место то зазывчиво... придет... Он знал и раньше, что Она любила полежать под ореховой густой кроной, обнажась и мечтая... о чем?... это уже не важно... вот она уже почти рядом... расцвела пухлянка-ухожорка... прет плоть из нее... скоро треснет... струится по плечам поток волос... линия шеи акварельно чиста... поволока в глазах, как у телки течной... наивна по-прежнему... губы чуть шевелятся, будто жуют что-то... досмаковывают... щечки-абрикосы медовые, но сама пахнет кислым молоком... а грудь?... в них сок пряно-прельный белый... снять кожу тонкую... под ней плотница-мякоть виноградная... вокруг нее вьется тонкое марево тельного цвета, как прозрачное платье... под дерево встала... зевнула... сняла платье из ситца тонкого... постелила... и...

Он ударил Ее резко, ребром ладони, в четвертый от затылка позвонок... обмякла, осела, легла... на шее артерия сонно дышала... Он надрезал и стал пить... дрожь охватила ее мелкая, смертная, глаза распахнуты небу... Он стал смотреть в них пристально...

...хотел увидеть, как душа исходит... ничего не увидел... и Она не видела Его... смотрела далеко... замерла, вдруг, и что-то выдохнули-шепнули губы Ее... те самые, что вкушали свежую печень агнца Агника...все!...свершилось... но отчего пустота такая и холод внутри... на тело Ее не глядел...Он знал его... оно было отвратно Ему... одного хотелось Ему... то, на что был давно запрограммирован самим собой... голова, уши, глаза, язык и печень...не помнил, как сделал... это уже было столь давним прошлым, что к настоящему моменту не имело никакого отношения... затем Он ушел-растворился... а Оно осталось... безголовое-безобразное-безымянное... рой мошек кружил над тем, что осталось... густеющая кровь, утекала в траву, стлыла на бедре слизистая молока... фья, что изошла из Него толчками... поллюция мести мерзкая... мездра овечья-человечья...

Когда несчастную нашли на следующий день, селение «длинных деревьев» охватил ужас, а слухи о людоеде поползли далеко, много дальше длинных вечерних теней тех деревьев, что дали имя этому селению у гор.

Глава 12

В один из беспросветных муторных дней, с утра зарядил до противного мелкий дождь-пыль водяная и небо затянула ровная серая пленка. Звуки-шумы просели-растеклись словно. Гевра проснулся от смутной тревоги, хотя все было обычно-обыденно: Балерина хлопотала на кухне и что-то, чуть слышно, напевала. По радио, как раз, стали передавать важное сообщение, что вводится национальная денежная единица – тенге, что каждый может в такие-то дни, в сберкассах, обменять сто тысяч!.. деревянных рублей, кажется, на 200 тенге и с этого начинать жить

совершенно суверенной свободной жизнью. В начале подумалось: а где их взять-то, 100 тысяч?.. но потом этот мелкий дождь – зануда методично рассеял могучий смысл этого правительственного сообщения, раздробил его в пыль, в иллюзию и продолжал сеять тоску, разжижать звуки и, прямо-таки, чудесным образом, уравновесил реальность с метафизикой души и стало думаться, хоть и монотонно-мелко, но ровно. Показалось даже, мимолетно, что по краю неба пролетают странные птицы, вроде планеров, чертя по серому пергаменту дождя неясные линии, которые в пересечениях образовывали знаки-контуры какой-то футуристической письменности-гравюры. Водяная пыль тут же поглощала этих птиц, несущих, видимо, некую весть, чтобы предупредить растерянных людей, намеками – реянием в дожде, к событиям явно неординарного внебытийного порядка. И всё это – смутно-исчезающе-неясно. На одном из этих планеров-птиц, пролетавших совсем близко от него, привиделось Гевре почти бесплотное существо, вроде лазоревого пятнышка акварели на фоне беспросветной сероты. Лазоревая акварель была неожиданно-радостна-радужна и, словно живое существо, помахало вроде бы даже ему ручкой. Откуда-то, бессознательно, вдруг нашлось даже определение – имя этому явлению. Лазоревый Ангел! Хоть и быстро все это произошло и остались сомнения в реальности явления, но Лазоревый Ангел не только развеял тоску этого дня (вскорости дождь прекратился), но стал он являться ему среди непроходимых мангровых зарослей повседневно и будто шептал-лепетал что-то тихое-благое, или просто молча вился рядом, где-то за краешком уха. Легкий, улыбчивый Ангел Лазоревый! И вот с ним-то и стал Гевра мысленно беседовать о разном, совсем далеком от обычного...

... Слепо - глухо - немо - рожденный заворочался в постели и проснулся. Но об этом знал только он, тем более, что был еще ребенком. Месяцев 10-11-ти от роду. Этот маленький невинный монстр острее оцущал мир, когда еще эмбрионом ворочался в утробе матери своей несчастной, ибо чувствовал ее чувствами и, возможно, даже смутно видел ее глазами и лепетал ее устами, но вот он родился, связь прервалась и он попал в мир в

тысячу раз более отчужденный и огражденный от него, чем в период пребывания в утробе. Он стал воплощенным несчастьем: человечье чадо в барокамере своего тела. Физически или биологически он был совершенно здоров, если, конечно, мысленно исключить такие важные, если не сказать, ключевые функции нормального ребенка, как зрение, слух, речь. Осязание и потребность есть - вот все, пожалуй, что досталось ему от матери-природы (здесь эти два понятия уже точно сливаются в одно, но ужасное слово-мачеха). И еще он мог ощущать вибрацию. И все. Можно ли развиться чему-то человеческому в нем, разуму, прежде всего, при таких исключительных обстоятельствах? И вот он проснулся. Когда при матери несчастной у груди находился слепо-глухим-немым котенком, то еще могла хоть она, мать, интуитивно сердцем понимать, что он проснулся, потому как трясся, чуть пописал, чуть покакал и за грудь. Сосал-причмокивал и, казалось, был внешне, как все младенцы. И определилось все не сразу, а месяца так через два-три. Даже плачет-то, не как все. Мычит. И больше никаких реакций. Мать хоть и не имела особого образования, но интуитивно поняла. Что-то тут не то. И не ребенок-младенец обычный, а просто живая плоть. В город его большой повезли, в клинику. По обследовании ей так и говорят: - Бывают такие случаи. Один на 10 миллионов. А по какой причине, не знаем. Вы-то здоровы, мамаша, и другой ваш ребенок нормальный, а этот вот такой уродился. Про горе прозревшей матери и иных близких и говорить нечего. Грех так думать, но лучше б мертвым родился или на день второй-третий умер. Но он жив. И здоров. Человек в идеальной изоляции от физического мира, не способный контактировать с ним и с людьми, кроме сигналов: тепло-холодно. И потребности первойшей - есть, кушать т.е. ...

Это Гевра ни с того, ни с сего, вдруг, да стал вслух рассуждать, однажды, под вечер.

- Ты, что, Гевра, несешь такое? Я о таком первый раз слышу. Жуть какая-то, перестань, милый - заговорила заполошно Балерина и смотрит так дивно - удивленно на Гевру. Ну, никак не ожидала.

– А? Что? Прости. Я не хотел, так вышло. Сам не знаю, почему я об этом. Все это от теленовостей, видать. Давай просто музыку поставим, или пойдем, прогуляемся.

И замолчал Гевра, и приласкала его Балерина, и гулять они вышли в теплую весеннюю ночь с запахом сирени... И вот так, с этого его неосторожного умничанья вслух, стали они микрон за микроном, отчуждаться друг от друга. Бессознательно. И даже внешне еще более сближаясь, и теснее - ласковой любя-касясь друг друга и днем, и в ночи, но все же отдалялись они, будто что пробежало - прочудилось меж ними. Не ребенок ли - Ирис их, не мечтанье ли тайное каждого в каждом, так себя проявило неожиданно. Но...

Думание о слепо-глухо-немом малыше, жившем в тюрьме собственного тела, почему-то не отпускало Гевру, особенно, когда выпадали минуты безделья в магазине, вокруг которого постоянно образовывались маленькие энерго-вихри, в той или иной мере повторяющие процессы в обществе. Сцепится, к примеру, один пенсионер с другим, более продвинутым, и первый начинает костить нынешнюю власть за арест вкладов в сбербанках, за бардак, за Афган, за позор Чечни и прямо обвиняет «горбатого с отметиной», что он предал страну и его надо к стенке поставить, как при Сталине. А другой, которого тошнит от Сталина, поначалу внушает ему, что это, дескать, синусоида общественного развития, а дышать стало вольнее и веселее и народ возвращает себе исконные, так сказать, исторические права. Тут обязательно встречается третий, дальше бабка, плюс тетка и... образуется точный скол бурных политбаталий, но на уровне аргументов и житейской логики и обязательно, точных нравственных оценок. Но обиженными остаются все: и правые, и левые и те, что сбоку, и только возглас продавца о завозе хлеба - мяса прекращает спор.

... былая элита «вертикалов» упала ниже второго уровня и в поле лопухов стала именоваться лохами, создав целую индустрию хохота... прежнее соцменьшество «горизонталов» поднялось, укрупнилось, и стало вершиниться, сместив «вертикалов» уходящей натуры... с ними теперь считаются... деньги стали хлебом насущным, хоть и несъедобным... голодные на них ненасытны и пекут свой хлеб впрок...

И такая вот жизнь разве достойна человека, или вот этих усталых, пожилых и трудно поживших людей? А то, что несут политики с экрана по сравнению с этими вихорьками жизни, чисто устная беллетристика, если не выверенный цинизм, или штука такая известная с гандоном, готовая к насилию. Но самому понять основу-сердцевину происходящего здесь и вдалеке, все-таки, надо было. Вот возьмем, хотя бы того же несчастного слепо-глухо-немо рожденного. Вероятно, если его оставить в таком состоянии и просто кормить, что из него получится? Кусок мяса без мозгов, чувств?.. Даже страшно подумать. А нечто вроде души исконной бьется-рвется-стонет-хочет выйти наружу из под оболочки-коккона-барокамеры, а не может. Заперта странной причудой природы. Ведь очевидно, что без контакта-общения с другим человеком не может этот младенец пройти за год гигантский путь до улыбки осмысленной, узнавания родных, крохотных образов красоты и обретения речи, смысла слов, наконец. Но младенец этот так и будет жить в виде плоти слепо-глухо-немого существа, вроде детеныша крота, замурованного в норе своей. Ужас и кошмар. Однако, говорят, что и к таким детям-эмбрионам находят добрые лекари-волшебники лазейку для контакта, через осязание. Гладят, по-особому по руке, по лицу, безмолвно объясняя, дескать: не волнуйся, малыш, я тут, вижу проснулся, сейчас помоемся, потом покушаем, ты хороший малыш, мы тебя любим, не бросим одного, не плачь, сейчас на животик перевернем, музыку включим, а колонки прямо рядом поставим, слышишь? Вибрирует. Это Гайдн, он у нас с тобой после завтрака идет, после обеда будет Моцарт и ты улыбаться станешь, понял меня? Ну-ка пожми пальчик, хороший мой, а теперь я тебе по лобик уведу, вот так, это значит - ты умный...

И что поразительно! Ведь находят контакт, душа у бедняги пробуждается, он улыбается и слушает даже, будто после тех или иных прикосновений, словно понимает что-то, и руки тянет прося: еще хочу. И мысль, наверное, в этот момент обретает какую-то смутную форму и с другой связывается мыслью, а? А мы, здоровые, нормальные люди контакта и понимания найти не можем. Это как, по-вашему? Мы же не слепо-глухие-немые живые мумии?

Не переставала мучить Гевру и та медленно-незаметно растущая отчужденность от Балерины, и ощущение это тоже находилось больше в плоскости предчувствия - беспокойства что ли. Балерина стала чуть больше молчать-задумываться и в ее природном простодушии и той открытости, которую она могла себе позволить только с ним, нет-нет, да и появлялись иные черточки, даже в обычных бытовых движениях (она и дома, все-таки оставалась артисткой и могла одним движением тела, ракурсом, полупозой, жестом обозначить то или иное свое настроение, когда по женской своей тактичности и чувствительному уму избегала лишних слов в споре или в обсуждении житейских вопросов). И восторгу-умилению Гевры не было предела, так изумительно-изумрудна могла она быть в любой час и время дня, что-то напевая в себе или наигрывая на пианино, то шепотом беседуя со своими феерическими рыбками на языке непрерывного - неостановимого движения. И вот в этом почти неземном блаженстве бытования рядом с ней стали повисать в воздухе микро-паузы, незавершенные движения-жесты и в их неуловимости - необъяснимости и состояла вся мука душевная для Гевры. Он знал, что обязан ей спасением своим, возвращением к мигам «вчера-сейчас-завтра» и новым возрожденным бесстрашием жить и искать в себе то потаенное, но еще не явленное в яркой бесспорной форме-деянии. И хотя он никогда не говорил ей вслух об этом, но ему было достаточно своего понимания ее спасительной роли. Кроме того (допускал Гевра), видимо, причиной едва заметного дистанцирования являлась и привычка каждого (до их нынешней жизни вместе) находиться подолгу в одиночестве, в молчании, в своих печально-смутных состояниях-ожиданиях-воспоминаниях-печалях. И вот теперь снова понадобилась необходимость уединения и краткого возврата к прежнему образу-ритму суверенно-личной жизни. Может быть, и все же?.. И о жизни вообще, необходимость была думать, искать свое объяснение происходящему разлому и определить отношение к неотменным вещам: доброе – злое, свое – чужое, верное - несправедливое, а это делается не всегда совместно, даже с любимым человеком. И для него и для Балерины это оставалось принципом, неким обязательным

правилом: сначала решить для себя, а потом судить-выбирать со-обща позицию - линию жизни...

В режиме «микро», в локальных микрорайонах частного бытия живется вроде бы неплохо. Тут срабатывает система малых человеческих радостей, как дом, уют, семья, работа, размеренный ритм жизни, чувство постоянства (если, конечно, никто из близких раком не заболит вдруг, или СПИДом, или в аварию не попадет). Но и это, как ни печально, поправимо. А вот в режиме «макро», т.е. при дистанционном взгляде на жизнь планеты, в целом, то закон «уютности» не срабатывает. Ощущение такое, что все на волоске висит и совсем не подчиняется правилам высокого порядка вещей. Конечно, по науке можно все просчитать и утверждать, что количество минусов равно количеству плюсов, а значит: есть точка равновесия или, скажем, стабильности. Для материальных вещей это, может-быть, и действует, но в мире человеческом, включая сюда социо, культуру, религию, предрас-судки, политику и «нарывы» в виде «Израиль - Палестина», а теперь и «Косово в Сербии», и занозу «США в Ираке», и шило терроризма в заднице почти каждой страны мира, то сильно за-сомневаешься.

А ему, прежде всего, надо было оградить - сберечь свою Ба-лерину, ее неисповедимую суть, которую он расценивал, как дар высших провиденческих сил, и не только ему, как мужу, прина-длежит она, и не только отношениями мужчина - женщина изме-ряется когда-нибудь их чувства, а чем то большим, и это понима-ние нельзя ему терять ни при каких обстоятельствах. Между тем, жизнь давала все новые сюжеты к размышлению. Наводнили город цыгане пестрые, со злыми глазами. Совсем не те цыгане Мелькиадеса, которые обманывая, изумляли все же чем-то жи-телей Макондо, их пришествие становилось праздником в том легендарном захолустьи-быте «ста лет одиночества», свежие мысли и фантазии рассыпали они вокруг, как мишуру вроде. А эти нынешние, совсем другие, и нет в них волшебства и какой-то «чудной инакости» от привычного. Эти цыгане другие, не доб-рые. Злые попрошайки. А когда видишь, что они и грудных детей не жалеют, сажая их на тротуары, в мороз и в сырость, то понево-ле засомневаешься: а люди ли они?

Иногда, занимаясь всякой малой работой на подхвате и скучая по Балерине, Гевра с содроганием думал: - А что если она уехала на каком-то поезде и..? В ожидании инверсии вполне обычного хода вещей, что только не втемяшится в темя, куда невозможно вместить сонм сомнений, рой безмолвный мыслей-пчел и чувств-субстанций, мангровые леса-джунгли дикого спонтанного смешенья гормонов в крови, где лишь колдователь-чародей сможет придать всей этой фантазмагории некоторое подобие порядка?..

... сейчас, в 7.00 сего дня ты, видимо, только проснулась в вагоне, в грохочущем аде движения, противоречащем божественной мечте «женщины-пра» о тихой гармонии жизни... поезд меня разлучил с тобой и везет мое одиночество, как контрабандный неоплаченный груз... поезд приехал на станцию Луговую, особую оборотную станцию (там поезда начинают двигаться вспять... всяк, кто первый раз там проезжает, то пугается: - Обратно что ль едем? - Ему отвечают: - Не бойся, приедешь по адресу).

... в этот миг, в 8.00 + 15 минут, ты уверенно едешь уже в девятом дне сентября, а я еще тоскую в восьмом, во вчера... странно все на той оборотной станции... ты будто снова ко мне возвращаешься, на на деле все дальше и дальше от меня удаляешься... необратимы маршруты таких поездов, подчиненных железной логике рельс... тра-та-та... это пульс мой на каждом стыке прыгает вверх, ведь сердце мое укатило с тобой...

... о, поезд-гусеница стальная - зеленая, не спеши, хоть один перегон поползи, как сестренка твоя - улитка по листу, по природе своей изначальной... увидеть все хочу снова, на миг... я жук-мужчина, лечу, догоню и прилипну к вагонному, в шесть миллиметров стеклу и стану все лицезреть и в глаза ее, хранящие ночь, погружусь, так и поеду вместе с Нею, пусть не видит меня, но верю оцутит мою душу рядом... пусть я за стеклом, но я еду с Нею вместе на станцию, где ей должно сходить и встречу ее... из сердца разве может уехать она?..

Глава 13

Эти длинные веревистые мысли, тугие - нерасплетаемые (они появились у него после погребения жителей родного селения, где жили семьи париев-эта-могильщиков), не давали Кену покоя весь путь на север к холодным холмам окраины большого острова Хонсю, а более всего, когда эти мысли-веревки завязывались в немыслимо - твердые узлы и давили на череп изнутри, вызывая неуходящую боль, отчего глаза его, точнее белки, наплывали на черные круги зрачков так, что испуганным спутникам его казалось, что он ослеп, ибо глаза его становились огромными немymi белками, как у совы, закатывающей глаза в полдень. Куда он их вел, не ведал никто, да и он сам не знал конечной цели пути, кроме того, что ему и им тоже надо было уйти, как можно дальше, от их селения-кладбища, где лишились смысла своего существования могильные черви, не завершившие сакральное дело освобождения костей умерших от плоти, дабы высвободить дух и дать ему силу для последующей инкарнации. А чтобы стать чем-то или кем-то другим, была необходима огромная сила-энергия, сопоставимая, разве что, с той, которой порождается человек из семени. И пока он вел свой маленький отряд с сыном и оставшимися мужчинами из «дза-эта-могильщиков» в нем самом шла работа сжимания-накопления некоей истины-прозрения, для которой он и пошел в этот бесповоротный путь. И если у самураев, которых он теперь ненавидел, их путь назывался «бусидо», то его путь можно было именовать «путем живого мертвеца». Вот и шел Кен, и вел за собой товарищей-париев, чтобы найти-обнаружить-понять цель побега-самоизгнания, или увидеть знак указующий и остановиться, наконец, где-нибудь в месте недоступном для погони, изгнать из себя страх и недоумение такими изменениями порядка вещей и поворотом судьбы, и начать делать что-либо спасительное-важное, не сойти с пути разума. А для этого место найти надобно. Утаенное и безопасное, удаленное от сожженного селения.

Отряд париев-эта медленно и упорно двигался на север, предпочитая рассветные часы и послеполуденные-предвечерние

с тем, чтобы не попасться на глаза дозорных всадников-самураев, рыскавших в поисках оставшихся врагов нового сёгуна в Камакуре или отпавших беженцев-крестьян, которых было достаточно в эти смутные времена вражды больших феодальных домов. Приходилось обходить и казенные земли императорского дома, и «именные поля», как побежденной стороны так и стороны победителей дома Минамото, и большие участки поднимаемой нови. Ничьей, а значит – безопасной, земли уже практически не было на Хонсю кроме, может быть, монастырских владений. Только на самом дальнем севере острова могло найтись достаточно безопасное место, чтобы осесть на время, остановиться. Да и мальчик трех лет на руках беспокоил, требовал ухода. Если им, взрослым, приходилось несладко, то каково было этому невинному созданию вмиг ставшему сиротой.? И без того приходилось удивляться его немладенческому терпению и стойкости, будто мальчик знал, что ему уготована такая судьба и надо ее принять, хоть ты и мал и ничего еще не знаешь о предопределении и обреченности изменить свою карму. Или, возможно, образ-боль-воспоминание об утерянной матери помогали ему.

Кружной длинный путь по лесам, диким горам и пустынным морским побережьям утомлял, но вместе с тем укреплял дух и давал возможность неспешно думать. Кроме того, сама природа тех диких мест, где они шли, имела некую возвышающую и целительную силу. Постепенно у путников пробуждались древние знания, и вскоре они заново освоили навыки охоты, ловления рыб, собиранья кореньев и съедобных трав и плодов, личинок и насекомых. Казалось, что эти парии-могильщики шли к некоей удвоенной неизвестности: одно неизвестное-неведомое ожидало их впереди, другое – из древних времен - нагоняло их в силу обстоятельств: они будто заново постигали то, что было ведомо и знакомо их предкам, освоившим этот остров и шедшим в свое время к своему неведомому будущему, которое для них, париев, было неизвестным прошлым-былым или вот таким печальным настоящим настоящего.

Так что, это являлось дорогой и вперед и вспять - одновременно, но главным обозначением происходящего с ними явля-

лась неизвестность. И казалось: утеря привычного образа жизни, дела своего и навыков, а более всего – местообитания своего, к которому человек привязан от рождения, как к чему-то незыблемому-вечному и есть самое страшное в жизни, т.е. утеря себя, смысла жить и веры в правильность хода событий, даже если им управляет само провидение.

В смятении мыслей и души, потрясенной тем, что случилось с его близкими и семьями соседей-товарищей из сословия париев-изгоев-эта-могильщиков, Кен мог лишь догадываться о корнях - причинах такого кровавого поворота судьбы, ибо не видел греха в своем занятии-ремесле хоронить, коли это делалось издавна, коли есть на этой земле (ради той же земли, на которой надо сеять рис) необходимость воевать-убивать, а не естественно умирать, и для того была создана императорами и князьями-дайме свирепая каста самураев-воинов, имеющих свой кодекс, свою честь и свой путь служения своему господину. Но господин всего сущего не есть ли Будда благостный и служение ему не есть ли лучший путь для мира вокруг и покоя в себе? Сокрушение в сердце Кена было таково, что он подумал даже о самоубиении-сэппоку, но его удержало одно: он ни в чем теперь не хотел походить на самураев и отрекся от всего, чему они служили и посвятили жизнь, коли и в сердце своем держали меч, как в ножнах. Ему надлежало найти свой путь и оградить от несчастий своих спутников и сына, который сейчас беспечно играет с ежиком, невесть как очутившемся здесь. Уколовшись пару раз, малыш насупил брови, но не заплакал. Он сел думать свою детскую мысль: что встретилось ему и так больно укололо? Пока малыш решал свою малую загадку, ежик, воспользовавшись длительной передышкой, развернулся и побежал в густую траву. Малыш улыбнулся и Кен подумал, что в отличие от него, его сын, пожалуй, нашел ответ на свой наивный вопрос к неизвестному: наблюдай, не тронь и дай всякому существу идти своим путем. Снявшись с короткого привала люди-изгои пошли дальше, все больше усваивая искусство осторожности, терпения, отваги и умения выжить.

В пути вспоминалось Кену... Их деревня, на двадцать дворов, стояла обособленно. Пустынное место это было не очень пригодно для сева (много оврагов, камни и кустарник), но ма-

ленькие поля все же имелись (на несколько коку - мер риса), как раз для семьи в 5-6 человек. Семьям из дза-могильщиков разрешалось иметь кое-какую мелкую живность. Сеяли еще просо и гречиху. Если учесть, что по занятию своему низкому они входили в число париев-эта, т.е. неприкасаемых, то им не приходилось отдавать налог продуктами или изделиями (кто, скажите, станет брать у них?). Однако и тронуть их никто из других смертных не смел, едва видели особый знак на одежде и синие круги с наружной стороны рук, на запястье, на виду (грубые татуировки, но обычные люди думали, что это - родовая мета). Как они стали париями, никто не мог сказать точно, кроме предания, что когда-то они были привезены с севера и принадлежали к диким племенам-айнам. А среди людей в округе, о них париях-отверженных-эта ходили слухи один страшней другого, так что поневоле станешь изгоем. Делом их касты было погребение погибших-убитых в войне, а она в ту пору никогда не прекращалась, как и бесконечный передел пахотных земель под рис и захват промыслов. Хоронили также умерших от болезней и мора (это тоже было делом нередким), и ничем иным заниматься не разрешалось. Иногда в их деревню ссылали преступников, но те пожив здесь и пообвыкнув считали, что здесь много больше воли, нет бесконечных поборов, можно на досуге заниматься, чем хочешь, да и девушки, пожалуй, покрасивей, чем там, в другом мире. Кроме того, их не обделяли вниманием и монахи соседних монастырей и просто бродячие проповедники. Часто читали сутры просветления и терпения, а также те, что относились к их – могильщиков – скорбному занятию, ведь после погребения обязательно надо было прочесть хоть несколько кратких сутр. Юношей еще, Кен любил посещения служб в маленькой часовне на холме, стоявшей на расстоянии трех часов ходу от их деревни. Приходили парии туда в сумерках, когда обычных людей уже не могло быть и слушали длинные сутры и истории о жизни-просветлении Будды. Его, Кена, из прочих выделил настоятель-хранитель часовни, построенной над останками древнего святого, одного из первых проповедников учения Будды, убитого язычниками. Настоятель, несмотря на его сан, был еще молод и смешон, потому что ходил как-то вприпрыжку и всег-

да улыбался, как ребенок. Благодаря ему Кен узнал много больше сутр, чем другие парии-эта, а настоятель часто говорил, что перед Буддой все равны, включая и их, эта – изгоев общества. Особенно ему запомнился рассказ о некоем монахе-отшельнике, который посвятил жизнь умерщвлению плоти и воспитанию чистого духа - сатори, чтобы отойти к Будде и предстать перед ним в теле своем, не тронутым тленом. И достиг этого, и тем помог учению тысяч воплощений укрепиться на этих островах. Говорил он также, что паломники и ныне могут видеть святого подвижника, сидящего в позе «дза-дзэн», в одеждах монашеских, словно живой, хотя и пробыл сто лет в земляной яме, куда был помещен, по завещанию - пожеланию своему, еще живым. А пещера с мумией святого находится в местности Идзу, на восточном побережии большого острова, откуда ближе всего до восходящего солнца. И сила веры святого, добровольно, сотворившего из себя мумию уже более ста лет назад (живой мертвец, по-древнему) была так велика, что Будда принял эту жертву и сохранил его в нетленном виде по нынешнее время.

Об этом думал теперь Кен и смутные мысли о подобном предприятии бродили в нем, не трогая всего сознания. Много мирского бушевало еще в нем: полыхали молнии гнева и жег сердце огонь мести, черный туман безысходности то и дело, среди белого дня, заполнял душу, и человеческая жалость к участи его товарищей по беде и к сыну своему, а более всего – неуходящая любовь к жене Сайко, которая лунно-печально светила ему в ночах отчаяния и делала его слабым и слезливым. Разве можно было забыть тот день, когда сосватали ее ему и пришла она из дальнего селения таких же изгоев-париев-эта (говорили, будто она из покоренного древнего народа «айнов»), и столько она источала света из глаз своих и совершенной оболочки тела, столь прекрасна была Сайко, что не только полюбил, но и поверил Кен тому, что одинаковы люди, и избранные и изгои, перед ликом Будды, коль такую красоту даровали ему – презренному эта-могильщику и стало это сокровище – даяние несметной доброты небесной – украшением его духа и божеством его сердца. О, как может такая любовь, быть осквернена гневом? А ярость за раз-

бой княжий в нем, как лава в вулкане... И Кен знал, что таким не может он предстать перед всевышним и его земным воплощением Сайко!

Так и шли они, ни разу не попав в силки дозорных отрядов, да и в глухих деревнях, куда поневоле приходилось заглядывать из-за малыша, находили понимание и приют. Люди там жили простые, оказывали помощь и, видя жалкое состояние скитальцев, помогали им, утешая тем, что им еще сносно живется, ибо судьба унесенных ветром листьев много лучше участи укорененных навеки деревьев, и их обойдут беды брэнного мира, пока не придет черед предстать пред ликом вечности.

... Рассвет - время росы и исчезающих снов... день беспокоен, но заботы отгоняют тяжелые мысли... если рассада хороша, то есть надежда на урожай... увидел оленей на дальнем лугу, у леса – значит: скоро быть чьей-то свадьбе... сломался зуб бороны - ничего, поставим другой... вол ленив - помани его вкусной травой... вечером трапеза – хоть скудна, но в ней вкус отдохновения... эй, старик, не грусти, твои труды позади, тебеби голову внука... скоро ночь, но и она кончится...

В пути Кена угнетало еще и то, что с каждым днем он говорил все меньше и эта нелюбовь к словам, возникшая со дня битвы и погребения своих росла и росла, как плесень на сырых и мертвых деревьях, сокрушенных ураганом и тяжестью слишком обильных горевыми листьями ветвей собственных, и эта нарастающая в нем нелюбовь к словам, теперь утерявшими прежде ясный смысл, была похожа на сухой зной, который стягивал лианы вокруг стволов и выжимал-пил-высасывал из когда-то зеленых сильных деревьев последние капли влаги, пока не слышался тихий треск раздавленной сердцевины, и деревья падали обреченно вместе со своими же лианами-убийцами-удавцами. Из полосы влажных лесов он вышел уже молчуном, почти немым, и только взглядом лихорадочных, ставших блеклыми, глаз и лишь сухими скупыми фразами продолжал общаться со спутниками. Они терпели его сумрачность, ибо и их самих томила болезнь утери смысла и проблеска хоть – какой-то надежды.

... длинна дорога мысли... в чаще мыслей легко заблудиться... непостижна тайна встреч ума и души... хаос думанья может устранишь лишь душа... усталой душе помогает ум... иди-те-ищите-думайте-страдайте и обретайте...

Глава 14

Во время этого возвратного шествия-похода запрещены были увеселения и пиры, кроме разве что воинских игр-состязаний, чтобы не забывались в войске дисциплина и усердие в упражнениях, ибо искусство убийств-облав-сражений всегда должно быть выше развращающего дух ремесла танцовщиц, музыкантов, паяцев, певцов и разного рода фокусников. Воитель с трудом терпел это кривляющееся несерьезное и пестрое племя, но так велось, что воинов надо веселить-отвлекать от мрачных дум, особенно после битвы-сражения, когда даже у храбрецов, куривших дурманную траву-хаому, мысли давали слабину и хотелось беспечно-вечно лежать рядом с телами погибших товарищей где-нибудь в пустынном логу, и ждать безропотно, пока тебя по кускам не растащут дикие звери и хищные птицы. А там, глядишь и попадешь в небесные чертоги, а душа обретет желанную беспечность и негу легких думаний-фантазий.

И еще. Во время больших привалов, когда задолго до заката, по сигналу, войско-стан приступало к привычным делам расседывания лошадей, амуниция-поклажа стружались в давно оговоренные места в центре «малых» станов-костров, назначались сторожевые караулы и отряды по охране и выпасу лошадей, и прочего скота, Воитель взял себе за правило беседовать с мудрецом голоногим. Поразительно, но мудрец, по большей части молчаливый, довольно скоро выучился их языку и можно было теперь говорить без досадной помехи третьего-стороннего свидетеля. На заранее выбранном гвардейцами месте, вдали от гомона-шума-суеты располагающегося к отдыху воинства-стана, стелили белый войлок для Воителя и серый, поменьше, для муд-

реца. И напитки, и малая еда ставились отдельно в то время, как мудрец, в сопровождении посыльного, а Воитель в паланкине-носилках, в окружении свиты, направлялись с разных сторон к месту беседы. К началу беседы все изгонялись прочь за грань слышимого голоса, но не бдительных глаз.

В последний раз они сидели у озера, там, за перевалом свирепых-длинных ветров, что остался на закатной смертной стороне. Вокруг шумели обильные высокие камыши, пригодные для стрел и плотов, на которые погружается воинский скарб, если переправа через реку предстоит. Поначалу молчали, как всегда. Воитель напиток пенный-кобылорожденный-кислый прихлебывал, а Мудрец, отрешенно смотрел не то вдаль, не то в себя, перебирая в голове слова чужой речи, дабы быть готовым к беседе. Над ними густело вечернее небо-Тенгри, в божественность которого верил Воитель, как и в то, что туда возносятся души воинов и других достойных людей, становясь духами-покровителями еще живущих на земле. Бывало Воитель подолгу заглядывался в небо, в лик Высокого Синего Тенгри и пытался проникнуть в его назначение и думалось ему порой:

– О, Высокий Тенгри, безбрежный, синий! Неужто и меня – Правителя Мира!.. и презренных бродяг принимаешь ты там одинаково? Разве сие справедливо? Достаточно и того, что твои высокие безграничные неохватные владения и заботы небесные много больше, чем мои земные, как и в свой черед, предомной, несравненно малы-ничтожны дела у погонщика ослов. Я завоевал и устроил пол-мира, чтоб все имели место свое: высокие получили высокое-правляющее-показующее-отнимающее, а низкие понимали свое: коленопреклоненное-служащее-низкое. А прочий люд-сброд ничтожный: нищих, убогих, больных - и за людей считать негоже. Их следует убить. Может ли так быть, что родник чистой крови, Верховного Правителя, что бьет из меня, смешался когда-нибудь с грязным болотом рабской крови? Есть кость белая, возвышающая, основа и опора дома моего, и кость черная для подчинения-распространения племени нашего в иных землях, а прочие народы под рукой моей-рабы мои и враги племени-воинству нашему. Я тобой, Тенгри, избран, а прочие

низменны и не должно быть меж нами равенства даже в твоих высоких владениях. Надо и должно то исправить, хотя бы на земле, что я и делал до сей поры, мой синий Отец... А ныне готовлюсь пред тобою предстать, если...

С запада, где наискось от линии горизонта песчаного заката вышло солнце, подул легкий ветерок-блаженец, извлекая из зноязастоя летнего воздуха тонкий настой прохлады, выстоянной на травах, обвеявая слабыми струями и разнося ароматы, пока не становился собственно блаженством тела и сердца. Камыши тихо зашевелились перьево-легкими-бело-пенными венчиками-султанчиками и меж камышами пошел свой тайный говор, который со стороны казался шелестом-пением без слов и мелодии. На миг краткий, будто призрак-знак, среди густого притравья показался-растворился силуэт матерого камышового тигра. Его блеснувшие желтые глаза, казалось, могли поджечь холодным огнем все камышовое сухое поймище озера, но тут же погасли. Тигр был скрытен настолько, что благодаря своей хищной-скрадной-сокрыто-сокровенной природе-повадкам высокого охотника остался незаметным в кругу других охотников-людей, которых не любил. Тигр беззвучно припал в подтравок, растворился-исчез и стал собственно камышом, как истинный призрак-миф. Для охраны он так и остался невидим. Воитель, меж тем, начал неспешно, обращаясь к Мудрецу:

– Правда ли, что твой небожитель – Будда, был принцем царского рода?

– Да.

– И что стало причиной ухода его из отчего дома и отчего он ушел проповедовать среди бедных и больных? Что искал он? Как думаешь?

– Хотел прервать круг злых воплощений. И сердце имел большое и полнил его любовью ко всем, к людям и тварям, без исключения. Путь свой искал. Через себя. И постиг. И ныне в венчике белого лотоса созерцает добро и любовь вокруг себя и в себе.

– И другой был я слышал. Исус. Тоже о равенство нищих и богатых возглашал. Перед богом своим. Распяли его, верно, как разбойника?

– Да, верно. То было более 12-ти воплощений назад. Мог Иус спасись, но знак хотел оставить завет чистоты и помыслов своих. Был еще один. Мухамед. Семь воплощений назад. Книгу священных-дивных вязей оставил, писанную с голоса божьего. Ал-Коран называется. У каждого свой путь истины. Не мне судить. Но все обрели вечное имя и сильны были в вере своей.

– А есть ли у меня свой путь?..

Веяние ветерка будто остановилось и в эту щель меж мгновениями успели проникнуть и зной и лед. Одновременно. Мудрец оставался невозмутим внешне, подобно форме раковины для стороннего взгляда, но тонкая-сверхнежная плоть-субстанция-суть улитки напряглась в нем и ужалась от этого вопроса, вернее, от того, что крылось в нем, если не даст он желаемого ответа. Но то был не страх, а скорее новый виток размышлений. На что он здесь?

С того дня, как Раджа влажной страны (родом из кипчакского племени степных воинов) призвал его к себе и велел пойти в стан узкоглазого свирепого завоевателя из пустынных стран и стать заложником, Мудрец словно остановил в себе течение сокровенных и почти осязаемо-видимых мыслей, которые хотел додумать в окончании дней земных, уйдя от забот... что может быть лучше уединения в высоких горах, где можно заняться очищением плоти и духа в белых полях бестрепетного созерцания и высокой концентрации, дабы простившись с телом земным, прозреть смысл своего нового воплощения?.. На каком витке раковины воплощений ему теперь пребывать?.. Это надо было понять. И он не спешил с ответом грозному Воителю, словно имел на то тайное право. Воитель сверкнул было глазами, но сдержался и дал знак окончания беседы.

Глава 15

... наматываешься нитью на веретено... но вот станок остановили... тишина... теперь думаешь, как бы кто не ухватил конец мой и не стал меня разматывать вспять... и не станешь

тогда тканью в руках мастера и одеждой для человека или сцены... зачем-же тогда было наматываться?! Я нить и нельзя мне прерваться-порваться...

Балерина возвращалась с базара, на который любила иногда ходить даже просто так, делая вид, что приценивается, а для себя высматривая какую-нибудь вещьцу особую, безделушку, а больше присматриваясь к людям, ведь раньше она жила-работала отдельно от них. Они были для нее зрителем, каким-то обобщенным и туманным явлением. Лишь за редким исключением она могла выделить кого-либо из этой массы-толпы. А теперь они были ей интересны, хотя она так и не научилась сходить с людьми, легко говорить с ними. Пожалуй, только апашка-бабуля, у которой она покупала шерсть-пряжу, сумела потихоньку разговорить ее, отчего-то жалея свою красивую покупательницу. Она пристально вглядывалась в глаза Балерины, пытаясь понять причину ее грусти. Старая женщина угадывала, что за этой грустью что-то таится. И вот, однажды, поглаживая ей руку, апашка сказала:

– Айналайын, доченька. Если что, не сердись на меня, старую. Присядь. Одна я осталась тут в городе, может оттого к тебе сердцем потянулась. Знаю, нет у тебя детей и грусть твоя из этого исходит. Послушай. На днях виденье про тебя мне было. Перед рассветом. Сначала цветок стоит-танцует. Потом стебелек в змейку крохотную превращается. Змейка шелковистая-гибкая. Затем змейка эта из травы в реку скользнула и, вдруг, рыбой серебристой стала и поплыла из низинных вод вверх, к горам. Потом в горную речку вплыла и все вверх по течению плывет-скользит-стремится. Не остановить. И вот она, рыбка, доплыла до родника под горой и выскочила из воды яркой синей птичкой, попрыгала на камушке и склюнула одну-единственную ягоду (никому неизвестную), будто специально созревшую для птички той. Лазоревая-алая такая ягодка, словно лучик света в ней. Так вот, думаю, это все про тебя и жизнь твою. Ребенок у тебя будет вскоре. Ты только пряжу не уставай теребить да прясть. Вижу, умелица ты и за спиной у тебя радуга есть, только ее не сразу видно. Но она есть. Ну, иди, родная.

И Балерина, вся вспыхнув вдруг, побежала домой, лисичкой сияющей влетела на свой этаж и когда открывала дверь, услышала телефон. Сняла трубку с легким взволнованным дыханием-предчувствием. И точно. Это был Гевра:

– А, это ты... Как я? Хорошо родной мой. Когда ждать тебя?..

– В воскресенье, вечером. Когда у зверей отдых начинается от людей.

– Хорошо. Не озверей только там без меня. У меня секретик один есть для тебя... Какой? А ты приходи скорей, тогда и расскажу...

И словно груз какой сняло с души. Балерина поняла, что меж ними не размолвка была, как она думала, а очень важная пауза-молчание, когда надо передохнуть и заново себя собрать. Он отдельно, и она отдельно. Но все равно, это с ними вместе происходит. Недаром же у нее панно таким летучим-воздушным-живым получилось. Он вернется и она покажет панно, а о виденье-предсказанье апашкином все же умолчит. Это настолько сокровенно и чудесно, что надо обвыкнуться самой с этой мыслью. Лучше так и вовсе не думать. Только предчувствовать и в это ожидание всю силу свою вложить. И все тогда получится-случится.

Балерина целыми днями корпела-думала над пряжей и училась «ловить картинку», т.е. видеть внутренним зрением невидимое-заветное-незримое. Никакого другого способа она не знала. Спросить не у кого и прочесть о том, как создается «такое» из шерсти негде было. Секреты казахского «батика-панно» остались в далеком прошлом кочевой культуры. На этот раз она выложила воском линии и контуры на грубый холст (сходила в театр и по старым знакомствам взяла у декораторов несколько ненужных обрезков холста – «двунитки», на которой обычно и пишутся театральные задники и декорации), окружила рамочкой деревянной, сделанной меж делом Геврой, и стала выкладывать комочки шерсти – пушистой-цветной-овечьей (красить тоже научилась исподволь, замачивая маленькие кусочки в анилиновых красителях, которые она взяла у декораторов-художников или покупала

на «развалах» у старых корейнок, как ей посоветовали). Посмотрела с сомнением на этот цветной ком шерсти, положила сверху мелкую металлическую сетку, точно по размеру рамочки, и стала пробовать еще один из придуманных наобум способов: запаривать из пулевизатора горячим паром (это ей тоже Гевра смастерил, снисходительно пожимая плечами). Потом отошла и даже стала что-то пришепетовать-колдовать, а когда наутро сняла сеточку, то увидела и поняла, что на этот раз получилось, кажется. Подсохшая пряжа поднялась от воскового трафарета, сохранив все очертания-контуры рисунка и стала чудесным воздушным пейзажем - фантазийной композицией: поверху черное с переходами к темно-лиловому, чуть ниже зеленые и синие вкрапления, потом полоса смешанного цвета – голубое с белым, а справа чистое лазоревое пятно, от которого радиально разбежались розовые-лазоревые лучи... но главное, это необыкновенная воздушность, которую дает только такая тонкая и бережно взбитая пряжа-пух (спасибо тебе, апашечка милая) из овечьей-рунной шерсти, а переходы цвета получились много лучше, чем задумывалось: шерстинки расправившись, сплелись-перемешались на разных уровнях-слоях и создали совсем уже невероятные соцветия тончайшего абриса-патины-паутины, моховой природной консистенции... чудо, да и только! Балерина запела, поставила Мукана Тулебаева (танцы из оперы «Биржан и Сара») и стала произвольно кружиться вокруг этой композиции, в которой ей грезилось свое неостановимое движение – танец полутонов. И мысли стали легки, и теперь с другой совсем нотой радостного нетерпения ждала она прихода Гевры.

На третий день лихорадки по обмену рублей на тенге Гевре стало ясно, что требуемой минимальной суммы «деревянных» все равно не наберется и он прямо затосковал о чем-то очень неконкретном, но тяжелом: о тщете, о смысле своей и другой (вот этого прохожего тоже) жизни и совсем уже высоко жалел свою Балерину за то, что и ей приходится все это так или иначе терпеть-переживать, и хотелось совершить что-нибудь дикое-необузданное, чтобы только этот непонятный-гнойный-эмоциональный нарыв в голове прорвался и освободил его для простых мыслей и дел.

И вот в этот-то момент, когда он шел в сторону дома с пакетиком продуктов по смешанным рублево-тенгевым ценам, около него остановился большой черный, с тонированными стеклами, «Мерседес» (Гевра как раз собирался перейти улицу до светофора и ждал просвета меж проезжавшими машинами). Из джипа-мерса вышел очень солидный, изысканно-строго одетый мужчина в темных очках и окликнул его: - Гевра? Ты ли? Привет... Гевра от неожиданности оглянулся, задержал взгляд на другом молодом человеке в черном, который молча встал у передней двери автомобиля. Все еще не понимая, что окликает его, как раз вот этот самый солидный мужчина. Тот снял очки, двинулся навстречу, и тут только Гевра признал в нем Есению – благодетеля своего. Поздоровавшись - поудивлявшись столь нежданной встрече, после первых дежурных неловких фраз, Есения сказал коротко-строго-властно:

– Я строительную фирму, кроме всего прочего, открыл. Знаешь... те, кто поднялся, стали строить особняки. Дело с дальним окном! А ведь ты у нас, вроде инженер-проектировщик. Вот моя визитка, звони. Я своим скажу. Приезжай, помоги мне там, кое в чем, по делу разобраться. Не обижуй. Ах, да, постой...

Есения сделал какой-то неуловимый, но абсолютно понятный (для молодого человека в черном) жест. Пока они прощались телохранитель принес конверт. Со словами: – Ну пока, старик, не ржавей, своих не обидим, – Есения сел в «Мерседес» и испарился, оставив в руках растерянного Гевры конверт с внушительной пачкой «деревянных» на два-три обмена...

... где же плывешь ты сейчас, корабль мой синепарусный, отчего в гавань свою не спешишь?... как оберечь тебя от штормов и неверных ветров, напитанных миазмами дальних болот - знака гниющей земли?... что делать тебе, терпеливый мой капитан, если даже море стало призраком моря, а вместо берегов одни миражи?... как стать мне, женицине слабой-лилейной-лестковой-стебельной, как стать заменой всех твоих потерь в это полое время недуга-изменения морей и тверди, и искажения природного хода явлений-вещей-мечтаний-упований души?... и ходишь ты теперь, колобродишь-блуждаешь и ищешь прежнее:

исчезнувший остров, к которому нет лоций и карт, как и к новым дням-деяньям-твореньям, где ты смог бы вернуть подлинность морю и твердость земле, ибо обещал мне покой и защиту, и мир, где каждый рассвет и день, и вечер, и ночь будут садом цветов, и сделать то хотел для многих и многих людей, которых ты так сильно-больно-горько жалеешь в эти годы умаления неба и искажения черты горизонта, садовник мой терпеливый-усердный-заботный...

Медленно перебирая и разглядывая пряжу, Балерина пыталась увидеть Гевру, бредущего в этот час по обесцвеченным улицам, опуская глаза перед опускающими глаза людьми, враз потерявшими опору и курс, которым стыдно было за свое нынешнее состояние, за город, от чего-то захлаившийся и обветшавший стенами домов, а ранее гордившийся своими деревьями, некогда принесшими ему славу города, обильного зеленью крон своих и ярких ярких-красных-яблоневых плодов своих-апортов и особым шелестением листьев поутру. На ветру. Казалось, что и город, прежде открытый и беспечный, притаился-притих, словно улететь хотел куда, как птица, почуявшая неведомую опасность и решившая поменять гнездо. Может-быть он, как и горожане его, встревожился странными слухами о «казахском людоеде» (так его прозвали газетчики), каким-то невероятным образом сумевшем уйти из тюремных и психиатрических застенков и обещавшем, будто бы, потрясти мир, подобно Чингис-Хану, чьим потомком он назвался перед следователями и сокамерниками в «психушке» и на зоне. Эти страшные слухи, вкупе с вполне реальными переменами, порождавшими глубинную тревогу и смятение в умах, день за днем меняли дух и лик города так, что он стал медленно трансформироваться, пытаясь приспособиться к новому рваному, как рана, ритму жизни. Город ознобно дрожал, как мышь перед землетрясением, посылая невидимые импульсы паники-бешенства, которые вот-вот могли перерасти в неведомую эпидемию-пандемию и перекинуться на людей, но Балерина древним женским умом-инстинктом знала, что сейчас, как никогда, ей надо остаться спокойной, вызвать-собрать в себе контрэнергию противостояния катаклизмам ради того, чтобы

поддержать свой город и Гевру и оградить их от паники внешнего мира и фантомов, порожденных умирающим старым бытом-сознанием. Ночами, сторожа сон своего мужчины, слушая его бормотания-вскрики, Балерина словно прикасалась к драме его прежней жизни, страдала огромностью его недавнего одиночества и понимала, чего стоило Гевре не сломаться и одолеть свои «овраги сознания», сохранить свое мужское духостояние-достоинство, остаться добрым и терпимым ко всему человеком. Даже его дурацкая привычка держать свой нехитрый скарб-одежду у изголовья кровати, словно он здесь ночует временно, долгое напряженное молчание-думание перед сном, какая-то особая сосредоточенность на тайной и глубокой мысли: все это подсказывало, что он был дарован ей на излете танца-судьбы некими силами, не только для любви и совместного быта, а для чего-то другого высокого, что не определить словами. Но она знала-ведала: только вдвоем, сохраняясь и растворяясь друг в друге, поймают они однажды свой попутный ветер...

Раздался нетерпеливый звонок в дверь. Балерина подумала было – не он, но потом услышала игривое поскребывание в дверь и распахнула ее. В проеме стоял сияющий Гевра с букетом белых роз и с шампанским в другой руке. – У нас праздник. Мы теперь с тобой законные «теньговые» граждане. Вот смотри.

Гевра торжественно протянул ей пачку странных непривычных банкнот: синеньких - желтеньких - зелененьких с бородами старцами – аксакалами -бабаями. Пока он раздевался, Балерина с интересом разглядывала эти казахские деньги-тенге и они разочаровали ее своим дизайном, но она и виду не подала, когда он подошел к ней.

– Ну, как?

– Главное, что мы теперь опять покупатели.

За ужином Гевра вкратце рассказал о встрече с Есеней и о том, что творилось в сберкассах при обмене. И только когда отошли-остыли эти суетливые, хоть и радостные, впечатления, Балерина повела его в гостиную комнату и с лукавинкой сказала:

– А это мой сюрприз - каприз, мой маркиз.

Ничего подобного Гевре не доводилось видеть раньше. Это легкое-пушистое-летающее-парящее «Нечто» было чистой эманацией души его возлюбленной и не столько созданной ее тонкими воздушными пальцами. Это творил еще кто-то, кого ранее именовали демиургом-первотворцом. И откуда она могла знать - предугадать лазоревого ангела, что грезился ему в недавних мечтаниях-сопереживаниях? Гевра только молитвенно сомкнул ладони словно буддист, шепчущий сутры, и Балерина, едва увидев этот жест и озаренное волнением лицо своего мужчины, вышла из своего томления - ожидания и, словно девчонка, радостно взвизгнула и повисла на шее Гевры, уткнувшись ему в шею и погружая свой визг-восторг в его бьющуюся артерию под ключицей, а ему так и пришлось нести ее до постели, где они сами стали чем-то воздушным-легким-лазоревым. До зари...

Глава 16

Тени от длинных деревьев стали удлиняться и поползли к закату. Никто в «селении длинных деревьев» этого не замечал. А напрасно. Ибо появилась среди этих привычных теней еще одна. Зловещая. От человека, переставшего им быть.

После того, как он расквитался за Агника-агнца своего, свершив обряд возмездия-воздаяния-мести, стало людоеду думать, что пора возвращаться в родовые места и почистить окрестности. Много дев, самого распутного образа мысли и жизни, повидал он, пока ехал сюда, чтобы спасти невесту Камиллу от осквернения и лонопадения. Он был доволен деянием своим, а то обстоятельство, что во время агонии, когда пил кровь ее из артерии сонной, даже перед последним предвздохом (в момент сакральный-кровавый-летальный) он не увидел (как ни следил напряженно), ни малейшего признака исхода души из тела (а только дрожь, метанье зрачков и синеющие губы), уже не имело значения. Ни из глаз, ни изо рта душа не отошла. И мгновенная поллюция мести, совпавшая с ее последним выдыханием была не так остра, как вождеделось, и осталась от этого только жал-

кая сохнувшая молока... фья. И он уверовался, что «ухогрызка-глазоглотка-печеньжорка и языкоедка» не имела души, и потому дело возмездия он доделал неспешно и хладнокровно, лишив ее всего того, что «они тогда» отняли у бараненка-ягненка-ребенка Агника. С тем же ясным спокойствием, будто ничего особенного не произошло, он перешагнул из-за рамы-ямы зазеркальной в плоскость обыденной действительности и назавтра был уже в Алма-Ате, отметился в военкомате, как рядовой запаса (и похлопотав неделю-другую), взял направление в пожарную часть родного села. Он поехал к матери из «далеких далеков своих», не отмеченных ни на одной человеческой карте, и география его страшных странствий только начиналась. Он начал поиск своей «терра-инкогнита», которую лучше было бы не открывать вовсе, но ему мнилось, что там он станет полноправным властителем и первооткрывателем. И он думал теперь о своей несчастной матери, ибо так и не смог изгнать ее из себя, как ни проклинал.

Мать встретила его без радости и в тот же день напилась. Приезд его совпал с сороковинами несчастной невесты – невести-пухлянки-глазоедки Камиллы. Ор и плач по ней стоял такой, что он никем не был особо замечен и это его вполне устраивало. Все причитали и утешались мыслью об исходе безгрешной души Камиллы прямо к чертогам небесным, но ему-то было известно: никакой души нет и остается от человека только уродливая и быстро протухающая плоть. И о матери думалось как-то тускло. Впрочем, и жизнь ее сложилась на редкость нелепо и тоже была тусклой.

Молодость матери его пришлась на первые послевоенные годы. Она – беспечная и глуповатая красавица-сирота, росшая на руках у стареющих деда и двух бабушек (родителей ее унесла война), словно магнит притягивала мужчин (большей частью молодых еще фронтовиков, изголодавшихся по женщине и жаркому делу любви). Она была легковерна и столь же легко бывала обманута, так что вскоре прослала беспутной-распутной молодой-телкой.

И таким-то вот образом, как глупая телка-течная, мычала она под быками-мужчинами, даже не зная, от кого понесла.

Жила и рожала мать его беспечно-бездумно, даже не заметив, когда ушли из жизни сердобольные и терпеливые бабки с дедом, и как росли-выросли разномастные дети ее. Старшие – сын и дочь – уехали, повзрослев, а младшеньких (тоже дочку и сыночка) определили в детский приют, когда всем стало ясно, что мать их давно превратилась в беспутную-беспробудную пьяницу и шалаву подзаборную. И только в редкие минуты просветления, где-то под утро, ей мерещился луговой простор, шелест серебряной ивы над ручьем, ясноглазый казак-красавчик с казахской кровью, первый трепет, нежная ласка и бездонное небо над ними – детьми этого простора... и куда улетучилось все это и не удержалось в ее тогда еще девичьих руках?.. И теперь средний сын вот приехал, а радости нет и нечем ее чувствовать...

Уже неделю, как людоед здесь, и всюду наталкивается на косые взгляды, видит усмешки, шепот слышит – недобрый – в спину. Но терпит, ибо знает свою темную и скрытую от всех силу, верит в миссию свою - «Мессии Мести», за позор и поруганную жизнь матери своей. И сейчас идет она, ввечеру, от коровника к дому своему ветхому, шатаясь и пьяно-блаженно улыбаясь, и тянет к нему дрожащие руки через всю улицу... Снова туман вошел ему в голову, сырой и тяжкий, а внутри началось жжение и жажда вступила несметная, и он едва слышал мать у порога:

– Вот, сынок, сейчас кормить тебя буду родного, – шепелявила она, протягивая сверток с потрохами и обрезками, взятыми видно, на том же скотном дворе, за селом.

– Ты, что мать, так позоришь меня, за что? Да, если б ты хоть знала, до чего ты меня довела, если б знала...

– Ничего, сынок, мы еще заживем. Пусть старшие-то разбежались от меня в город, зато вот ты вернулся. А младшие сестренка с братишкой?.. Они у меня в приюте сейчас, а теперь мы их вернем...

– Да ты погляди на кого ты стала похожа, мать? Я не знаю куда деваться от позора, а ты несешь мне эту чушь... падаль... падла... мать... да я...- и повело Людоода так дико изнутри, так невыносимо больно стало, как будто крюком кто тащил из него кишки... и кишки его отчего-то тянула его же родная мать... вот

эта падшая женщина, которую все прямо так и называли: подзаборкой и подстилкой.

Когда мать свалилась во дворе, через некоторое время появился очередной хахаль. Людоед с утробным ревом так ударил придурка-скотину-алкана по самой середине лица, что даже брызнуло во все стороны из ушей и ноздрей халявшика очередного. Людоед выбросил его беспамятного и грязного за забор и долго не мог еще избавиться от брезгливости и такой густой ненависти, когда и убивать уже не хотелось. Он только блеснул глазами так, что все соседи испарились, как лужица воды в полдень, а ему в голову вступила одна большая мысль-тоска бессловесная, но он уже знал, чем утолить ее. Наутро мать так испугалась холодного мерцания его глаз и стужи, шедшей от него, что ее враз перестало колотить от похмелья. И она покорно приняла эту властную непреклонность и сверхмужскую волну, исходившую от сына, которую она искала в отцах своих детей, и нутром поняла, что пришел конец прежнему образу жизни. Надо принять новые правила и больше ничем не тревожить – не гневить сына своего, в котором она угадала нечто такое, что понять это, материнским чутьем угаданное, было ей уже не под силу.

...это длилось давно... не в нем, нет... в нем были только безмолвные (в черепе) бескровные нашествия... кратковременные побегмы мысленные на краю дремоты, в середине бессонниц, на излете кошмаров рассветных...

...мама... как-то в поле, за излучиной, что у острова с плакучими ивами побелела вдруг, взвизгнула и...трясет ее мелко, как доску на водозаборе, если спрыгнешь с нее... (дед им для забав и нырянья доску ту спроворил, качаешься летом, ноги в прохладный ток воды макаешь, как хлеб в молоко... ногам щекотно, а под сердцем вкусно)... мать потряслась, упала в траву (мальчик-сын замер, стоял... и словно кто-то шепнул ему: - Не подходи.)... потом мать встала, разделась до кожи и, танцуя будто и чуть подвывая, пошла к реке и плескалась там долго, как цука на мелководье, среди осоки за мелкой рыбешкой... охотясь-балуя-плавая...

...позже (много печалей позже... от первых дней юности)

мать всегда возникала перед ним выходящей из воды, будто враз сотворенная из текущей по телу нагому прозрачной пелены и тяжкого черного потока волос за спиной... цвет ее волос, как и зрачков, был непроницаем для него тогда и сейчас (он в тот день по наитию внезапно вжался в траву и уполз в крапиву, словно знал, что нельзя ему такое видеть)... и все же суть женщины открылась ему через мать его... из реки выходящей... вся текучая-древняя-чистая... он всегда помнил тот день, как жжение крапивное по ногам и спине, и рукам... жжение иное в середине себя... глубоко... и уже будучи мужчиной, после первого сновиденного мысленного совокупления-блуда с собственной матерью, всегда знал, что это за жжение-то крапивное в нем...

...потом такое затмение, как с матерью, случилось с младшей сестренкой, когда он увидел ее купающейся в ручье... обнаженной и беспечной... эти два воспоминания, внезапно отъединили и сестренку и мать от всех других женщин... и всегда, в полдень, в жару, среди лета зачинается смерч... в воронке его спиральной ничто недоступно... ни воле, ни пониманию человеческому... смерч внезапный... смертный... греховный... черный...

И всегда он многие годы боялся, что и в нем сидит эта страшная хворь затмения ума (или чего там еще)... тайная страсть к обнажению... уход за край одежд и иных оболочек... лихорадка души, ненавидящей оковы и угрозу острых углов... яростная усталость от слишком очевидных вещей и тяжелых предметов... болезнь-боязнь запутанных и бесконечных лабиринтов... отчуждение от обыкновенных-обиходных привычек и правил, за которыми всегда таятся короткие темные тупики и появляется надобность бежать от страха... обратно в лабиринт... в другой тупик... и нет рядом того, кто видит сверху выход из тупика... и нельзя было убежать от страха и выйти из лабиринта... из бесконечной ловушки для не обретших птичьего умения ориентации в тумане... и хотелось быть птицей, умеющей всегда прилетать к родным гнездовьям... птицей, читающей книгу ветров...

В том непролазном тупике-невыходе-болоте находясь, понял он, что истинная женщина (та, что из потока, струйная) всегда будет отстоять от него далеко... и есть, насыпана кем-то плотина,

и нет для него пути-проплыва, как для хищной-гладкой щуки, которая б гонялась за ним, окунем одиноким, неприкаянным... и не было никого, кто помолился бы за него и помог ему выйти из лабиринта... кто нить бы ему дал...

Глава 17

...разве что раз?... в городе... в пол-шестого проснешься и птичка безвестная-без имени поет тебе... я жива... и ты жив... чив-чив... как тебя благодарить, вестница моя безвестная, несущая весть-утешение?... а в степи?... был бы глас-трель твой всенепный и слышный мне... и тогда не затеряюсь я в просторах твоих... ах, птичь мой, горожанин... сколь тебе и мне тесно... во граде нашем... а простор-степь?... оставь их в голо-се-сердце-песне своей... пой, а я допою... чив-чив...

Сторожка, стоявшая на задворках зоопарка, была совсем запущена. Гевра стал наводить здесь порядок. Первое, выбросить хлам. Однако, это простое и вроде бы быстрое дело затянулось. Сколько следов могут оставить по себе разные люди, с которыми никогда не встречался? Вот откуда этот военный планшет, еще крепкий, хотя уже отсырел и взялся плесенью? В главном кармане, старая, почти истлевшая военная карта. С пометками. Летная. Внизу, карандашом, осталась запись: «Курская дуга... мой последний боевой вылет перед госпиталем. Яша Кашкаров, стрелок, убит...». Хозяин, видно, летчиком воевал, а планшет здесь хранил. Но почему оставил? Заболел, в больницу попал? А вот настоящая воровская финка, со стоком ртутным внутри, чтоб бросать всегда лезвием-острием вперед. Заныкана-спрятана крепко, за лежанкой, в схроне. Всегда под рукой. Наверно, настоящий матерый вор здесь отлеживался, пока о нем не забудут. Зоопарк вроде бы на виду у всех, а на деле тут глухомань. Много еще чего есть интересного. Не сразу выбросишь, как эту глиняную куклу в коробке, с ватными волосами и рисованным лицом. Носа нет, один глаз с бельмом, краска облупилась. Но берегли, любили ее. И постелька с подушечкой, и одежда по-

шита, и туфельки есть. Чья-то внучка, видать к деду приходила сюда. Зоопарк все же, заглядетьельное занятное место. Ребенок не соскучится. А отчего забыла? Может что стряслось, мало ли...

... и они вывалились из лодки... сын и отец... плеснуло... то лунная была волна и ночь... и озеро то стылое отчего то называлось теплым... словно в издевку... на мальчика-сына прынул страх и оторопь... отец ему говорил... доверься воде, спину расправь и руки-ноги раскинь... дыши полным сердцем, как луна... смотри, сколько неба и звезд над тобой... не думай, сколько воды под нами... главное: ты в середине... бабушка древняя твоя, луна, тебя бережет и дорожку подстелет тебе серебряную к берегу... видишь, сколько времени прошло, а мы не тонем... теперь перевернись... вот... и тоже вольно расправься по воде... смотри ниже дно под тобой... похоже на небо в летний дождь... а в дожде не утонешь... хорошо, вот видишь, ни небо, ни дно нас не берут... значит не время... и висели-плыли сын и отец в пространстве меж небом и дном... и казалось отцу, что он отдал каплю-сына вселенскому дождю в ученики...

И тут в Гевре поневоле открылся один из самых тайных заплотов его памяти, после дня «Х»... Вспомнил отца и мать любимых. И детство, и многое-всякое-цветное-черное... Главное в тех годах: отец и трамвай. Лето-сплошной грохот и восторг. Отец работал кондуктором трамвая, носил синий китель, фуражку с околышем, сумку с билетами. Маленькому Гевре казалось, что отец-главный начальник в трамвае. Его все слушались, он объявлял остановки и выдавал билеты. Строгий. Если что, может и высадить. Когда мама уходила на работу, мальчик бежал к остановке «Уйгурская-Пастера» и ждал. И...наконец, с грохотом подъезжает «папин трамвай». Синий. Останавливается, будто специально для него. Отец отдает честь и... поехали. Вверх по Уйгурке, мимо Никольского базара, кипящего народом (здесь многие сходят и садятся, так что можно успеть семечки купить), затем поворот на Шевченко (это улица строгая, чинная), потом еще поворот влево, на Карла Маркса, и дальше вниз до Комсомолки. На углу будочка с надписью «Газ-вода». И тетя Алиса. Пухленькая и добрая. Отец, как-то особенно крикая, выходит,

за ним он – Гевра. Два стакана газировки уже шипят пузырями. – Эй! Гаврош, привет. Пей? Тетя Алиса улыбается, как всегда. Вода холодная! Вкусная! Звонки от вагоновожатого. Пора. – Спасибо! Мы еще будем. Получите. – Это отец. И снова поехали, гремя по Комсомолке до Талгарской. Там разворот. Любимый. Потому как, через речку, парк отдыха Горького. Когда наступит тепло и уже купаться можно, то с друзьями-пацанами Кайрой и Ремой вместе едем в парк. Там озеро. Казенок. Верхний и нижний. Раздолье, купанье... И играй хоть до одури: в «асыки», «ножички» или в «грошики». Чаще всех побеждал Кайра. Он меткач был. Хочешь в зоопарк? Тогда надо идти к тайному лазу у тополя. Момент: и ты там. Звери, как в фильме «Тарзан», только в клетках, но улюлюкать по-тарзаньи можно сколько влезет. А посетители, бывшие солдаты, отдыхали от войны и потому все, будто сговорившись, улыбались, как на празднике. Мир и беззаботность, дети, звери и были их праздником... Еще одна завлекательная остановка, но это если другим маршрутом ехать, к парку 28-ми гвардейцев-панфиловцев. Цветная фанерная арка, лозунги, две будки (мороженое и газ-вода), и... сосны высоченные. Тир, качалки-лодки. И еще музей в центре, в бывшем кафедральном соборе. Тут важно – вовремя пристроиться к экскурсии школьников. Гулкая тишина. Камень. Лестницы. Главное, второй этаж... Там самое интересное живописно-предметные экспозиции в нишах. Ископаемые чудовища: динозавры, саблезубые тигры. В пещерах: питекантропы, неандертальцы, кроманьонцы. А потом опять на солнце. В парк... Та послевоенная жизнь была простой, но внутренне красивой. Полнота красок. Сочность во всем. В быту, в природе. Фруктовые и овощные развалы на рынках. Шедевры естественных натюрмортов. Никто не обращал внимание на приметы бедности. Немного театрально, но просто и искренне: духовая музыка, много плакатов. Витрины магазинов в центре города, как выставка. Продавцы-актеры. Впрочем, и покупатели тоже. Детям невозможно было до конца разгадать эту игру взрослых и они принимали ее за настоящий праздник. Леденцы-монпасье в коробках из жести – роскошь. Бриджи из сатина и сандалии из сыромятной кожи – шик! Но это

на уровне детей. А взрослые? Мужчины в габардиновых пальто, в костюмах с широкими лацканами и такими же галстуками. Обувь фасонная-парусиновая. Ботинки со скрипом, на каблучке. А женщины? Платья из креп-жоржета, крепдешина. Шляпы с вуалетками (трофейные, высший пилотаж). Скрипучие шелковые чулки и туфельки на пряжках. По весне – платья свободные из полупрозрачного шифона с крупным рисунком, в черно-белый горошек, а под ним тонкий шелковый патрончик до колен! Женщинам, видимо, надоела закрытость во всем и они использовали любую возможность, подобно римским матронам показать столько, сколь возможно, и так, чтобы не шокировать сенат (в нашем случае партгвардию). Духи «Красная Москва», одеколон «Шипр». Этот послевоенный советский декаданс победителей мог покорить кого угодно, потому что был искренен и искрился в самих людях, как шампанское в бокалах. Это был спектакль-парад оголодавших на цвет и стиль победителей, после армейских шинелей-кителей-фуражек. Даже милиционеры казались красочными в своих формах сине-белого цвета.

Это были лучшие годы города. Вообще, по природе своей Алма-Ата была женщиной, солнечной и доброй. А что касается архитектурных терминов и правил, то городу подошло бы определение – «Градавица». Красавица. Алма-Ата. «Большая война» на северо-западе научила нашу «Градавицу» состраданию. Принимая израненных той войной, изгнанных из родовых мест гнезд и согнанных сюда людей, Алма-Ата сумела утешить всех и обласкать. Ее безотказное непобедимое обаяние и истинный шарм поражали любого новоселенца с первого взгляда. Снеговершинные-синие-пестрые горы во весь горизонт, ласковое пение-журчание чистоструйных арыков, роскошь древесного одяния-убранства (пирамидальные и серебристые тополя, сосны, ясени, ширококронные дубы и каштаны, голубые и темные тяньшанские ели, подобные всем райским девам и гуриям, идущим к тебе, качая тяжелыми безупречными чреслами, влажно-гибкая особая трава с тминным и длинным ароматом по утрам – разве против этого можно было устоять? Алма-Ата – градавица-красавица растворяла в себе боль и горечь, возвышала сникшие души,

вливала новую кровь в сердца и могла самые тяжелые гнетущие мысли превратить в легкий тополиный пух. Алма-Ата имела особый талант – вернуть человеку смятенному волшебную легкость бытия, вопреки всему. А в послевоенные годы градавица наша была особенно прекрасна и неотразима.

Мама Гевры, милая и крепенькая, работала на заводе Кирова контролером ОТК, т.е. качества. Целый рабочий день перед нею вереницей проезжали на конвейере массивные металлические детали (то ли от тракторов, то ли танков) и она ставила штамп. Если она замечала брак (каким-то, видимо, седьмым зрением), то «его величество» штамп не ставился на болванках, план летел, зарплата тоже. И, вообще, все летело к чертям. Всем давали «втык», кроме нее-контролера, ибо она и была «совестью рабочего». Поэтому на нее боязливо-заинтересованно поглядывали все и если видели, что сосредоточена, но не хмурится, то у людей поднимались настроение и производительность труда тоже. Когда мать встретила отца, и они поженились, то «завком» выделил им однокомнатную квартиру в сталинском доме для рабочей аристократии. Три высоких желтых дома из кирпича, в плане похожих на букву «п» с длинной перекладной. В середине центрального блока красовалась арка с гипсовыми горельефами-скульптурами. Советский ампи́р. Так вот в этом-то доме, недалеко от самого завода и дали им квартиру на первом, вернее, полуподвальном этаже (согласно негласной субординации), чтобы была мотивация подниматься выше на олимпы социализма, т.е. поэтажно. Там они и жили - не тужили с тех пор, как сразу после войны родился Гевра. Отец изредка напивался и тому имелась своя причина. У него, во время взятия Кенигсберга в восточной Пруссии в 1944 г. случайным осколком аккуратно срезало четыре пальца правой руки. Осталась только кисть с большим пальцем. Отец воевал в полку тяжелой гаубичной артиллерии, которая всегда находилась в глубине фронта, и поэтому не участвовал в прямых боях. Но на последний штурм пошли все. Вот тогда все и случилось. Его отправили в госпиталь, утешая тем, что ему повезло. Главное: жив, подлечат, комиссуют и айда-гони домой, а женщины на этот пустяк даже не

обратят внимания. Им важно, что ты фронтовик и редкая особа «мужик в полном вооружении». Так-то оно так, но отец Гевры до войны мечтал стать архитектором и у него была идея-фикс: поставить в Алме-Ате свою Эйфелеву башню на Кок-Тобе и превзойти французов. Чтобы люди могли обозревать город и горы необыкновенной красоты в любое время года. На войне эта мечта только окрепла и ... вот!

Это и стало его «пунктиком», а вовсе не аккуратная культура. Напившись, он жалился всем подряд, много гневно и сильно говорил о том, что потеряла в его лице мировая архитектура и, показывая этой самой беспалой рукой в сторону Кок-Тобе, крича и вопрошая:

– Где моя Эйфелева башня? Где? – Дома вся эта пьяная истерика обрушивалась на жену, будто она была в том виновата. Отец брал еще совсем маленького сына на руку, выходил во двор и, подняв его над головой продолжал спрашивать: – Где его Эйфелева башня? Как мой мальчик сможет увидеть всю Алма-Ату и весь мир, а? Где башня?

В тот день, 9-ого мая, День Победы!.. (самый важный праздник на земле), отец одел свою праздничную форму младшего лейтенанта артиллерийских войск (бога или царицы войны), гладко побрился. На кителе блестели три медали (одна-за Кенигсберг) и сам отец тоже торжественно сиял. Радостная мама успела шепнуть отцу громко, когда он взял за руку сына:

– У меня для тебя, милый, есть сюрприз. Скорей возвращайтесь, а я тут стол буду готовить, поцеловала их на дорожку и они пошли в трамвайное депо (оно находилось неподалеку, рядом с баней, на Уйгурской).

Мать вернулась в дом, вытащила из-за шифоньера сверток и развернула его. Это была чугунная копия Эйфелевой башни, около 50-ти сантиметров высотой, отполированная и тяжелая. Еще месяца три назад, мать тайком заказала эту вещь заводскому мастеру, который и не такое мог отлить, а узнав причину странного, на первый взгляд, заказа пробурчал только:

– Это дело святое. Молодец ты, настоящая жена. И не надо денег. В удовольствие мне будет. Вишь, сколько здесь у меня отхода чугунного.

Теперь эта добротная сделанная вещь была дома и мать улыбаясь поставила башню Эйфеля на комод. Одно загляденье. Вот муж обрадуется и сыну будет чем играть.

В депо, поздравив всех с Днем Победы и приняв ответные поздравления, отец сел на свой трамвай, фирменный 4-й маршрут от Тастака, где находился АЗТМ (завод тяжелого машиностроения, в основном военного профиля), и до Парка Горького на Талгарской.

С утра и до обеда отец Гевры перевез тысячи празднично одетых мужчин-женщин-детей в том и другом направлении, почти не задерживаясь в тупиках-разворотах. Много было военных. Гевра с каким-то особым чувством восхищения и гордости за отца наблюдал, как солидные и суровые мужчины в военных формах молча отдавали честь кондуктору, а отец в ответ подносил культю к фуражке и торжественно отрывал билеты. Казалось, что здесь в трамвае проходит некий парадный ритуал, возвышенный и гордый, а билеты выдаются только избранным, которым дано такое право чествовать друг друга, признавая свое равенство и тайную принадлежность к особому ордену-воинству. Но и тут, Гевре думалось, что отец самый главный из них и знает, кому выдавать билеты.

Воздух в городе напитался пряно-пьяным запахом цветущей сирени, а трамвай, словно тайный цветочный магнит, собирал разрозненные уличные букеты в небывалый сиреневый сад в вагоне трамвая. Большинство ехало в парк 28-ми гвардейцев-панфиловцев, а затем пешком шло к старой площади, где гремели оркестры и расцветал-ширился песнями-танцами-улыбками подлинно народный праздник-торжество. К 2-м часам дня отец вернулся в трамвайное депо, где его уже ждали друзья по фронту и работе, принял на грудь первую «победную» рюмку и затем все пошли к нему гужевать-праздновать. Так получилось, что каким-то образом, здесь оказалась и тетя Алиса, добрая и красивая, как все в этот день. Дома, с самого начала торжества-застолья мать, смущенно улыбаясь, вручила отцу «Эйфелеву башню». Все закричали от полноты чувств, так им понравился подарок (многие знали про «пунктик» отца). Но, кроме Гевры,

никто в этой праздничной эйфории не заметил тень секундного недовольства в глазах отца. Шумели-гужевали-пели-грустили и говорили до вечера, а когда пришло время расходиться, то отец вызвался проводить гостей. Гевра уже спал, когда вернулся отец, за полночь, пьяный в лоск, и сразу стал кричать на мать:

– Ты, контра. Так меня унижить при всех. В такой день. Как будто, я сам не знаю, что я неудачник. Эта жалкая копия. Издевательство. Как ты могла придумать такое?..

Гевра, спавший за ширмой, проснулся от криков и серьезной ссоры родителей и явственно услышал слова матери:

– Раз так, раз я такая, иди к своей Алисе. На, забери свою башню и чтоб я тебя не видела, и о башне твоей дурацкой не слухала больше...

Глухо стукнуло и упало что-то тяжелое на пол. Раздался легкий вскрик изумления и ужаса. Стало тихо... Когда Гевра вышел из своего закутка за ширмой в общую единственную комнату, то увидел лежащего ничком отца, с протянутой к Эйфелевой башне правой беспалой рукой, а вокруг его головы разливалось большое пятно крови, как от разбитой банки вишневого варенья. Мама сидела, осев, в углу и смотрела в никуда.

Словно в кошмарном сне, Гевра увидел, как мать вышла и вскоре комнату заполонили милиционеры, врачи в белом. Только тогда дошло до Гевры, что отец больше не сможет поменять свою позу на полу. И никогда не встанет. Помнил он и мамины глаза: стеклянные, сухие, смотрящие в никуда, далеко. За реальность... Входящее навсегда прошлое... Много дней спустя, во время суда, где его тоже спрашивали о случившемся, Гевра узнал о том, чего он не видел. Мать объяснила все так: - «...я и он поссорились, потом я бросила ему эту проклятую башню... думала он поймает... рука то – беспалая у него, а он (видно напугался) пригнулся только и... эта штука попала ему в висок... вот и все, судите... я виновата. И... эта проклятая башня». Матери верили все и Гевра тоже, но суд дал ей 6 лет срока за неосторожное убийство фронтовика. Самое последнее воспоминание: похороны отца (мать стояла в стороне). В момент, когда гроб начали опускать в яму, мать поставила на него чугунную копию той самой «башни

Эйфелевой», ее последний и роковой подарок любимому мужу. Именно там, на похоронах, мальчик Гевра окончательно понял, что для него время «синих гремящих трамваев» кончилось. Гевру определили в детдом-интернат № 1, в станции Иссык, недалеко от Алма-Аты. Больше он свою мать не видел. Слышал только, что из тюрьмы ее перевели в психдиспансер, где она и умерла, повторяя безостановочно: – ...Эйфелева башня... башня Эйфеля... где она?..

После детдома и «десятилетки», Гевра поступил на строительный факультет, стал инженером-проектировщиком (почти архитектором), но в трамваи больше никогда не садился. Город изменился, неизменным остался только год смерти отца-1954. А где похоронили мать он так никогда и не узнал.

В тот город я уже не вернусь никогда, а лучшее, лудящее душу до сладкой истомы не забудется уже сердцем. И там, в тайной галерее души, будут висеть картины-воспоминания о тех ароматных послевоенных годах, о городе яблонь, отплывшем, словно корабль с мачтами-тополями, в иную реальность со всеми своими людьми-домами-бульварами-улицами-магазинами-лубочными сценками «совбыта» и бросившем, наверное, навсегда, якорь в тихой дальней гавани. Где тот город-корабль с зелеными веселыми парусами? Найдет ли отдохновение от бурь и гроз своей трудной и прекрасной судьбы?.. Прощай мой город-корабль, а я поплыву дальше... В день-завтра, в море другое...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 18

В один из дней скитания, в сумерках, могильщики развели костер в чаше криптомерий, казавшихся бесформенной шевелящейся-шелестящей-густеющей тьмой. Пока одни ушли ловить рыбу в ручье, под холмом, другие отправились собирать хворост, искать щавель и дикий лук в смутном мареве-свете угасающего дня, Кен, глава «дза» - могильщиков, остался сидеть у костра. Алый бутон огня, казалось, был единственной живой и теплой субстанцией в сумрачной стылой чаше криптомерий, где уже ухали совы, от которых торопливо укрывались мыши и белки в дуплах, среди вывернутых корней, в пружинном подстиле палой жесткой листвы. Его тонкий нюх, вдруг уловил из тысяч пряных-прелых-пресных запахов тот единственный-неповторимый-горестный запах человеческой плоти, тронутой смертным гниением. Запах дошел сюда по пелене слабого дуновенья ветерка, из оврага, виденного путниками еще час назад, недалеко, от места, где они остановились на привал.

Верно, там когда-то тоже было сражение, хоть и малое, судя по запаху. Душно-дурно-горько-грустно стало Кену. Перед его невидящими-недвижными глазами пронеслись десятки полей сражений-битв-стычек-боев, сливаясь в один печальный

пейзаж. Дивная и мрачная красота этих мест никак не умаляла горя-беды. Сколько молодых воинов-самураев погребено здесь? Разве дело в малости или в огромности сражения? Печаль и особое молчание над полями сражений всегда одинаковы, как и одиночество-неприкаянность-сиротство просевшей земли. Так бывает, когда уже могильные черви сделали свою невидную-смердную-надобную работу, освободили кости от плоти. Эту отчаянно-холодную пустоту могил заполняла оседающая земля, песок и камни, ибо не должно быть в мире пустоты. Оттого и узнаешь сразу эти могильники без гробов. Там всегда проседает земля и воцаряется печаль.

Когда в котелке из меди, темном от копоти и постоянной близости с ярким огнем, уварилась рыба, вобрав в себя вкус щавеля, дикого лука и запахи дыма, Кен перестал ощущать могильный особый запах, но запах был неистребим, ибо вошел в поры-полости-щели души, все более и более уплотняя пространство вокруг сердца. И тут, когда ненадолго расслабились петли веревочных тугих мыслей в голове и давление их перешло в область сердца, в непроницаемой чаще криптомерий будто блеснуло что-то (то ли звездочка нашла просвет в кроне деревьев, то ли боль отступила от головы к сердцу)... Ему, вдруг, увиделась Сайко в облачке того тепло-тихого света, который всегда сопровождал ее, будь то ночью, днем, вечерами. Она – возлюбленная его - словно просеменила над лесом в вишнево-цветущем кимоно. Сайко улыбалась, как в день их первой встречи у ручейка водопадно-падающего с невысокой скалы, покрытой темным мхом и узорами-сгибами-ветвями-листьями упрямо ползущих вверх растений. В этом встречном движении – ручья вниз и растений вверх – будто была воплощена вся лучистая-текучая суть Сайко, ее особая утренняя природа, когда в падающих струях проблескивает радуга. В этот миг краткий-ослепительный-горестный-обжигающий все слилось воедино, в одно волшебное мгновение-воспоминание-пейзаж, как воды рек, стекающих в море, а в середине сияла-плыла-витала Сайко, и казалась теперь ему всей полнотой любви, какой не выразишь словами.

...Танец творения... ритм рыб, плывущих глубоко... эмбрион-младенец в океане матери... мать помнит прелюдию любви, песнь зачатия... жить по обе стороны света-тьмы... мысли растения... размышления-листья-корни... идеи-цветы... труд ветра – всех обвить-овеять-развеять тучи... дать крылья семенам... нет глаз у дерева... рук нет у ветра... камень глух... но все понимают утробную мудрость жизни... нерасторжимо расти-веять-лежать в земле...

Между тем, вчуже, думалось о почти небывалом времени, когда жили легендарные супруги седьмого колена первообитателей еще несовершенной земли – божественная пара: Идзанаги и Идзанами. Он и Она. Она и Он. Сами они. «Самионы». Породив в любви и согласии столь несхожих детей, как ветер и росы, морские волны и лунный свет, радость и печаль, травы земные и подводные, леса густые и ясные поляны, со всем их беспокойным и часто враждующим хищным населением живых существ, и тихой отрешенностью растений и цветов, щедро одарив всех неиссякаемым плодородием, отчего-то они – мужественный Идзанаги и женственно-непостижимая Идзанами – поссорились в пространствах скорби и смерти. И случилось это в мире подземном, куда сошла умершая внезапно Идзанами, оставив мир земной. Но когда за ней пришел тоскующий и влюбленный Идзанаги, супруга его отказалась покинуть печальную обитель теней и вернуться в дом свой земной, светлый. Отчего бы это? Почему бы им не соединиться вновь и не ждать часа, когда смерть заберет их вместе? Чем не счастливое окончание многотрудного божественного супружества, когда и богине луны будет отчего, по-настоящему, печалиться, а богине Амаэрасу с новой силой полнить мир светом? Неужто так и будут они непримиримо тосковать, как одинокие скалы в море? А может быть, судьба им такая дана в назидание и поучение людям, чтобы они не уставали соединять их в своих фантазиях и мечтах узами супружества и любви, и сами держались обетов любви и верности в своей человеческой жизни. Как знать? Но он - Кен все же найдет способ соединиться со своей супругой Сайко в иных мирах и воплощениях, чтобы никогда больше не разлучаться.

...и стал он искать в себе себя... глаза извне обратил внутрь... мысли изгонял самоплодные-мерзкие... вбирал в раковину уха звуки чистые-первородные... вдыхал – невесомый воздух тишины и ширил простор покоя в себе... бессловесные сутры-вопрошания-упования в дальнее небо обращал, будто с неким братом своим вознесенным беседовал о брэнном-нежном-земном-тяжком вывороте-изнанке жизни и все же возлюбленной им во всей красоте ее и жестокости... опоры искал, вокруг которой могла бы вновь начать кружить земля-планета души просветленная... и виделся Кену тот таинственный брат его в дальней выси небес, среди звездных полей, омываемый теплым дождем из комет, свободно-легко летающих там, во втором небе... и послал брат брату мысли свои потаенные, невесомые письма души своей потрясенной горем и сомнением о смысле дороги земной... нить натянул меж ними незримую и паучка-вестника пустил по ней вверх... Гроссмейстер увидел паучка, улыбнулся и стал вслушиваться в ритм, выбиваемый ножками вестника-паучка на дрожащей тонкой нити, словно то была небесная азбука Морзе... А то обстоятельство, что послание-вопрошание Кена шло к Гроссмейстеру семь веков, то надобно помнить, что для вечного единого времени это равно секунде.

Глава 19

Пожевал. Медленно, со вкусом. Проглотил. По гортани пошло в желудок. Заскользило. В полной темноте. И ему вспомнилась в сырой полуночи та девочка. В ручье. Давно. Он высматривал ее из-за холма. Взгляд получился по косой. Длинный, вождедеющий и не излучал опасности. Бастард умел уже это делать. Чуть отведешь глаза, улыбнешься, а потом опять на мишень. Ветка ивы над ручьем серебрилась. Струи гибкие - светлые. Как ивины листья. Но девочка была много гибче, светлей. И струй ручья, и ивы. По ту сторону ручья темнел небольшой затончик. Над ним нависали густые ветви карагача. И поток точно отражал разную сущность деревьев. Бастард знал, что она пойдет к затончику, где

течение медленнее, а вода глубока. Девочка не знала, что ее уже поедают глаза безумного людоеда-гурмана. Она наивно присела и два – белых и нежных – абрикоса ягодиц коснулись струи и навсегда изменили ее течение. Легкое прикосновение, а сколько изменилось в природе, в ней, в нем, в струе. Бастард вздрогнул, как если бы это у него меж ног побежала студеная вода и защемило в стволе и в корне члена. Чему-то улыбаясь, девочка развернулась-перевернулась по току ручья и по ходу солнца, и в воде показались два яблочка зреющих грудей и на миг мелькнула промоина лона с пушистым светлым островком. Девочка легла в поток, чуть задрав мягкий подбородочек под свежими алыми губами и вся отдалась купанию. Вода приняла игру, потекла вдоль плечей и приняла новое русло меж тонких длинных ног, где она чуть закипала у бугорочка лобка. Девочка вновь перевернулась на живот, а Бастард неслышно вплыл в ручей, чуть выше, по течению...

Вода задрожала в затончике - омуте от прикосновения ее ресниц. Густые, черные. С выгибом над глазами и распахнутые в подглазницы. Дважды вода поднялась и лизнула ресницы купальщицы. Она не зажмурилась и вода омывала глазницы светло-зеленых ясных глаз. И вода, и купальщица восхитились этой интимной - глубокой лаской... И были всецело погружены в первозданное... Она зажмурилась от удовольствия. Вода целовала заветное-защитное меж ягодиц и ног. И упорно-нежно стремилась дальше, утягивая с собой струйно плывущие листья... Он полз под водой. Саламандр древний-хищный. Ветви тянуло вниз. В течение. К купальщице. Вдруг, их грубо развернули и наступила глухая тишина испуга-ужаса... всхлип, всплеск, дрожь и рябь по воде... аааай...

Уже уходя от ручья, который ниже ее пяток тек вишневыми струйками и одинаково омывал, вскипая валун-камень и серебро-тело мертвой купальщицы, Людоед продолжал вяло жевать то, что ранее было местом будущего и уже невозможного влагания фаллоса, а теперь стало бесформенной широкой раной, скрывающей свое неестественное-сверхобнаженное безобразие под темнеющей водой, утерявшее образ лона. Сплевывая пу-

шистые легкие волосы лотоса-лобка – еще час назад цветшего в поле-луге юного тела – Людоед медленно и разочарованно думал: – Как жевать эти сухожилия? А казалось, что вкус их будет несказанным – смачным, как свежесваренная печень ягнёнка.

И он задумчиво сплюнул резиново-скучную жвачку, утирая грязно-кровавый рот, в котором щетинились-торчали желтые крепкие зубы неведомого хищника. Дева несметная, покоровившая воображение его на миг, плыла вниз по ручью, обреченно-стыдливо сталкиваясь с камнями и корягами. И только мелкие мураши набежали на место плевка, а затем стали срыгивать странную пищу, возвращая девственное лоно купальщицы в вечный водоворот природы.

... все тайное в нем, однажды, всплыло брюхом вверх... дохлая рыба, отравленная сливами технической воды плывет вниз по течению... на берегу стоит он сам и смотрит на свои потроха чернильного цвета... словно он видит сканируемое нутро свое... но это только первая дохлятина... в верхнем течении еще резвятся мальки - мелочь пузатая - юркая, подсаженная на отраву... наркоманы плавниковые - чешиуйчатые... еще выше у истоков, на миистой гальке мелководья мутной слизью (не то сопли, не то сперма после мастурбации) размазана икра с глазками плода-эмбриона, уже несущего в себе скорое гниение и неизбежность плыть брюхом вверх с открытыми сизыми жабрами... эта отравленная река течет в нем самом, начинаясь с темного крохотно участка у гипофиза... десяток-другой нейронов-клеток, пораженных гниением и любовью к мертвой плоти еще в черепе его прабабки, а может и прадеда - изувера (возможно, кто-то стукнул камнем по черепу, или тот знаменитый-воительный працур так увлекся убийством врага и сек его уже мертвого боевым топором, пока не нарубил-раздробил его на мелкие куски... хоть сейчас бросай в котел и готовь жаркое из человечины)... и этот страшный кадр-рапид из звериных эмоций и алой пузырьчатой крови с белыми фрагментами костей навсегда впечатался в память прошлого и спрятался до поры в темном микропогребке-хранилище, в глубине мозговой ткани, чтобы когда-нибудь (видимо в нем) стать уютным филь-

мом - инсталляцией кровавого потрошения девочки невинной, тысячу-другую лет назад уже предсказанной кем-то, но еще не родившейся жертвы (но куда она денется от неминуемой судьбы своей мученической?)... тайное плыло перед ним, еще раз в нем свершившись, пока он стоял среди ночи и холодной тишины дикого леса и предгорий и иссекал-потрошил теперь мысленно труп мамино хохля, и представлял себе сладоненавистно, как отрезает его лиловый член-отросток, затем мошонку и, взрев-зав-вспотрошив ее, смотрит на крохотный сгусток еще живой спермы-молоки... тьфу-мля-молофья-бля-блевотина...

...где-то прорвало небесное дно и льется печаль из худого ведра и земля, залитая безысходной печалью и небо прохудившееся и пробитое ракетами, как решето, ничто уже не могло утешить или обнадежить людей добрым исходом их дел и упований... Ни ведро, ни пасмурно... посередь-среди чего мы стоим?..

И откуда ни возьмись... этот низовой-низменный ветер. Вроде бы и нет его. Волосы не треплет и листву не качает. Но есть все же, если внимательней всмотреться. Траву так и лижет, будто гребенкой проходит. И природа этого ветра странная. Из другого, не физического мира. Веяние его тоже загадочно. Кусками, клочьями веет. А в промежутках нет его. И что совсем уже не объяснить: он сквозь стены или сквозь людей проходит, как нить, и нижет их в связку. Но самое страшное: этот ветер-низовой из всяких щелей, укрытий, канализационных труб выносил в верхний мир всякую заразу-гадость-порчу. Он имел еще одну особенность. Струи его могли мгновенно скрутиться в невидимые жгуты-петли, цеплять за ноги зазевавшихся задумавшихся людей и утаскивать вниз, в мерзость или принудить к преступному действию, вжав лицом в решетку слива или протаскив по загаженной трубе канализации. Девушек невинных он мог напугать крысами, где-нибудь в подвале так, что они теряли всякое понятие о своем истинном назначении и зачастую выходили из подвала того сразу на панель и... даже улыбались крысино-хищно-злобно.

Ветер этот – стервец низовой мог, внезапно, так сгуститься вокруг прежде счастливого человека в виде воронки-вихря-смер-

ча, что тот переставал слышать и понимать близких, друзей, начинал подозревать их в предательстве, пока окончательно и, уже самостоятельно, не заключал себя в тюрьму обиды-одиночества, хотя сквернавец-ветер давно ушел искать себе другие жертвы. Справедливости ради, надо сказать и о людях иного толка, которые по своей воле становились жертвами ветра-низменника. Они сами подстилались под этот и без того низовой ветер и выходили из под него отутюженными лизоблюдами-членолизами-спермо-едами и заболели такой безудержной алчностью, что по сравнению с ними тягу алкашей к алкоголю можно было отнести к категории временной дезориентации в мире трезвых вещей.

Низменный ветер постепенно набирал такую силу и мощь, что у него появились глобальные амбиции. Он вытеснял обычные ветра из области их естественных веяний и они все чаще становились бешеными тайфунами-ураганами-смерчами-торнадо, сея стихийные бедствия там, где прежде нежно раскачивали травы и кроны лесов, несли прохладу в знойные дни, разносили споры и семена растений, а в иные – редкие минуты вдохновения разведали волосы юных женщин так, что у мужчин захватывало дыхание и они восхищенно изрекали и пели слова, ранее им не присущие. Возможно, омерзительно низменный-низовой ветер сей на деле был зловонным нутряным дыханием некоего чудовищного гада-монстра-гиблосавра, затаившегося в недрах земли и задумавшего выйти, наконец, наружу и объявить эру своего нечеловеческого господства над миром, пока его окончательно не разрушили сами люди. Как бы то ни было, низовой ветер ширился-рос-усиливался, распространяя по земле и в людях неизвестную доселе, но отвратительную заразу-болезнь-скверну...

Зверь неведомый метафизический и дух зловонный его – низменный ветер... Тень ветра... Гиблосавр мордатый... и ху-ху его и фи-фи...

Одинаково страшно заблудиться в лесу и в пустыне, или в морях потерять свет Полярной звезды и звездный маяк Южного Креста. Уповаешь невольно. Если есть наука навигации спасения людей, от ими же сотворенных бед, нескончаемых конфликтов и нравственных катастроф, то эту науку знает только Природа.

Лишь она, волшебным образом, умеет растворить черные кристаллы зла в водах своих прозрачных, оберегает землю и нас от убийственного космического холода небом-покровом своим, все зловонные отходы и испражнения людские терпеливо утаскивает в свои потаенные недра. Из последних сил бережет она детей неблагодарных своих, которые жгут, рубят, разрушают и потребляют все и вся вокруг себя, а Природа безуданно вновь сеет семена, растит каждое древо и травинку, творит букашку и слона, и жемчуг и дивных рыб, созидает бесчисленные образы красоты: летящих птиц, сияющую радугу и сияние полярное, танцующих оленей и плывущего кита, неповторимые закаты и рассветы, и сестру их - благодатную ночь. На тысячи истребляемых нами живых существ из чрева-души своей Природа воспроизводит все новые тысячи растений и животных, а на рассыпаемые нами яды, мины и атомные бомбы безмолвно дарует благоухание своих цветов, легкое веяние ветра в жару и бесподобный вкус плодов своих неисчислимых и чистых и... что же мы?... неблагодарные самоеды, корыстолюбцы, истребители и хищники в образе человеческом?... Гиблозавры что ли мы?.. Да за одну только любовь, а паче того: за краткую, но головокружительно-прекрасную жизнь мы должны бы поклониться Природе, сохранить дары ее и вернуть ей стократ взятое нами. И помыслы и умыслы наши, и сомнения и веру, и человеческую и звериную сущность нашу вкупе, и зло действительное и зло еще не осуществленное: все понимает и терпит Природа, трудясь неустанно, оплакивая нас и радуясь нашему бытию на земле. Чем ответим мы ей?

Глава 20

Находясь в стане-войске, Мудрец, невольно удивлялся тому, насколько лица этих природных скитальцев-кочевников отличны от тех, к которым он был привычен с детства. Отчуждение читалось в них. Но еще более поражала его их система понимания времени, как бесконечной и неисчислимой травы, имеющей только два состояния - зеленой и желтой: недолгого перехода от

времени красных маков до дней серебристого ковыля. Оттого сознание и понимание мира у них было простым и просторным. Природа, как тройственный союз: «земля - вода - небо» и включенный в нее беспокойный элемент-человек, воспринималась чем-то неизменным, а весна-лето-осень, являлись неким переменчивым эквивалентом-моделью жизни человека. Но всему, вкуче, имелось естественное продолжение-окончание: неизбежность зимы-смерти. Мудрец не мог не признать того, что это, пожалуй, было более естественно и приемлемо, чем понимание мира его народом, много более путаное, где гармония сосуществовала с хаосом-разрушением и была обречена на нескончаемые соединение-разрыв начал «темного-светлого», а противостояние «янь-инь» порождало больше сомнений, чем веры. И верховенство их правителя-воителя над народом-племенем (неоспоримое и обязательное) происходило, видимо, из кочевого образа жизни, как неразделимое бытование пастуха совместно с безымянным скотом. С лошадьми и овцами им было привычно жить с детства, а утвердившаяся в голове природная модель: «пастух - скот» предполагала, что и права правителя так же естественны и непреложны, а его верховная власть есть лишь другая форма: «властитель - народ». Оттого они, добровольно покоряясь своему правителю, завоевали столько стран, ибо имели такое простое устройство жизни и легко убивали людей, как режут скот. Также естественно шли они за своим правителем, как косяк коней за вожакон, бараны за козлом или вода по уклону.

...реки в реки перетекают... берега меняются-ширяются... ветры с ветрами перевиваются... летят из сфер лиловых-плотных в области синие-голубые-тонкие... солнцу легче стало небо переплывать... травы с травами сливаются-сплетаются-срастаются корнями... вяжут равнину с собой... человек к человеку ходит-не переходит... плачет девочка-луна... на земле все также неизменно и низменно... рознь, распри, распад, различия, расы...

Оттого и Воитель-властитель их имел привилегию думать о своем бессмертии, в то время, как для других имелись пределы жизни в слове «смерть». Даже на него, Мудреца, Воитель про-

изводил впечатление чего-то незыблемого-неотменимого-темного, что нельзя обойти-устранить. Из кладезя древних знаний своих, вынесенных из тьмы вечно-влажных джунглей, Мудрец извлек и такую мысль, что все линии на этой земле все равно пересекаются в одной точке, как бы их не проводить: вдоль или поперк, с юга на север и наоборот. Поэтому оборвется и линия жизни Воителя и всей его судьбы, и будет он забыт, подобно тому небольшому приключению, которое случилось несколько дней назад, когда передний вол упал, околев на ходу. Его оттащили, впрягли другого, и колымага с шатром, как колыхалась-скрипела-тащилась, так и продолжила это делать по инерции. Сама по себе она давно бы прекратила катиться, не уродуя - не беспокоя - не оскорбляя мир глубоких звуков визгом своих колес. Если б не люди... И волы безвольные...

Сыновья Воителя, находясь почти всегда при нем, и сейчас вели свои колонны в строю-шествии по правую и левую стороны. Воитель никогда не давал им длительных поручений, чтобы им (в удалении от него) не вошла в голову глупая мысль, вроде той, что пришел их срок править. Скоро, когда он сам по своей воле уйдет по дороге «второй жизни» и уединится навсегда в пещере-склепе, тогда лишь большой курултай решит: какой из листьев – сыновей-племянников оставить на ветке власти, обрубив вокруг прочие. Так было положено издревле по лествично-ветвенной-корневой традиции наследования. Племя хана и черное племя народа жили разными уложениями, и это несмешение кровей-корней являлось основным законом устойчивости народа-войска и отстояния хана от всех.

... первосадники ушли на закат... возвращались с востока, тоскуя о пепелище... о своем первоселении... кони высоки и светлы... всадники исполнены мудрости кочевья... долгого... перед ними вновь расстилалась девственная равнина дерзаний...

Воитель еще раз уверился, несмотря на все сомнения, что если по совету мудреца-оборванца он сам, еще живым, по собственной воле ступит за порог второй жизни, то останется для своего племени и завоеванного мира незыблемым - надвышним - необъяснимым, как Небо-Тенгри, и дело его не прекратит со-

вершаться. Мудрец же знал то, что на каждое время приходится свое количество зла. А этот правитель-воитель уже перешел свою меру-межу и его должно остановить. И потому Мудрец дал Воителю-властителю неопровергаемую малыми доводами простую идею. Эту идею Воитель принял, как бы самостоятельно, исподволь, но она крепко зашла-въелась ему в голову. В конце-концов, ведь Воитель по занятиям своим злостным и неправедным научился подчиняться логике сужающихся кругов, где всегда появляется-возникает воронка-выход-вывод: пора ли начинать войну, пора ли казнить или пришло время выпаса боевых коней и надо останавливать поход.

Трава степей уже просчитала ход времени и знала, что события созрели и им должно начать происходить. Вскоре, неминуемо, подступит и смена эпох, которая перечеркнет незначительное и мелкое, как песок, чередование обыденного с привычным. В таком летоисчислении находилось место и высшим знамениям звезд, и житейски понятному шествию маленького каравана лет. Двенадцать малых лет возглавляемых суетной крысой – неутомимой пожирательницей зерен-минут-промежутков и мгновений... А Воитель прожил уже семь раз по двенадцать и звезда его стала уходить за край звезд.

Был знак. Вестовые подскакали. Пали ниц перед шатром и Тем, кто в нем находился. Полог отодвинулся. С трех сторон, дотоле шедшее племя-народ остановилось. Понизилось уровнем. Склонилось. В тишине возникшей явственно прозвучало: - Место готово. Оно находится в семи днях хода. Яви волю свою. - Воитель устроил знак. Знающие поняли. Длинную внезапную весть понесли вперед вестовые... Оставлять за собой и вокруг «Того Места» заслоны. В три круга. Никому ничего не говорить о «Том Месте», куда пойдут. Никому не должно видеть «То Место». Смотреть-бдить во вне... Создать пустоту в головах... Полости в глазах... Войлочные заслоны в ушах... Запереться в клетки молчания... Три пальца... Один знак-приказ... Все времена года и жизни отменены... Зазвучали сигнальные роги... Шествие двинулось... Пришел срок исполнения воли... Воитель открыл ларец... Тот, что дал ему Мудрец... Великий Таинственный...

Отрешенный от страха... Давший ему отважную мысль уйти в последнее кочевье живым... В ларце травы... Сухие... Отмеренные долями... Надо принимать. Внутрь... Чтобы отрешиться... И принять, что должно...

... мы ушли, чтобы край равнины увидеть... посидеть в доме усталого солнца... вернуться вместе с ним однажды... в круг пепла входя, запоминайте... где тень ветра... впереди-позади или в стороне-сбоку... иначе останетесь в круге пепла навсегда...

В том месте, куда направилось шествие-стан, расширяя вокруг себя круги бдения и ограждения тайны, Мудрец ждал Воителя, которого для себя называл теперь «цветоедом». Ибо заметил, что все вокруг «устремленного в никуда», теряет свой естественный цвет. И объем. И естественную природную силу цвести и расти. Но в долгих беседах и умолчаниях Мудрецу удалось-таки склонить цветоеда-воителя к мысли уйти самому и не мешать жизни течь-продолжаться-изменяться. Он счел, что об этих двух-трех годах, потраченных на беседы с «поедателем цветов», не стоит жалеть. Но он - Мудрец, сохранил себя. Свою внутреннюю свободу. Он воздвиг заплот для тлетворного воздействия черных мыслей. Оградил их от сил белых. Творящих. Энергия же Воителя была направлена против жизни. Он вознес себя над людьми во имя ложного величия. Хотел разрушить гибкое и сложное течение жизни-времени. Но желания его были ничтожными, а деяния тленными. Лучше носить вериги, чем такое пустое величие.

Здесь в ущелье, в излучине гор, в пору подступающей осени, даже среди скального пространства царила такая роскошь-россыпь полутонов-полуцветий-оттенков, что даже ранняя весна или изобильное растениями лето его далекой родины за Гималаями не могли сравниться с утонченностью одеяний суровой природы этих полупустынных мест. Надобно только напрячь дух и зрение, омыть сердце и ум прозрачными потоками небес: и ты прозреешь к красоте. И эта красота неприметного-неброского казалась еще более великолепной-потаенной-роскошной после того, как Мудрец в последний раз тщательно осмотрел склеп-устройство-схрон пещерный, который он уготовил «воителю-цвето-

жору-властителю увядания» для его второй жизни-утаения-забвения вдали от людей и красоты. Коли тот не смог понять всей щедрости небесного даяния: своей первой пестрой человеческой жизни, упростив ее до черно-белых полос боев и сеч, которые при убыстренном чередовании становятся лишь серой пеленой, цвета той тяжелой ртути, которую уже залили в искусственные реки-озера в месте последнего уединения-упокоения Воителя. Место второй жизни воителя вскоре станет всего лишь кисло пахнущим болотом ртутным. Оно ждет хозяина-обитателя этой ртутной пустыни, а к нему – Мудрецу вернется тихая радость созерцания лотоса в сердце.

...гладиолусы любят олухов... лопухи и ландыши ладят ладью в камыши, чтобы встретиться с лилиями... тюльпаны бредят пегасами-тулпарами и мечтают о славе маков... розы утешаются тем, что ранят шипами росы, выпавшие на них доверчиво... цветок лотоса терпеливо ждет того, кто в нём восседет... где просветленные тьмой?...

Глава 21

Разное-пустячное-пестрое думалось Гевре в эти дни исхода века. ...Конечно, все может случиться с человеком. Как с пыльцой, унесенной ветром... То ли найдет венчик родственного цветка, то ли сгинет неизвестно где?.. А с городом?.. Разве нет?.. Как с Алма-Атой, в год противостояния черного быка с грядущим белым тигром, когда с гор пошел гигантский сель?.. Если бы не насыпь-плотина, которую сотворили направленным взрывом в верхнем створе ущелья Медео, могло случиться непоправимое... И та едва устояла перед тем селем-зверем неожиданным-свирепым...

Но есть еще один сель. Сель свободы. И если помнить, что свобода заложена в человеке с момента зачатия, то надо знать и о силе ее. Если кто-то захочет ограничить-сковать ее, то свобода прорвет все заплаты-оковы и станет грозной стихией. Селем станет она сокрушающим, потеряв красоту свою первоизданную-лег-

кую-радостную, чистоту своего естественного состояния-бытия в природе. А такое случается внезапно, особо, в год умаления-унижения и сокрушения сердца Белого Тигра, изгнанного из небес в снега декабрьские.

Необъяснимы и ужасны лики угнетенной свободы... Ярость тигра и буйство селя. Тигросель это, беспощадный к преграде любой. Будь то клетка или запрещение какое. Сель свободы снеголавинный, соединяясь с Белым Тигром, становится опасен и непредсказуем, и прольется тогда кровь людей... Такое случилось, однажды, в Алма-Ате, в середине зимы. В Декабре. И тот Сель Свободы, сокрушительный и сокрушающий, видел Старец-Кыс со снежного трона своего на вершинах гор Алта-Атау. Бесстрастно смотрел он на истечение Селя, вспоминая, как сражалась за волю свою отважная степная Амазонка с Серым Воином угнетения, дабы затем, в чужедальнем краю стать рекой дольней-широкой.

Декабриные то дела, горькие-гордые-незабвенные-гневные, на площади гулкой-холодной-сквозной, где Весть о свободе стала ветром-вепрем и смешала кровь людскую со снегом. Схватка воли с неволей свирепая... круги пепла и боли... Ожесточение-отчаяние-гнев... Сель свободы, сошедший до дождей откровения... Разве кто знает, что в те дни космический заяц не явился в чередѣ знаков Зодиака, укрывшись в просторах второго неба. И в календаре земном образовалась каверна-дыра. И ныне космический пес гоняется за тем зайцем пугливым...

А то, что деется в мире большом, с народами, странами и целыми континентами просто не поддается разумению... Будто надвигается колоссальный устрашающий геоцунами на всю планету... На всех людей, города, страны... И в чем причина, где пусковой механизм этого почти осязаемо-реального катастрофического бедствия?.. Есть ли от него защита или все может произойти по сюжетам библейским-апокалиптическим?.. Ведь завершается не только век, но и тысячелетие... Целая Эра Рыб уходит в океан времени... То ли божий промысел неверно понят нами и нет в нем места надежде?.. И есть ли промысел вообще, как собственно, и сам бог?..

...лонопадения-лонотрясения-лоноласкания-лонопарения простительны... возможны смех, гнев, проклятия... они естественны, пока не начнется восхождение на джомолунгмы-тенгри любви... недопустимо любое вредительство-членовредительство-венувредительство... предпочтительна сложность, она лучше лжи... лжесвидетельство-лжечувство-лжеслово... это злоецающая триада... лжеклятвы трекляты... всякое множество умалывается ложностью... мужеложество-женоложество... это худшая ложь... верх греховности-луноложество... ночь луноложества может навеки сомкнуть вежды звезд... дева упала в розь... потеряна брошь, но обретения её несметны...

И вообще... Что за жизнь пошла?.. Кто придумал этот дикий фарс-скетч, политическую вампуку?.. Этот безумный карнавал масок получил непомерно большой размах и вскоре люди обретут привычку скрывать свои лица... Откуда хлынул этот невообразимый сель перемен, принесший с собой столько невестественной грязи?.. Может ли человеческая природа выдержать такую лавину-стресс внезапных перемен всего и вся?.. Хорошо бы перемены, пусть и болезненные, но истинные... Но впечатление такое, что с экранов кинотеатров прямо на улицы сошел жестокий триллер в жанре «криминального чтива» и теперь тебе, обыкновенному обывателю, надо бежать, спасаться и невозможно понять: за кем правда, кто убийца, мафиози, маньяк, извращенец?.. Легкость жанра такова, что подростки берут оружие и стреляют в своих ровесников, родителей и случайных прохожих. словно нет границ меж иллюзией-игрой-сюжетом и реальным преступлением... Наивная девчонка выходит на улицу, чтобы примерить на себя роль «лолиты», а становится проституткой на панели... Это куклу можно ударить головой об стенку, проткнуть гвоздем, распотрошить... Жестоко, но допустимо, как идея снятия стресса или агрессии... А живого человека?.. Бедный Босх отдыхает... Его фантазии покинули плоскость полотна и вышли в наш трехмерный мир...

...ныне бредят брендами... бой-френдами... герл-френдами... боями боев... герлами герл... геи живут с чужими хренами... лесби с розовой феей-бьянкой... men and women обсуждают

свои различия, ищут формулу любви и спорят до хрипоты... а процесс-то уже необратим... идет в ином направлении, вопреки природе...

Священную корову свободы ведут на бойню... Режут, обдирают, жрут.. Свобода виртуального воображения и творчество иллюзий вторгается в жизнь и естественные линии-краски-образы превращаются в раны-кровь-боль и в реальных убийц-людоедов-изращенцев... С человека сдирают кожу, взрывают, потрошат... Оставляют на улице умирать... Реальный перформанс, инсталляция крови в стиле «бордо-барракуда»... Абсурд факта... Полиция документирует, репортеры снимают, мы смотрим... Что дальше?.. Иногда кажется, что политики – наследственные кроты... Они слепо роют свои ходы, целые системы тайных нор, создавая огромные полости под землей, по которой мы беспечно ходим... Им нет никакого дела до нас и некогда думать, что в результате их слепой деятельности люди, однажды могут провалиться в их невидимые пещеры-полости-норы, запутаться в густой паутине их интриг и погибнуть, или ввергнуться в пучину противостояний, войн, отчаяния, истребляя себе подобных под лозунгами написанными слепыми политиками-кротами, подрывателями земных ценностей... Геотеатр экономических интервенций, гуманитарная помощь в форме малых войн, обвинения ограбленных в ограблении, массовое людоедство бедных богатыми людьми в форме голодомора черных и цветных детишек отсталых континентов, тихий терроризм религий в форме догм-бомб, глобализм, как игнорирование простых человеческих ценностей и прав, схватка старых и новых цивилизаций во имя мифического лидерства, вытеснение добра красиво упакованным злом, совесть обручаемая насильно с пороком, любовь умирающая в СПИДе...

...кажется каждый день мир умирает... книги тоже... если бы не сердце, да глаза, да слёзы сквозь душу... хорошо, что глаза ещё видят... те, что внутри... от того всё видишь-понимаешь-плачешь... ничего... и от меня, однажды, уйдет невеста жизни... но свадьбы иные ещё впереди...

Чудовища из пещер политики. Звери из берлог мертвой души. Призраки из плоти и крови. Фантомы живых фантазий. Людоеды с ликами святых. Это не древние мифы о битве титанов с героями. Это смертельная нечеловеческая война людей с людьми. Не бога с дьяволом. Не лекарства с вирусом. Человек выгрызает из себя человека, пьет кровь другого человека, аннигилирует человечность в растворе техноцивилизационной кислоты.

Кто бы мог подумать? Даже такая авторитетная институция, как географическая карта, расплзается по швам. Надо ставить флажки-памятки, пока не издали новую... Две бывшие «германии» слились в одну. Флажок... Талибы саранчой заполонили Афганистан и ползут к границам Центральной Азии. Памятка... Какой мусульманский рай они хотят устроить среди ада руин статуй Будд в Бамиане? Вместо Югославии ставим несколько флажков сразу... В Тибете китайцы (красный флаг)... Далай-лама в изгнании (белые ленты печали)... Сохранить бы суверенность своей души... карту надежд-упований...

Об этом и разном другом думалось Гевре, когда на стройку, внезапно, приехал сам босс-Есеня и вызвал его. Пригласив Гевру в салон большого джипа, Есеня коротко проинформировал:

– Гевра. Я собственно попрощаться с тобой приехал. Ехать мне надо. На запад. Только тебе скажу. Тесть мой в большую игру ввязался. На днях, в Астане, стреляли в него. Слава аллаху, он только ранен, но двоих рядом положили. Это намек. Чтобы в демократию не играл по правилам. Надо уезжать. Там видно будет, а пока приходится сворачиваться, бизнес прятать. А это тебе. Спасибо. За многое – мало. Береги себя. Мы еще вернемся. Пока.

Когда Есеня так же внезапно уехал, как и появился. Гевра в укромном месте открыл конверт. Там было несколько тысяч «зелени». Такие деньги ему даже и присниться не могли.

...«гиппометрия» означает особый способ измерения расстояний и движущих сил в степях... проще говоря, единица измерения есть конь... например: если до места «М» от урочища «Ж» на хорошем коне скакать три дня, а на худом – четыре, то спрашивается: за какое время надо преодолеть это расстояние

на сивой кобыле?.. а?.. или вот: у энного авто 150 лошадиных сил... а у «Боинга» в десять раз больше, но нет нормальных дорог и взлетной полосы, то кто раньше доберется до пункта «Х»?.. не знаете?.. отвечаем... ишак, у которого только 0,5 «л.с.», но зато терпения много... можно привести и такую историю: если один мужчина любил женицину с мощью в 100 конских сил и фаллосов, а она ответила ему краткой взаимностью только в одну кобылью силу плюс вульву, то справедливо ли измерять любовь в тех самых лошадиных силах, исключая банальность вульвы?.. что за хрень такая? – воскликнет некто... пусть не торопится... иначе ему придется объяснить суть тонкой операции, когда жеребец-самец прыткий становится меринком медленным... признаем одно: всю эту гиппо-конь-лошадь-метрию придумали первовсадники-кочевники и она дошла до наших времен, как единица силы перемещения... здесь есть свои плюсы, как у метра, килограмма, но... кочующие изобретатели гиппометрии перенесли ее на плоскость истории и создали свой заповедный календарь, измеряя свое время в «конях»... это было ошибкой... как понять, когда родился их первый царь-хан-каган, если их устная летопись повествует примерно такую ахинею: он? т.е. хан возглавил нас после последнего года пешего века и повел нас в час «вечерней лошади» к священному колодцу-итокрене... так закончился «день первого коня», а наутро мы двинулись в поход и раздвинули свои границы, исполнились волей и стали править миром... именно так великие первовсадники-основатели гиппометрии выпали из скрижалей общей истории, а когда жалкие пешеходы изобрели порох, паровоз, автомобили и самолеты, то кочевники догнать новое время уже не смогли на своих конях... отстали сильно, а новые «впередидущие» перешли в эпоху иных измерений и скоростей... и ныне правы те, кто может точно и гордо утверждать: у нас «это» произошло в «год такой-то» до нашей эры или в «такой-то год» от рождества христового, т.е. новой эры... не поспоришь, но... но гиппометрия, как система мер и мыслей, все же проникла в современные метрополисы и мегаполисы из своих «травных ойкумен»... такова мощь лошадиных сил и конской тяги в наше время... однако, несмотря на всю

точность известных систем измерения люди и страны до сих пор не знают того, на каком расстоянии надо держаться друг от друга, дабы не обвинить кого-либо понапрасну в том, что «некий или некто» пересек границы дозволенного сближения или отчуждения, которая могла бы предотвратить распри-конфликты-войны из-за клочка земли, глотка воды, куска металла и лужи нефти?.. а?.. и чем измерить величину взаимных потерь от ноо-био-технокатастроф, имеющих планетарный масштаб... опять же, но теперь лишь гипотетически можно предположить, что кочевники со своими конскими мерами времени и жизни, т.е. гиппометрией посеяли хаос в старых таблицах человеческих ценностей и оттого цивилизация людская получила дуалистический символ-миф в виде кентавра-человекоконя... но что тогда есть правда и где причина наших бед?.. надо ли терпеть, пока кони доскачут, а люди доссорятся?.. время летит-грохочет конным галопом...

...И в какой-то момент он стал думать сентенциями, типа: зебра не хотела быть лошадью и стала полосатой... обезьяна устала лазать по деревьям и превратилась в человека... женщина разочаровалась в мужчине – появилась лесбиянка... а если человеку надоест быть самим собой?.. кем станет он?.. выбор широкий... где твои истинные единицы измерения, о человеке дивный?..

Ныне не можем в точности определить расстояние, на котором надобно держаться друг от друга даже в любви, не знаем сколько сил применить к тому-то и к кому-то, особенно, если это враг... Все приблизительно-относительно и потому-«бац»-случаются техно-био-катастрофы, а кони-лошади-то скачут и кое-кто делает на них ставки, и в случае проигрыша проклянут лошадь-коня невинных и их первородину – первозданную степь, вкупе с горами... исходя из этой «гиппо-тетрики» пора перейти на иные точные измерения, сделать поправки и найти ту точку отсчета, откуда все пошло наперекосяк... ведь, вероятно, и тротиловый эквивалент ядерных бомб измерен неверно, как и человеческий фактор влияния на геопроцессы, не говоря уже о взаимосвязях наоборот... очень не хочется из-за чьих-то ошибок

в гипно- и прочей – метрии проснуться наутро под завалами цивилизации...

Это надвигалось на Гевру неумолимо. Причина – исток этих хаотичных-хаомных мыслей находился во времени раньше. В момент своего возникновения «это безымянное нечто-оно» не имело цели, а просто росло-зрело-копилось до времени своего надвигания-нашествия. Пространство будущего еще не указало ему направления, а время поворачивалось медленно и не знало в какую сторону вести отсчет. Ничто вокруг не помогало определиться. Как будто в некую воронку уже влили густую смолу, но что именно она должна была сцепить-скрепить оставалось неизвестным. Сама постройка - объект не были еще явлены даже в помыслах и виденьях, а время застывания смолы, уже заливаемой и обреченной застыть, наступило. Но когда, как, где? С этого момента все то, что находилось снаружи воронки уже ощутило кружение-перемещение некой вязкой массы, стало притягиваться-сжиматься-сдвигаться (будто теснимое со всех сторон некой безвестной силой-энергией-тяготением) и стало вовлекаться во что-то безымянное, отошло от прежних точек притяжения и стало искать путь исхода в новое состояние-пространство-форму-субстанцию...

Звуки теряли скорость и природу свою. Наступила такая глухота-пустота, словно звуки уже взорвались и улетели с той сверхзвуковой скоростью, после которой и образуется пустота-глухота для человеческого слуха... круги-контуры неизведанного-безвестного... Что это такое и кто сие затеял?..

Давление неведомого нарастало. Это было похоже на особую капсулу-коллапс, которая вытесняя все прежнее, создавала вокруг себя пояс-кольцо-полую сферу нежданного и окончательного одиночества. Вместе с тем, параллельно закручивалась и некая воронка, куда необратимо-неостановимо вливалась, смоляная масса (возможно в ту самую капсулу, где он сейчас находится) и, стало быть, он будет навеки замурован тут, утерев способность двигаться, отчужденный от звуков и даже утеревший возможность хоть как-то противостоять этому неожиданному образованию вокруг него и в нем совсем другого мира и ве-

щества, будто он стал некой совсем уже бесплотной безымянной частицей-элементом, вовлеченным в непонятный ему процесс, которому он внутренне противился.

И тут им осозналось еще одно. Не только внешняя капсула-кокон образовывались вокруг него помимо его воли. Порожденная неведомыми силами-причинами, в нем самом появилась пустота-коллапс-холод, а от него осталась только оболочка-кожа, из которой вытеснилось и исчезло тело-скелет, и он сам теперь – «пустота в пустоте». Немыслимое шуршание-течение смоляной массы через незримую воронку приближалось - надвигалось... сейчас зальет-заполнит-застынет и не останется даже пустоты... и эта мысль о безысходности сотворила в нем внутреннюю энергию давления-сопротивления и стала уравнивать внешнее давление пространства на личную капсулу-оболочку. Эта новая сила равновоздействия на время остановила ток смоляной смертной массы: тупой-бесформенной-безгласной. Он почувствовал, что еще может изменить этот не им начатый процесс и найти выход, понять смысл своего противостояния полному отчуждению - изоляции от физического мира. Ведь должны же быть иные метафизические законы и причины существования его человеческого – «я», которые позволят не столь болезненно перейти в другое измерение-состояние. Возможно, он еще властен выбирать другую форму и иную сущность свою и принять ее по воле своей, как инвариант всего прошлого и бывшего с ним в этой жизни.

Теперь только он понимал, почему эта пустота и глухота, то и дело возникавшие вокруг него и в нем, подступали так медленно. Это была некая подготовка и всё его отчаяние-противление, бессилие и надежда была попыткой создания последнего бастиона, когда в остаточном-малом пространстве «пустоты в пустоте» он успеет выбрать свое истинное «я» - воплощение, для неостановимого подъема-движения по спирали бытия.

...Кто-то шепчет и шепчет, будто в ухе сидит: - Не ищите начала. Просто идите к концу. Где-то в пути поймете. Иначе остановитесь у края познания. Дальше безумие... Хаос... Земля лучше объяснит прорастанье зерна. Давно отгоревший огонь и холодная зола хранят образ сожженного дерева лучше, чем

свет, проясняющий тьму... Нет мужчины и женщины нет. Они - две росинки, стекающие по разным половинкам одного листа. Они расходятся по грани, воплощаясь в себя, чтобы на иной грани слиться опять. В одно - единое. В человека, идущего к себе с разных сторон. Каждый лист отдельно. Само дерево едино, хоть и растет противоречиво: корень вниз, а листья - вверх.. Первое во тьму, второе - в свет...

И неизвестно, где лучше обрести зренье. Прозренье. Ослепленье...

Найти бы Некого, придумавшего и, давшего такое развитие жизни, как всеобщий хаос?

Человеку дано будет мыслить обо всем этом в свое время, чтобы понять самоё-себя. Хотя, что проку в камне, если он знает о своем конце и станет песком. Песок слишком текуч и летуч. Слишком зависим от ветра. Двигается, куда подует ветер. У ветра много обличий - от дуновенья до урагана. Он творит тот же хаос.

Хороши пожалуй только все младенцы земные: зерно, зародыш, заря... Они растут...

А потом, пустота. Стихия, хаос, омертвление... Молчи, шептун окаянный. Червь могильный... Я сам перейду из плоти в тлен... И Гевра улыбнулся себе самому.

В пространстве второго неба ничего не изменилось, вроде бы, но... Гроссмейстер вибрирующих линий был встревожен странными сигналами, шедшими к нему с Земли и пытался разгадать их природу и назначение. В своем новом перерождении в качестве фиксирующего хаос Гроссмейстера, он никак не мог понять ни того, зачем ему шлют эти сигналы, ни другого (возможно, более важного): кто их посылает и отчего, именно, направляют ему – Гроссмейстеру, едва было обретшему покой и равновесие?

В состоянии этой неожиданной тревоги – вибрации он, вдруг, вспомнил лучшие свои годы в театре, в Алма-Ате... Да, ему было тогда хорошо, хотя где-то в отдалении шла большая война коммунистов с фашистами, японцев с американцами и, черт знает, кого еще с кем... В тот период Гроссмейстер написал около сотни

этюдов-пейзажей в масле, в центре большинства которых находился его любимый Театр с горчичными стенами. Он писал его и в окружении двух тихих тенистых сквериков, и с видом на снежные пики гор Алатау, на рассвете, днем и на закате, выписывал в красках все прилегающие к нему улицы, обсаженные тополями, карагачами, березами и неумолчно журчащими арыками вдоль них. Помнится, что он набросал и несколько сценических натюрмортов с аксессуарами, по краям которых невольно запечатлелись фрагменты кулис и задников, которые были написаны им самим, но совсем в другой, сюр-реальной фантастической манере... А в двух-трех (на его взгляд, лучших) из них, вне всякой связи с сюжетом того или иного балета, сидела его Лунная Красавица, на деле бывшая балериной театра. Тонкий абрис шеи, скул и носа, с особой горбинкой, напоминающей лезвие листика... Древняя степная стать и особая грация свободной духом женщины-амазонки... И глаза... Два полумесяца цвета чернослива. Тягучего-терпкого... О, тогда он был влюблен в нее, хотя она – Лунная Красавица – так и не узнала этого никогда. Даже в этих натюрмортах, выписанных реально и фактурно, до деталей каждой вещицы – аксессуара, она казалось существом совсем иного мира, столь легка была и столь неземна, что будто вовсе не он – Калмык, а некто другой поместил ее в центр натюрморта волшебной силой таких художественных приемов, которых никто дотоле не знал – не видел – не ведал... И на сцене она – Лунная Красавица умудрялась витать-витья-завиваться в движениях узорах, вопреки гравитации и даже правилам танца также чудесно, как воплощалась в его этюдах-натюрмортах, находясь в реальности и воображении, одновременно. Ну, да что об этом, коль то было давно в том дивно-яблонном граде... Впрочем, Гроссмейстер ни в той жизни, ни из этого второго неба так и не увидел, как порой смотрела на него, Калмыка, Лунная Красавица земными глазами женщины, помещая его сначала в центры своих зрачков, а потом совмещая – помещая его единый образ в алый алтарь сердца... И тут Гроссмейстер, вдруг, ощутил совсем иной теплый сигнал из того незабвенного града и не мог еще знать, т.е. в точности, до источника-человека, что сигнал исходит от Балерины и Гевры,

плавающих в томлениях-сомнениях любви, из того самого града, который когда-то покинул художник Калмык... О, линии-вибрации из времени во время...

Глава 22

Мать Бастарда в тревоге проснулась. Ознобное похмелье трясло её. В траве, у ограды все время что-то шебуршало (шебуршанье прекратилось, как только она подошла). Она посмотрела из угла двора на свой дом. Когда-то вполне рядовой саманный дом среди таких же в этом селе (в три окна, кухонная пристройка), он ныне весь оплыл, утерьял форму и почти ничем не отличался от сарая в другом конце двора, выходящего неогражденной стороной в поля и предгорья. Среди двух-трех (всегда скучных и простых) мыслей в голове у нее мелькнула и эта:

– Старею. Чего это жизнь мне не задалась? А началась хорошо. Отец с рождением моего первенца, вот этот дом отдельно выстроил. Не посмотрел, что прижила малыша от того простуженного-ясноглазого. Одна я у отца была. Баловал. А потом это случилось. Молния, пожар. И сгорели они с матерью. В старом доме. Даже проснуться не успели... А потом пошло. Что во мне такого, что мужиков тянуло на меня? И с не чистыми чувствами, как у других, а липкими какими-то. Надо бы задуматься, остановиться. Нет, понесло меня по течению. Один-другой... И от каждого-ребенок. Только народится малыш, а отец его уже и намылился. А мне растить. Однако ничего. Улыбалась, путалась, рожала... И так по кругу. Что я, виноватая что ли? Может совсем глупа, а может, кто сглазил? Жены да родичи мужиков моих, верно. Все путные у них, одна я беспутка-проститутка вроде. Подстилка и бурена-тёлка. Как только не прозывали меня. А мне что? Бог видать распорядился так. Но я ж силком не тащила к себе. Сами липли. Меня похвали, как отец-покойник, я и готова тесто месить, стол накрывать да постель стелить. А что потом? Надорвалась, видно, и не заметила, что оплыла, как дом этот. Пить пью, как все, только слаба я на это дело, да на передок.

Чего врать-то себе. Одна радость-сладость. Выпить и забыть вчерашнее. А там хоть пропади все пропадом. Кроме детей. Теперь одни ушли, выросли. Двоих младших забрали от меня. Они теперь в интернате. На государстве. Вот средний, самый умный, вроде вернулся. А мне страшно отчего-то. Будто другой он. Не тот, каким здесь рос. Он ведь тоже, сирота. Да с детских лет его обзывают прижитым ублюдком-бастардом. Вот и стал злым и стылым. Особо после того случая с ягненком-кошкарком несчастным. Мне-то что. Не выбирать. Судьба значит. А он-сын, похоже, и есть мне расплата. Но ведь хорошая я была. Когда-то...

... в творительном надежде надежды жизнь творит жизнь... по-разному... можно вегетативно или спорадически спорами... визуально... теоретически, т.е. аморально... допускается клонами... один повторил другого.. точь в точь... микроб в микрон... мимикрия среднего под себя самого... но лучше открыто, как встарь... эрекция-оргазм-овуляция... неповторимо...

На другой день, после того как он завершил головокружительно-захватывающую охоту еще на одну «пухленькую-глазастую», Людоед сидел за вечерним столом и угощал непривычно-притихшую мать «мантами» своего изготовления, шутя приговаривая при этом:

– Ешь, на вот. Кормила-кормила ты меня, а теперь я тебя угощу, пожалуй. Вкусно? То-то. Небось вовсе без меня отучилась от нормальной «человечьей» еды, а?

И было в глазах и интонациях сына такое, что мать ела эти «манты» с бледным мясом, хорошо приправленным травами да перцем и казалось ей, что будто вся ее вина перед сыном обратилась в эту странную на вкус еду и она через силу глотала, не жуя почти, а внутри, в сердце лились длинные потаенные слезы, и понимала-догадывалась она, что всей ее вины перед ним и другими детьми теперь есть-не переест... И всегда будет эта возвратная еда тяжелой и горькой от слез, льющихся внутрь, пока сухие глаза ее снаружи лишь взмаргивают судорожно, едва сын потянется за новой порцией этих «мант». Людоед в этот момент смотрел в никуда и ел «свои манты» меланхолично-отстраненно, внутренние отслеживая малейшие подробности вчерашней охо-

ты. Удовлетворенное хищное чувство его постепенно превращалось в холодную злость на подступающую скуку и пустоту, а оробевшая мать (на которой он, вот таким образом, решил отвести досаду и выместить на ней ею же нанесенные унижения) уже не казалась ему столь уж виноватой, а было просто жаль ее до скрежета в зубах.

Людоед вышел в ночь, во двор, полез на крышу сарая, где подстелил себе сена и бросил старое (из детства еще) одеяло, опрокинулся на спину и стал смотреть на полую-полную луну, тихо скользившую меж гонимых невидимым ветром облаков, и луна причудилась ему огромной одинокой слезой, медленно вытекающей из огромного черного глаза неведомого небесного гиганта-самца, смотрящего из чащи звездной на это бедное селение внизу с мелкими людьми-зверьями-деревьями-речкой, и на странного человека, лежащего навзничь, которого трясло крупной ознобной дрожью. И тень ветра набегала на поселения земли.

– Ах, мать, – додумывал уже дремлющий Людоед: – Что ж ты сделала такое со мной, мальчиком твоим? Кто теперь я, если и сказать никому не могу, во что превратился. Со стороны вижу все ясно, а вот изменить в себе ничего не могу и не волен над тем, что овладело мной. Ведь и я мог беспечно говорить с творцом радуг и проникнуться песней птички, которая много лет назад, вот на том же дереве выклевывала из листьев капельки росы на рассвете. А теперь тяжел я и беспросветен, и вся красота эта мимо меня уходит, а мне и возвращаться некуда. Оттуда, где я, не возвращаются...

А некая душа тонкая-наивная уплывала в этот момент в потемках по струям горного ручья вверх, к вершинам белеющим смутно и будто исповедовалась кому:

– А ничего и не было, кажется. Забыла просто в последний момент мамы слова о том, что если на мужчину незнакомого смотришь, а тебе писать хочется, то уходи от него сразу, не заговаривай. А я вот как раз и забыла в нужную минуту. Вчера, под вечер, сошла с автобуса и решила к поселку через поле пойти, наискосок от рожицы. Такая тишина стояла, ветер с гор, а

он тут, как тут, вдруг. Мне сразу писать захотелось, а он уже заговорил... Глазами вижу: с лица ладный, руки сильные и голос такой мягкий, каким дяденьки по радио сказки на ночь рассказывают. – Вон, трава какая красивая. – (говорит) – под кустом. Сядешь на нее и полетишь.

И заговорил меня, и я села, и дальше... Из шеи моей кровь пил, а я как во сне и...лечу вроде и все понимаю, а сделать ничего не могу. ...Мама, забыла я про слова твои. Прости... Ты не думай ничего такого. Не мертвая я. Вот летаю и вернусь и все делать буду, как ты учила. И папе скажи, пусть не ругает. У меня подарочек есть для него, потом скажу...

Во сне уже, Людоед увидел как из него вытекла какая-то противная «фья», липкая, похожая на патоку, в общем, мерзкая, вязкая, со слабым запахом тленья. И он весь содрогнулся от отращения к себе и к той, на которую «фья» эта капала.

И в этой же ночи заплаканная мать убитой шептала в себе: ... мой ребенок уходил долго и больно, словно некто хотел, чтобы эта длинная жестокая боль отбила в ней желание жить дальше, дышать и думать... этого не могла я предвидеть, предчувствовать... почему обстоятельства бестелесные и заслоны мира каменные сошлись таким образом, что в часы мук и несметного отчаяния моей девочки, я была далеко и отчего-то беспечна, верней, безмысленно жила в тот миг, как животное: ела, пила, слушала движение крови и соков в теле, радовалась существованию всей цельности моей плоти, сотворённой капризом и волей природы, вне границ и влияния всякой мысли людской, в то время, как дочь мою уже мучил «тот» неимянный, ужасный, глухо-слепо-немой к голосу иного человека, весь из древнего, мертвого льда и холода всех зим и буранов, и окаменевших в дикой своей первобытности мыслей-инстинктов (если им найти название-прозвание-обозначение, то все матери враз бы поседели, услышав и поняв такое, вне поля жизни)??? о, я находилась бесконечно далеко от моего ребеночка-ангела в миг ее мучительного исхода из пространства надежд и тепла... помню только, как в грубом холщовом мешке моего тогдашнего сознания - бытования, вдруг прильнуло ко мне облако света, словно искало последней защиты

у моей непроницаемой души и плоти, желая будто намекнуть мне, что ждет дочь мою... необратимо... дальше облако слало мне пучки мыслей-умолений, будто хотело обратить ход времени вспять, чтобы я, ее мать не обманулась беспечностью того момента... о, лучше бы я тогда – давно плоть свою укротила и не зачала ее – моего ребенка, остановила упрямого отца - мужа, ибо не вовремя, не в час и срок свой зачали мы дочь нашу и лучше было б зачатся и сотвориться-родиться ей позже и, стало быть, удалось бы ей разминуться с «тем», кто выпил кровь ее молодую из вены на шее, сделал с ней непотребно-жестокое совокупление и неуступно глядел ей в глаза своими студенистыми, из чернильной мглы глазами, будто хотел подсмотреть, как душа ее отлетает в тот самый момент, когда извергается в нее холодное ледяное семя изверга-каннибала...

...на бесконечно-ледяном панцире Арктики, к окошку полыньи-проталины, из глубины родного океана выплывал тюлененок, гладкий и чистый комочек снежной-водной-упрямой жизни, не зная, не ведая, что на краю полыньи ждет его, стережет голодный белый медведь матерый, и что до мгновения, когда он увидит свет полярного дня и глотнет обжигающе-свежий глоток воздуха, до мига, в который вонзятся в него клыки зверя могучего, состоящего из тонны инстинкта и ненасытности, осталось всего лишь два кратких мига... мать-тюлениха не успела остановить его шалость-выплыв из полыньи, и теперь не может она уже ничего изменить... писк, рык... и алая кровь плеснула на снег, сотворяя яркий сюр-натюрморт, но глаза медведя матерого остались темны и холодны к хрустально-красному маку жизни, вспыхнувшему на ледяном панцире арктического ландшафта...

... легкое облако света испустила девочка та из себя на самом краю жизни, когда поняла неотвратимость этой встречи с болью и ужасом и мыслью о невозможности спастись. И её облако медленно клубилось-менялось-темнело-сливалось с ночью... И маму было жаль, особенно, ту стенающую мать, что узнает обо всем много позже, измочалившись в душной парилке бессоницы... и потому она напряглась вся в последний миг, что-

бы послать ей на прощанье свет-облако, прильнуть к ней, как в детстве, хотя бы вот таким образом, чистыми лучами света... хотела проникнуть еще дальше, в теплый живот матери, пытаясь заново войти, в дом тела, где всегда было уютно и безопасно и никто не мог помешать ей-эмбриону-плоти безгласной общаться с матерью через пуповину, слышать и видеть мир ее глазами, смеяться смехом ее, есть и говорить ее ртом, и губами материнскими ощущать веянье ветра... но уже, видно (тогда еще) эмбрионом-девочкой собирала она внезапные капельки слез, соленую радость и боль грядущей своей, короткой жизни... и будучи уже лишь облаком света, хотелось ей вернуться опять, в материнскую яйцеклетку бездумную, напрячься вместе с ней и оборониться, не пропустить семя отца до срока и тем переменить судьбу свою... а теперь?.. кто узнает ее без груди, без икр и бедер, вырезаемых из нее «тем», кто возится с нею сейчас, в кустах, в этой внезапно обмершей и осыпающейся листьями зеленой рожице, среди весны густой-яркой... кто?.. и последнюю капельку света она оставила в себе, для себя... для смерти..

Плачущая луна зашла за тучу, словно хотела отдать-передать ей свои слезы и боль, ибо не могла видеть, как один из ее безумных лунных сыновей-лунатиков вздрагивал и корчился в своем страшном земном сне.

...меня околдовали чем-то из мрака, будто зверя в пещере предсмертья, и я возопил безмолвно от ужаса и поднялся-отчалил в восторг от неземного моего состояния на грани постжизни (разве может такое случиться в обыденной жизни?)... дым цветной повалил... в клубах его явилась дева с сияющими чреслами-ягодами сосков и медом по телу... вместо глаз леденили сердце два зеленых агата из плазмы... в камне невесомых стен появились лица... медленно двигались губы, но слова оставались в трещине рта... что-то мешало им выйти из камня и помочь мне в ужасе моем стыллом, как студень, сне... у ног клубился дым... дева все приближалась... дурман лез в голову и стал ее кружить-отделять от тела... казалось моей голове (или виделось сознанием со стороны), что дева та овладевала телом моим дымным... шептала что-то видно, и показывала нечто

только фаллосу моему, который доверчиво потянулся к ней, поднимаясь... откуда-то явились звуки звонные-тугие и мысли мои по нитям тех звуков притянулись к стенам пещеры и стали растворяться-водворяться в камень среди тех ликов, что шептали слова из камня... из трещин рта... втягивая меня в зев безвестного мифа о человеке пещеры... в этот рапидный миг голова моя отделилась от тела... дева наслаждаясь моим безмолвным и, стало быть, безмозглым, и все еще вздыбленным фаллосом, сотворила некий таинственно-бесстыдный жест-повеление... тело мое в облаке дыма стало подплывать к голове, наполовину вошедшей в камень пещеры и срослось с телом заново, передавая по возрожденным венам все еще неостывшие от возбуждения эротические ощущения голове для осмысления... облако дыма, войдя в плоть камня, изменило дивным образом его холодную плотность и в этом месте образовался свой сияющий мирок... меня, вновь сращённого в голову-тело, посетила вдохновенная невесомость... в кратком борении-переходе из состояния в состояние я увидел себя золотым младенцем на спине коня, чья спина имела вид колыбели... конь тот вынес меня в море травы, в котором колыхалось сердце мое... облако-дым продолжал клубиться в каменной плоти пещерной невесомой стены... дева-женщина, источая из себя вождеделение, вдруг запела сиренным голосом, достигавшим оргиастических нот... она оглаживала руками живот и бедра свои... казалось мне, что звук исходил из промежуности, а едва видный вход в лоно отчего-то был, одновременно, входом в эту самую пещеру, заросшую мхом... все это видел я из зеленого луга, куда вынес меня «конь-колыбель» в облаке дыма, из той самой пещеры, где я чуть-было не обратился в плоское изваяние, среди прочих там бывших... младенец, которым я стал в этих волшебных скитаниях, беспечно смеялся и рвал цветы среди трав, а взгляд его был чист и мудр, как у старца... где-то пела домбра-кифара, в тонком теле которой растворилась та странная женщина – дева... страх исчез, а младенец, купаясь в траве и вдыхая запахи пространства, стал возрастать к жизни своей из пещеры и зверя в себе... О, если бы так... но ветер низинный-низменный утянул меня обратно в пе-

*щеру и в зверя вновь обратил... людоедного-хищного-темного...
гиблосавр я ныне...*

Глава 23

Кто бы мог подумать, что этот обыкновенный вечер может, вдруг, умереть-сгинуть-испариться сразу, после полудня, и внезапно придет-обрушится крошечная ночь без звезд и луны. Едва только Воитель вошел в запретные для прочих врата подземного дворца-погребения-обиталища своего, для второй жизни, как вечер за его спиной умер и закрыл за ним двери-границу в прежнее и память о месте его последнего затворения. Так исполнилось главное условие босоного Мудреца, испросившего у Воителя жизнь людей, строивших это огромное погребение-храм на сретеньи гор и пустыни в обмен на его «вторую жизнь». Мудрец обещал Воителю, что сотрет из жизни строивших склеп память об этом дне и «Месте». И Воитель поверил ему.

Схрон-склеп уединения Воителя от суеты был построен-изваян в скальном массиве. Под просторными сводами искусные мастера сотворили уменьшенную копию завоеванного им мира, с реками и озерами из ртути, горами из серебра, лесами-долинами из малахита, дворцами и домами из ценного дерева каменной твердости, где были размещены все обиходные вещи.

Свет струился по скальным стенам из какой-то невидимой наклонной щели вверху-высоко, а здесь – внизу – мерцали серо-сизые сумерки и стояла безмерная тяжкая тишина. Искусно сотворенный мир, словно для слепо-немо-глухорожденных... Воитель долго блуждал по копии своей империи, которой он повелевал еще недавно. Снаружи этого пещерного пространства, без людей, света и живых звуков, остался подлинный мир, а этот скорее являлся издевательским символом, карикатурой трудов и деяний Воителя, который осмотрев свой «мир», наконец, набрел на огромное ложе из дерева и золота и возлег на него. Теперь ему осталось, разве что, размышлять о жизни своей. Первой и «второй».

При первой жизни Воитель так долго убивал-гасил-уничтожал-подавлял в себе нормальные человеческие чувства, что стал равнодушным, как ртуть, разлитая по искусственным озерам. Сейчас он ничего не чувствовал, кроме, пожалуй, мысленных модулей чувств и одной из таких модулей была, как ни странно, тоска-скучение по тем самым людям, которых он ранее презирал, как червей и всякую другую ползучую-скользкую-слизную живность.

Из почти забытого напрочь детства, всегда помнился только один день, из многих беглых-тяжких дней. Он вспоминал, как после одного дикого, полного криков и огня, набега на стойбище-стан его отца (погибшего тогда же, в той стремительной резне, устроенной кочевыми разбойниками из сухой каменной пустыни), мать вывела испуганных детей, а среди них и его, в густозаросший овраг и несколько дней таилась там вместе с ними.

Когда они вернулись к разграбленному пепелищу-стойбищу, чтобы собрать хоть что-то из пожитков и обиходных вещей он – Воитель (еще ребенок восьми-десяти, кажется, лет), внезапно, запнулся и упал рядом с трупом своего мертвого отца, и увидел прямо перед глазами своими мессиво кишаших (в кишках убитого) могильных жирных червей. Он дико вскрикнул – вскочил-побежал, но тот кишаший кошмар-зрелище скользких-слизных червей в багровой чаше вспоротого живота забыть никогда так и не смог. Вот почему он – Воитель, в конце-концов, согласился с круглоглазым худым мудрецом и повелел выстроить этот склеп-храм-копию своей империи, чтобы там начать свою «вторую жизнь». Без червей могильных в нем, которые как уверял мудрец, не размножаются в парах ртути.

Он привстал на ложе и стал рассматривать те старые памятные вещи, что остались от давно разоренного родового стана и которые он хранил в течение всей своей беспокойной жизни, чтобы в нем всегда тлел раскаленный уголек мести и жажда возмездия за утерянную радость детства. Дух возмездия вел его по дорогам испытаний, не давая покоя даже во сне, давал силу его длинной ужасной воле, оправдывал все его дела - деяния, для которых и слов-то человеческих не находилось. Когда, однажды,

уже в молодости, он с ватагой сподвижников, подобных ему, внезапно налетел-обрушился на племя тех разбойников из каменной пустыни, разоривших его родовое гнездо-становье (сделал он это ранней зимой и подкрался с восточной, не дозорной, стороны), то вырезал всех без пощады и оставил, на время, в живых только вожака-предводителя с женой и детьми. Всю долгую опасную дорогу через пустыню камней и снежных ветров Воитель и его ватага, на каждом привале, как баранов, поочередно резали и ели членов семьи предводителя разбойников, в вареном и жареном виде, пока отец и муж их, в конце-концов, не сошел с ума, пуская слюни и мочась-испражняясь под себя, как животное. Тогда он вспорол вожаку разбойников брюхо так, чтобы тот остался еще живым и оставил его умирать, представляя, как того доедают мерзкие черви трупные. Вот с той-то ватагой головорезов-убийц, связанной клятвой-сговором-умолчанием того мерзкого людоедства и отправился потом Воитель покорять иные племена и народы, будто они были в чем-то повинны перед ним. Он хотел сделать мир безопасным для себя, ибо страх был единственным человеческим чувством, которое он испытал и оно жило в нем со времени того набега на его родовое стойбище.

Воитель встал, открыл одну из золотых чаш, разжевал смесь трав, сделанных по рецепту мудреца и запил крепким напитком, тоже специально приготовленным для него. По пакетику трав и по кувшинчику в день. По словам-уверениям мудреца, лохматого-космоволосого, таким образом Воитель избавится вскоре от потребности есть и пить, очистится для «второй жизни» и прозрится мыслью о пище вечной жизни. Что тут было мистикой, что истиной - понять было нелегко, но Мудрец умел внушать своим негромким голосом и кротким взглядом. И Воитель поверил, так как по гороскопу, составленному китайскими астрологами и тем же Мудрецом выходило (делали они это порознь и сговора быть не могло меж ними), что скоро дни его земные кончатся и тогда его неминуемо настигнет Великий Червь Могильный, а этого Воитель боялся больше смерти. И только, окончательно внушившись этой мыслью, Воитель отдал повеление выстроить это каменное убежище для второй жизни. Так он хотел избавить-

ся от страха, который неумолимо преследовал и угнетал дух его. И лишь теперь, здесь, в удалении от суеты земного мира Воитель понял, как утомился он от дел правления и возмездия. От этой мысли он стал успокаиваться, возлег на ложе и, наконец, уснул. Если бы Воитель знал, как был он искусно обманут Мудрецом, который навсегда изгнал Воителя из жизни людей, избавив мир от столь кровавого устройства.

Но Мудрец все же не совсем обманул Воителя. Память о жестоком властителе осталась надолго в мире живых, ибо зло и даже тень зла помнятся дольше, чем доброе дело...

В неизъяснимой тишине - безмолвии - незвучии каменного склепа - скрадища витало нечто невидимое глазом, умом необъемное, неулавливаемое ухом... и сумерки были недвижны, как ртуть в руслах этих мертвых подобий синих озер и белых вечнотекущих вод на земле... здесь сосредоточилось и будто собралось воедино всё, что противостоит жизни и ее звучному-сияющему-полнокровному-самотворящемуся совершенству повседневного бытия.

Глава 24

Казалось, некий ветер хочет выдуть из города его исконную доброту. И это больше, чем что-либо пугало Гевру. Пугало его и то, что город терял свое прежнее лицо. Уверенность, несуетность – то были стержень и каркас его внутреннего устройства, но жизнь стала расшатывать этот город у пёстрых гор. Изрядно стало шатать и его самого, пуповинной души сросшегося с городом.

Самое обидное было в том, что к нему не возвращался его прежний ясный ум инженера, умение видеть сквозь цифры-формулы, а в линиях-наложениях чертежей прочесть контур будущего здания или строения. Куда-то пропал-исчез профессиональный навык составления экономного точного плана стройки, от нулевого цикла до завершения. Это относилось и к нему самому, и к его жизни, где царила ныне Балерина (удача и дар неохватный

умом). Надо было определиться и найти стабильную работу, а не мочалиться от случая к случаю, как сейчас. И неважно, что многие, как и он, вывалились из былого-привычного. Да, лодку сильно качнуло и накренило, и ты оказался за бортом, но плыть-то-выплывать надо самому. Тем более, что в отличие от других, у него есть маяк – жена Балерина. Тщательно обдумывая своё положение, Гевра отверг мысль начинать даже малое торговое дело без денег и связей. Слишком много было риска потерять доброе имя и тем самым вычеркнуть себя, как человека порядочного, прежде всего, в глазах жены. Тогда всему конец. Ловчить и мошенничать он не умел. Значит, надо внимательно и напряженно всматриваться в новую действительность и поймать свою волну. И Гевра ни на миг не расслаблялся, ожидая этой волны.

... и такое бывает: сочиняешь за небо и за тебя, моя милая, два молчания наших пытаюсь воплотить в слово живое, полное памяти о нас и любви... вотще и воочию, на деле, как есть... в молчании всю ночь проведешь и очнешься, как сейчас, в 6.00, в декабре, в столбняке... в утро солнцезатмения зимнего в надежде, что день и впрямь чуть прибавится, а рассветы отныне станут светлей и теплей... милая, больше некому мне это сказать, но коли дано мне природное право говорить (кому захочу) то, что больше нельзя держать взаперти... слово в себе... а оно свободы просит, будто живое существо... то повторю... коли дано мне уменье-мученье-морока изустно писать за тебя, за небо и земные начала, то я напишу... слово мое немное-изустное-неизъяснимое это все, что осталось мне в утешенье...

Театр всё ещё не отпускал Балерину. Вот уже четвертый год он находился на ремонте. Распотрошенный изнутри, изломанный, пустой и тёмный. Зрительный зал стал провалом-зиянием. Без кресел, люстр, без зрителя. Сцену разобрали. Теперь она перестала быть местом вещания и демонстрации красоты, сияющим горизонтом меж обыденным и высоким. Черная яма под ней была безобразна, а над ней, вместо колосников, гулко стояла бездна – пустота вверху. Театр молча взывал, но дух его ещё не пал. Он ждал перемен.

На Балерину порой, внезапно, находили наваждения-страхи

и её не отпускала нутряная тревога. И всё это исходило от Театра, словно он посылал ей сигналы. Иногда, среди ночи, Балерине казалось, что она опаздывает на спектакль. Вот-вот пойдет занавес, в полутемном зале притихли зрители, вся труппа ждёт за кулисами, а она ещё далеко и уже не успевает к выходу... А-а-а!... И Балерина выскакивала со стоном из сна-наваждения. Испуганно-встревожено смотрел на неё Гевра, спросонья догадываясь о тайных причинах ночного пробуждения Балерины. Он молча и осторожно поглаживал её влажные распущенные во сне волосы. Балерина вновь впадала в дрёму, но ей опять виделось, что занавес пошел, а в оркестровой яме нет ни одного музыканта. Нет музыки?! Было ещё два-три варианта этого кошмара: прелюдия та же, но нет на сцене труппы и, самое страшное – нет зрителя?! И тогда поутру, чтобы успокоиться, Балерина шла знакомой дорогой к Театру, облегченно вздыхала, увидев его горчичный фасад, два неизменных сквера по сторонам, будто сторожившие это молчаливое, медное на закате, здание. Но что-то ей подсказывало изнутри и откуда-то извне, из дальней дали: Театр борется, ибо не может смириться с пустотой в своих стенах и скоро наступят перемены. Балерина присаживалась в скверике, со стороны своей бывшей гримерки и шептала Театру: - Ничего, родной, потерпи. Я здесь, я рядом, и ты всегда во мне. Я молюсь о тебе, и ты восстанешь.

А ветер все дул, но и Гевра искал укрепление в себе. Стоять, думать, идти... Устраненность. Удаление от себя, чтобы лучше понять, кто ты сейчас есть. Скажем, формально у тебя все хорошо. В смысле здоров, не голоден. И верная женщина есть. Но все же. Если взять некий длинный киноплан в духе Тарковского и поставить себя в самый уголок кадра. Что это будет? Так себе. Часть пейзажа, общего замысла. Чуть сдвинь камеру и тебя... нет, а пейзаж - план все тот же...

В пристройке-трехстенке его ждала «плашка». Большая. Метр на полтора. Недавно, когда спиливали старый белый тополь (расчищали место для нового вольера) Гевра попросил парней отдать ему нижнюю толстую часть ствола и распилить вдоль. Получилось пять плашек, толщиной по 20 см. Одна из

них и ждала его. Пару недель прошло, как задумал он сделать деревянное панно в технике горельефа, с естественной рамой из того же куска тополя. Раму-то он уже подрубил-вырезал. Заодно и плоть тополя - дерева попробовал на взрез. Хорошо плашка резалась, и фактура крепкая. Без изъяна. Наверное, лет 200 было тополю. Гигант. Но картинка никак не проступала. Он несколько раз в день обхаживал плашку, простукивал, нюхал даже. Но пока ничего не видел. Хоть тресни.

...Или вот другой киноплан. В комнате, в городской пятиэтажке сидит мечтатель-навигатор. Он, много лет назад, запал на мечту совершить кругосветку. Как Джеймс Кук. Хоть один раз, но высадиться на берег Миклухо-Маклая. У него на полстены карта. Географическая. Со всеми невероятными, никогда им не виденными странами, океанами, островами. Маршрут он уже проложил. От Архангельска, через северные моря, далее пролив Ла-Манш (привет англосаксам-викингам), дальше через Атлантику, потом спускаемся вниз, вдоль Южной Америки (обязательно остановиться в устье Амазонки), затем обогнуть мыс Горн и, тихо-тихо, поплыть через Тихий океан, мимо Пасхи, далее Новая Зеландия, берег Маклая и непременно, Японию навестить, а якорь бросить во Владивостоке. Вот если бы у мечтателя-навигатора деньги были и ноги ходили нормально (родовая спинальная травма у него, сидит в кресле-каталке), то можно было бы все ощутить и увидеть руками-глазами-сердцем... но он смотрит на карту... и только... и все же «Индевр» плывет... мечта-упоенье-упование...

Гевра пребывал в недоумении. Эта временная разлука с Балериной вновь вернула ему боль одиночества, но одновременно открылась пугающая пустота и он потерял опору-ориентацию. Даже его любимая женщина иногда казалась ему сном, каким уже давно стали его первая жена и сын... Нет. Надо все же пробиться в дерево, в «плашку». Он слой за слоем снимал стружки тополиные-длинные, а с себя наросты скверных и слабых мыслей. Они мешали ему увидеть «картинку». Увидеть, а потом уже снимать лишние верхние слои и вырезать то, что этот тополь хранил-таил-растил в себе столько лет. Обходя, по службе,

зоопарк Гевра иногда думал, какими представляют звери-птицы всех этих шумных, любопытных людей, которые ежедневно ялятся на них. Он уже знал, что звери в своем одиночестве, когда посетители уходят, становятся совсем другими. Смотрят больше в себя, в свою древность и в природу, где они когда-то появились. Тоска зверей по первородной их жизни имела сходство и с его глубинной тоской, и он любил иногда тихо присесть у какой-нибудь клетки или вольера так, чтобы зверь совсем забыл о нем и перестал замечать. Гевра в такие часы пытался слить-совместить свою человечью тоску о неведомом «некогда» с их звериной тоской о первобытном. Он представлял порой, как его душа переселилась вот в этого пятнистого оленя, осторожно раздувающего ноздри, в то время, как глаза его увязли в глубокой-длинной-оленьей печали. Как перенять у этого самца умение недвижимого стояния и мгновенного перехода в движение - скок, едва спугнешь его. Или, скажем, стать хамелеоном с его гениальной способностью принимать цвет и фактуру ветки-листвы и увидеть мир через фокус его глаз, живущих как бы самостоятельно от хозяина.

Внезапно, то ли из глаз пятнистого оленя и его печалей наплыл на Гевру день, когда он провожал Калерию и сына своего Раля на тот роковой самолет, который развалился едва взлетев, и ему показалось, что в последнюю минуту жена и сын смотрели на него, именно такими, оленьими глазами, будто из другого мира, в который они уйдут навсегда. Через несколько минут... Он был благодарен им, что они стали теперь для него вот такой спокойной глубокой печалью и гуляют сейчас в своих занебесных альпийских вечносвежих лугах, среди добрых вдумчивых гор.

... нет ничего мне кроме тебя и нигде в окомах и в безднах, в земле и в отдаленях небесных, и в пустотах, где душе не поется, и в подземелиях тоже, родная моя, куда свергнут меня, возможно, за святотатство сомнения в высшем промысле... а в узлицах пахнет скверно и взор оскорбляется безобразием тлена, будто болезнью, подобной проказе... но и там, в отчуждении, если увижу-почувствую-выведу синие ноты-строки чернилами или в отсутствии их высеку петроглифы дивные

в пещерах тоски, или втисну в бумагу белую рассказ о тебе... возможно тогда, я детство прозрею твое у реки, на песке... и травы ветром качаемые (разве можно, ветер - резвого братца твоего, обидеть, если он знает дыханье твое и уста твои девичьи дуновеньем касался в пору твоих игр невинных у малого берега жизни)... не обмолвлюсь только о том, как я, отчаявшись длительно любить, совершил, будто кит, свой первый выброс на отмель из моря после шторма... даже во время наших опытов первой любви был я ревнив и в безумстве хотел совершить глубокий прорыв и проплыть в тихое донное струенье реки, где резвилась ты, рыбка моя... также хотел я проплыть под землей, под травой, сквозь каменные корни осевших от тяжести гор (разве кому удалось жизнь скроить по себе и время судьбы своей вспять обратить и снова быть рядом со днями человека, сужденного тебе по тенгрийной воле, но непостижимо живущего ныне в разлучной, другой реке), но, моя милая, смертный полет кита мне не удался... подняло меня девятой волной и я выжил, но мечты одолеть отчуждение жизни моей и твоей не забыл... нес ее глубинно, в себе, подобно тому, как моллюск хранит и растит жемчуг в себе... но верь мне, неизъяснимое слово мое, открылит твое сердце так, что станет летучим оно... дыханье свое я стократно расширю, чтоб хватило его для проплыва океана и прободения гор, чтоб достало дыхания мне сложить два времени наших в одно словоречное письмо-говорение... из уст в уста я тебе передам течение смысла и сладость утаенных от прочих наших любовных утех, умолчу об искусстве немых навигаций в стонных потоках серебристых соитий... а ныне ни смерти, ни тьмы я не боюсь... они – брат и сестра мне теперь и наше братство-сестринство издревле и нерасторжимо... мне дадут они силу найти наше единое русло, моя лучезарная-тонкая-темная-томная-легкая-быстрая-струйная поволока-любовь на глазах и камень необъятный и тяжкий под сердцем... но и камень раздробить я сумею и в песок обратить для прозрачных часов нашей любви... нет ничего кроме тебя во мне, милая-кроткая-сепия-запись-знак и тайна моя на нежнейшем папирусе влюбленной души моей... изнутри... объявись-явись лучезарная моя, ибо устал я тонуть в одиночестве...

Странно все это, – думал Гевра, – вот эти глаголы русские, часто употребляемые нами по жизни... любит, ходит, молчит. А ведь у всех, у них окончание казахское: люб – ит, ход – ит, молч – ит. А «ит», по казахски, означает «собака». Конечно, от таких умозаключений нормальный филолог обхохочется. Повязал, дескать, высокую птицу с дворнягой. Но я-то сам, по году рождения «собака», пусть и рычливая-ворчливая, но верная. И люблю, и хожу кругами, на цепи, молча. А вот по зодиаку – Близнец. Вечно ишу во всем нечто близнечное, родственное. Некую всеобщую связь. Может быть, и пойму до того, как взлететь к зодиакальным созвездиям, к Зодчему мира сего. Однако, далеко я что-то зашел в мыслях своих глупых. Не разгневать бы предков своих – аруахов и не накликать беды на дурную голову свою. А с Балериной что тогда станет?.. И Гевра, неожиданно, помолился про себя, по-степному, следуя интуитивному испугу-порыву души...

...о, аруахи! О, предки мои дивные чистые! Не гневайтесь на нас. Нет вины нашей в том, что живем во время смутное. Потерпите. Не скучайте о нас, иначе придется нам уйти от жизни окаянной до срока. Как ни тяжела эта жизнь, но у нас еще много дел осталось тут и надобно их завершить, чтобы вы, аруахи, остались довольны нами при встрече на синем лугу. И тогда наша встреча будет радостной, а беседа глубокой. Пусть все случится в свой срок, в свой час, когда луна коснется горизонта и покатится к снегам. Дайте мне время увидеть мой Ирис-ребенка моего, о, аруахи мои...

Глава 25

Наконец, беглецы-парии дошли до северо-восточного края большого острова Хонсю, который завершался пустынным мысом. Мыс возвышался над морем и был покрыт соснами, отчего казался легким и парящим над береговой полосой внизу. Тревоги бегства остались позади, а впереди обещался простор и покой, и самое необходимое им - безопасность. Кену так и подумалось. - Здесь найдут они бесценные дары судьбы: безопасность, про-

стор, покой. Три грани желанного совершенства. Последнюю часть пути изгой-эта шли много свободнее, чем в первые дни бегства, когда проходили срединные, обширные и густо заселенные области острова. Северные земли острова еще были недостаточно освоены и заселены. Здесь жили, в основном, племена «эдзо». Сюда еще не дошла в полной мере власть князей - даймё с юга. Люди продолжали вести относительно вольную жизнь, как в старину, вели здесь свое нехитрое натуральное хозяйство, занимаясь больше собирательством, охотой и рыболовством. Землю обрабатывали по нужде, как подсобное занятие. Путники набрали на небольшую деревеньку рыбаков. Она расположилась на берегу укромной бухты, окруженной высокими утесами в форме полукольца. В этом удаленном мирке усталые беглецы перевели дух, получили кров и простую пищу. Простоватое любопытство немногих жителей не имело оттенка настороженности. Может, причиной тому был маленький мальчик с ними, вызвавший доверие у этих неразговорчивых и наивных людей моря. Дней через пять-шесть, когда аборигены-рыбаки стали немного понимать пришельцев из области племен ямато, им удалось из путаницы диалектных различий выудить основные слова и выяснить для себя, чего хотят эти странные люди и их главарь - древнеглазый угрюмый мужчина, с белыми крепкими зубами, черными волосами, густой бородой и сильным телом. Аборигенам-рыбакам вскоре стало ясно: эти люди, бегущие от неизвестной им беды хотят найти убежище и пристанище. Им нужен покой и кров. Тогда староста деревни указал рукой на дикий крутой мыс и сказал, что там они найдут то, что искали, и назавтра он поведет их туда. За словами, просеянными в долгом разговоре, которые понимались теперь всеми одинаково и за словами, еще темными – непроясненными до конца, рыбаки и беглецы за эти дни уловили нечто общее меж ними: они одинаково боялись чуждого и дальнего мира на юге, а неумолимый цунами перемен грозил им всем в равной мере.

Наутро, оставив мальчика на попечение женщин, беглецы отправились к намеченному месту. Тропа, по которой они шли вверх, была извилистой и дикой. Впереди шагал староста дерев-

ни и его внук, лет 15-ти. После неширокой пустынной полосы побережья пошли кустарники, шиповник сменился багульником, дальше в распадке, куда редко заглядывало солнце росли неизвестные беглецам узкие острые хвоицы, а выше склоны были покрыты темно-зеленым, а кое-где почти черным мхом-стланником. По дну распадка меж камней, причудливо тек ручей, извиваясь и делясь местами на два-три ручейка поменьше, там и сям образуя маленькие каскады-водопады. Затем, после зарослей можжевельника, путникам открылось широкое плато горы, где росли легкие прямые сосны, которые снизу казались парящим зеленым облаком на краю мыса. Подошли к краю плато, где прямо под ними глухо шумело бескрайнее море.

Кен задохнулся от этого, внезапно наступившего его, простора. Ничем не ограниченное, сияло-светило солнце, в соразмерных только ему пространствах неба и моря. В этот день поздней весны мир предстал первозданно-чистым. Его поразило первородное естественное единство моря и неба, родство двух необъятных синих полей, некогда по злой воле разделенных друг с другом, но все же нерасторжимо слитых в линии горизонта. Тысячелетняя печаль разлуки двух великих синецветных пространств, уравненная с лучением-сиянием солнца, стояла здесь задолго до тщеты человеческой, обретая мудрость отстояния от земных страстей и бурь. Да здесь, и только здесь, он может найти утерянное равновесие души и отстояние от прежнего-скорбного. Ему надобно изгнать из себя бесов ненависти и отчаяния, чтобы заново в чистом поле смирения попробовать посеять иные цветы-упования. Вернуть ясность душе и сердцу. Кен с усилием оторвал свой взгляд от простора, обернулся и уже спокойней оглядел лес стройных сосен. Дальше, чуть ниже, за прогалиной, виднелись рощицы берез и много уютных травных полян, расцвеченных лепестками пестрых цветов... *О, Сайко! Стань цветком на той поляне с камнями...*

Затем все они, со старостой деревни, сели на приступок под сосной, отстоявшей отдельно от других и словно пытавшейся увидеть с обрыва море. Тут приглушенной слышалось неумолчное биенье волн о нижние скалы. Они подробно обсудили сло-

жившееся положение дел и обстоятельств. Староста, не скрывая свой житейский интерес, предложил простой обмен за оказанную помощь и молчание в будущем. В его деревне осталось мало мужчин (трое не вернулись в прошлом году с промысла, после бури). Если спутники останутся в деревне, возьмут приглянувшихся им женщин-вдов или девушек в жены, то будет хорошо для всех. И за мальчиком есть кому приглядеть. Он поручит это своей снохе. Вот, ее сын. А за все прочее он, сам, староста, ответчик и поручитель. Кен кивнул и посоветовался со своими товарищами по несчастью. Поговорили и согласились на том, что такое решение устраивает всех, а для бывших могильщиков-париев, недавно потерявших свои семьи, обрести новую было просто везением. Тем более в этом удаленном краю. Староста заверил, что люди от местного князька-наместника приходят редко, раз в 2-3 года. Погибшие в море рыбаки еще считаются живыми и теперь, новые люди просто заменят их в списке. Главное, для людей наместника, чтобы число сходилось и дань шла своим чередом. Обсудив и согласившись со всем, скрепили договор по местному обычаю: три раза обошли костер по ходу солнца, ударяя по рукам, три раза против солнца и на том кончили. Назавтра договорились поставить здесь сруб из сосен для Кена, принести самую необходимую утварь для кельи отшельника (все уже знали, что Кен хочет стать отшельником, вымолить душам погибших доброе перерождение, чтоб они не скитались в темных мирах в образах демонических существ).

Все вскоре ушли, а Кен остался один впервые за долгое время. В этот первый вечер полного одиночества, когда уже сгустились сумерки, появилась тонкая тень надежды-упования. Недавнее черное-бурное море-смятение в душе и мыслях просветлилось-успокоилось в просторе и тишине. Наступающая тьма не казалась беспросветной, хотя Кен понимал, как долог путь к избавлению и еще много страха, тоски и сомнений пройдет через сердце. Не меньше моря и неба. Нет...

...Луна не взошла.....полное небо звезд, а луны, даже тонкого серпика нет... страшна ночь без луны... и меня будто нет в этой жизни... как луны вот сейчас... или я ослеп... звезды толь-

ко мнятся мне... и шум моря внизу мнится... глаза закрыл и открыл... ночь, звезды, шум моря... только боль внутри неизменна... бамбук врос в меня... ночь без луны... мириад мерцающих звезд... отраженное отчаяние мое... его много... сегодня соберу свет этих звезд... из света их луну соберу... сотворю... и это - мой первый шаг к возвращению вещей на места свои... Будда Амитаба, помоги...

Кен заснул, внезапно и глубоко. Тонкий серп новой луны засеребрился на кромке звезд, но он его не видел в эту первую ночь обновления.

Назавтра начались хлопоты-труды по устройству отшельнического скита и Кен принял в них деятельное участие. Сосновый шалаш - трехстенный, очаг из камней рядом, нехитрая утварь, подстилки - татами из плетенных трав, соломенные накидки от дождя и полог холщевый от ветра. Много ли надо отшельнику? По окончании этих забот привели сына. Кен мысленно простился с ним в сердце и стал отныне, вчуже, называть его просто мальчиком. Уговорились, что раз в неделю ему будут оставлять немного сушеной рыбы и бобов, а о прочем он сам позаботится. Обустроив уют отшельника, вскоре все, простившись, ушли и вечерние сумерки опустились, как синяя шторка. В эту ночь по небу промчался космический пёс, будто обозначил начало года отрешения и унёс навсегда земное имя Кена.

...В сияющей ладье месяца плыла Сайко. В руках ее был тонкий невод, в который она будто забирала горе и печаль мужа, благословляя его на подвиг смирения и отрешения, дабы удалось им встретиться некогда в иных воплощениях...

Ночь сеяла росы для угасения жара в крови, звезды мерцали подобно снам-размышлениям о бренности земной юдоли, стирая грани между явью и сном. Наутро или через десять утр, и после многих других похожих ночей, Отшельник стал разговаривать с птичкой (а с той же, что сегодня или с другой похожей на эту, не имело значенья отныне)...

— А что солнышко запозднилось ныне, птичка моя, на рассвете? Небось, зябнешь? Вижу, роса на крыльях твоих. Отряхнись, отважная пташка. И засветишься вся лазорево - дивно и

рассыплешь росу, а с ними первые лучики солнца. Первой проснись и никому не отдавай радость пробужденья на рассвете. Солнцу подобна первая надежда-упование. Будь ею, птичка моя, странница синих небес. Омойся первой росой, прибери в своем гнездышке и осмотришь: пора и в полет. Видно, ты для того рождена, чтобы солнцу приветить. Вот и дом твой высок, и легкое сердце имеешь, и все дни для тебя одинаковы. Втуне и я так хотел бы, но тяжел я пока, не простился с земными страстями и не скоро смогу полететь...

И в эти же дни, на берегу, бывшие могильщики учились ремеслу рыбачества. Ставили парус. От черного ветра ветер белый, одну волну от другой учились они различать. По пояс в воде, по пояс в заботах земных начинали по-новому жить, а прежнеетемное уходило с отливом ночным и оседало тиной на дно моря. Скоро и им время придет выйти в дальнее плаванье. Счастье искать свое неверное, краткое, рыбачье... и море велико, и рыбы много, а многим ли выпадает удача и скромный улов?.. дует ветер и молчит...

Отшельник изо дня в день терпеливо из себя жизнь изгонял, а вместе с ней и ее треволения бывшие... Плоть и дух закалял-умерщвлял: ночью сидел среди росы, днем под холодной струей водопада стоял и камни таскал до изнеможенья... вскоре весны с зимами перестал различать, как впрочем, и лето с осенью... Пищу вкушал безразлично, воду пил из родника горстями... созерцал внутренний лотос души... сутры шептал о спасении души своей и Сайко... растворялся в душе иной, обширной-вселенской, вникая и понимая...

...шум моря равен молчанью ночей... дождь не уступит по силе недвижной горе... всякое малое становится больше большого... волна никогда не кончается и неразрывна с волною другой... улитка движется быстрее ветра – она уже за камнем, а он ее лишь догоняет... сосны, как дни, неизменны и схожи... трава гуще звезд... скоро сойдет просветление...

Вселенский пес свирепо гонялся за годами-зайцами пока всех не разогнал. Но остался последний самый быстрый и изворотливый заяц, равный в беге псу вселенскому...

И еще одно понял Отшельник... Тишина – это просто пение листьев, море-пруд, человек может небо пешком обойти и вернуться к вечеру в дом...

...Кто знает в чем различие груши с айвой?.. Тот, кто извдал их вкус и обратно привил на дерево...

... несколько минут прошлого для настоящего... минута настоящего для предстояния в будущем... одоление настоящего и забвение прошлого для минут будущего...

Глава 26

И ту сырую грязную-безлистную-позднюю осень, и ту... свою первую женщину Бастард будет помнить всегда... До лопаты в затылке и полного безмыслия, и выродит из себя месь людоеда...

...едва Он увидел ее совсем рядом, у глаз... все, что до сих пор было в нем неизрыдным нарывом, вскипело и рванулось наружу темной натушной волной в крайнюю бессмысленно-стойкую плоть, ища исхода и иного своего воплощения, равного по силе тому напряжению, что уже входило ломотой и вязкой длинной судорогой в пах, вступало болью в крестец, будто выламывая его из тела... то, что происходило внутри и внизу (и не могло быть понято им, не остановимое даже самой неистовой волей) уже полыхало в его глазах и выплывало, ширясь кругами затмения в зрачках, стягивало кожу на скулах, иссушила губы, ставшие оскалом пресмыкающегося небывалого зверя, язык его, рефлекторно выскользнув из пасти-рта, быстро облизнул пену на губах и исчез змеевидно... все это видела Она, стоя и вытянувшись... вся в преддвижении плоти, ощущая всей своей пряной-прелой сущностью-прелестью самки, опьяненной истомой и сознанием того, что может произойти-сотвориться с нею и мужчиной, еще девственным, но уже разоблаченным восставшей плотью крайней своей, когда он впервые видит влажное-пушистое-нежное-сочное... То, что открыла она ему для созерцания первого и тем бросила в неугасимый огонь вожделения... чуть усмехнув-

шись, она подошла к нему и стала молча вдавливать в него, одновременно облизывая его сохлые натянутые губы, пока они не отворились и два языка не нашли друг друга для темного и скользкого разговора плоти и страсти... потом, в конце, эта реплика, как колючая проволока в глаз: - Вонючий маленький ублюдок. Мог бы и потерпеть пока я... и плюнула на его опавшую, в сперме, оскорбленную крайнюю плоть...

Мать Людоеда лежала пьяная, у дороги, и высказывала равнодушным звездам и брюхатой луне свои обиды: - Все мои мужчины разные: глупые-беспутные-храбрые-наглые-ничтожные. Подлецы, хотя общее у них одно. Цель. Это я. Баба. Вернее то, куда они стремятся все. В письку мою, будь она неладна. Думала – они душой к душе моей стремятся. А их всегда лишь туда тянет. Видать, раздвоение у меня. Не срастаюсь. Будто писька моя отдельно, своим умом живет, приваживает, а я своим. А писька, проклятая стерва, пользуется мной и потом против меня же и настраивает мужиков. Я и раньше не задумывалась шибко, но теперь, когда никому не стала нужна, поневоле пораскинешь, и не ноги, как раньше, а мозги. Ну, писька-то, известно свое не упустит, хоть завалищего, да примет, когда мои мозги водка совсем отшибет. Но отвечаю-то я. За весь организм... А мужики-засранцы, свое получив, потом черт-те как обзывают: то шалавой. то блядью, а то и... И детки тоже. А ведь когда-то мамой звали. Чем я хуже пигмеек из Африки. Они тоже вечно брюхатые и тоже неизвестно от кого рожают. Но ведь их там уважают. Ох, я ж искренне всех мужиков своих любила. Причем, честно. Это потом, в конце перепуталось. А раньше, каждого в отдельности. Жалко же их. Весь закрытый, не ласканный. И открыться некому. Ему прямо сейчас надо излиться, передать женщине тоску-маету свою. А то лопнет, или заболит. Вот и даешь сразу. Они же там, на войне, в тюрьмах, на работах своих исстрадались, измочалились, изуродовались, что и на мужиков стали непохожи. Их же спасать надо было. Жалеть. А их жены, даже в доме родном погонялом гоняли мужей своих, дескать: должен ты, мужик, и все тут... А у меня тепло, воля. Делай, что хочешь. Сам мужик. сам выбирай, и я по руке твоей пойду. Как скажешь-захочешь.

милый. Видать, ошиблась я, на письку-падлу повелась. Дура. Но больно ведь... Грустно мне, подружки-звездочки, помогите... я же еще подняться могу, если что хорошее встречу...

...Ударило сзади. Под затылок. Сотрясло мозг. Песком осыпались мысли. Провалились в воронку песчаную. Там нора тарантула. Он выглянул и исчез. Черный в черное. Теперь я без связи с миром, который за стенкой черепной. Помню только, как хрустнуло. Гипофиз сдвинуло с места. Тонкая паутина нейронов порвалась. Дорожки мыслей, протоптанные столетия назад моими пращурами, перепутались. Пересечения тяжко найденных смыслов сдвинулись, связи прервались. Там, где была ясность сознания, теперь - лабиринт. Ариадна-научиха умерла. Кто поможет найти выход? Утерялась цель. Центр сместился. Стороны перепутались. Миг жизни повис меж эпохами. Неандерталец не вышел на встречу с зарей и остался в нише атавизма... Хромосому главную из меня вытянули, как жилу. Ген гуманности не в ту цепочку попал. Или в обратную спираль ДНК. Как из лабиринта выбраться? Ведь никто не знает, что я заблудился... Что я - людоед?..

... потом была молния... шарахнула так, что увидел... мама лежала вверх ногами (голыми и тонкими, а сверху лежал кабан и хрипел)... она стонала... я онемел в ужасе... потом грохнул гром... опять сверкнуло... кабан уже стоял и из него лезла кишка... сизая... мать лупила глазами в окно, как коза в темноту... гроза кончилась быстро... домик вновь закишел суетой, будто муравейник копнули... во дворе горел сарай... зажегся от молнии последней... все бросились к сараю и открыли дверь... коровы, бараны и коза (с глазами навывкате, желтыми) выбежали мыча и бляя... но моего ягненка не было с ними... его съели уже давно, неделю назад... замкнуло, в общем, ударило молнией меня и выжгло или отрезало что-то в глубине, что-то в голове... душа моя человечья умерла, опустела... пустота стала чем-то странным заполняться... виденья во мне появились, словно я не я... на луну смотрю и вою... из себя ползу, шипя - извиваясь, словно змея... света и вспышек боюсь... жало змея выпускает безмолвно... облизывает воздух... если пахнет кабаном, зверею... глаза стано-

вятся клыками... во сне вместо нежности вижу кровь, вместо еды - рвота... кто тебя изуродовал... хромосома проклятая...

... Давно, еще в детстве, после «того», когда он стал мочиться по ночам и знал, что утром его будут ругать, может, даже побьют, Бастард стал убегать в горы... убегал от стыда, от вони своей ночной беды, от ругани... только здесь в горах, на потаенной поляне, никто на него не обращал внимания: мураши текли тонкой струйкой от холмика к кустам... им одним была известна цель их дороги, суеты, умения жить согласно инстинкту и программе их коммунального мироустроения... речка текла сверху, сама по себе (маленькая такая резвушка)... вокруг нее громоздились огромные камни, молчали обрывистые берега, подрытые весенним половодьем, таинственно блестели темные сланцы, травы и цветы росли тихо и светло.. солнце вставало меж двумя горами, в самой середине, будто глаз немигающий, вопрошающий... внизу суетилось маленькое село (сады, рощицы, огороды, домики)... склоны гор переливаются красками, как витражи соборного храма под небом... если б только природа знала, что в этом идеальном совмещении всей её красоты и гармонии уже зреет-растет невероятное зло, чудовищное искажение самой сущности человеческой природы в виде этого маленького мальчика. все дальше уходящего в страшную тьму людоедства... словно предчувствуя начало искажения естественных законов бытия грозно за клубились облака, наливаясь багряной синевой, как сливы в садах... в тысячи раз быстрее, чем обычно, облака сливались друг с другом в тугую упругую тучу... и вот страшный ливень ударил со всполохами сухих беззвучных молний по всему горизонту... склон мгновенно стал скользким и Бастард упал... и заскользил на спине вниз, по траве и мокрой глине, пока не влетел в расселину и не застрял в ней по пояс, а дальше стал медленно - тихо сползать вниз, по грудь... кричать уже не мог... но ноги, вдруг, нашли опору... И с той поры он не мог терпеть узких помещений и всего, что не имело выхода, как лоно женское. Там он впервые почувствовал себя зверем в западне в истоме смертного страха... А природа?.. она отпустила его в надежде на лучший исход потому, что давала всему идти своим путем по

естественной инерции или скорее наоборот: время грядущее втягивается через - воронку настоящего в океан прошлого, которое, по-видимому, победит будущее, которое убывает по мере того, как поглощается прошлым... или иначе прошедшее время непрерывно расширяет своё пространство... взаимопоглощение времен происходит на наших глазах, устрашая нас своей жестокостью и масштабами, ибо с обеих сторон безграничные резервы... люди лишь наблюдают за этой вселенской битвой времен, ибо время их жизни в сравнении с этими временами-глыбами-гигантами ничтожно, впрочем, как и их союзник – настоящее... итог неизбежен: мы проиграем... мы ограничены фактом смерти... наша жизнь – это краткий миг в войне времен...

... Но разве война времен толкает нас на то, что один человек забирает жизнь другого?.. может быть, именно бессилие и ярость, от краткости нашего пребывания на земле, желание к своим дням прибавить дни другого человека является причиной агрессии?.. отчего, путая в отчаянии любовь человеческую с инстинктом самосохранения люди идут на убийство... а страсть мужчины к женщине не есть ли уничтожение одной плоти плотью другой?.. а телесное слияние лишь способ поглотить другого человека?.. и перед неумолимостью конца, человеком овладевает чудовищная мысль – убить и съесть человека другого... о, война времен!.. о, человек краткий и жестокий?! Где начинается и где кончается природа твоя? Ты зверь или промысел божий?.. ответ...

Глава 27

...Одиночества атома. Полное. Безысходное. Дикое. Коллапс элементарных частиц. И малый атом хотел бы сказать-поделиться своим внутренним совершенством, но сам из себя выйти не может. Разве что, некий другой, еще более дикий и очень тяжелый бременем горя элемент дальних галактик, вдруг, оторвется от орбиты-судьбы своей и понесется невесть-куда, разгоняясь от притяжений звезд печальных и, чуть коснувшись

края планетных скоплений или оттолкнувшись от пустоты гигантских газоскоплений, найдет родственный по одиночеству атом другой и ударится в него всей силой своих миллионлетних скитаний и вовьется-ворвется в ядро другого атома одичалое и взрыв-встречу-судьбу свою – жестокий всеиспепеляющий взрыв - сотворит. Какие же это энергии – ускорения нужны, чтоб освободились два атома от одиночеств своих малых-безмерных и объяснились друг другу на элементарном своем языке, как если бы живые были они существа? А вот инфузориям, казалось бы, легче. Стало ей, скажем тоскливо, взяла и поделилась сама с собой. И стало их две, и родственны духом и плотью, и есть о чем поболтать – слиться душой. Надоели, скажем друг другу, ну так что ж? Опять поделятся, каждая по себе. И так без конца. И энергий лишних-громадных-взрывных не надо. Но скучно. Одинаково. Нет новизны. Катарсиса взрыва-вторжения нет. Как у атомов! А у людей? Одни соединяются в невероятном напряжении сил и запредельных энергий, другие легко и бесшумно делятся. Атомы встретившись, становятся новым элементом-веществом-сущностью. Инфузории расходятся и живут мирно врозь, но остаются прежними по форме и содержанию. Никаких изменений. Разве что, стало их больше. А люди? Одни полнятся любовью от встреч, другие звереют, ненависть в них образуется. У одних печаль от разлуки, у иных – месть.

Нет, по инфузорному нельзя. Слишком просто, пошло и одинаково. А вот, по-атомному? Разогнаться, сорваться с орбиты и ринуться на поиск другого изгиба? Или ждать? Ни так, ни этак: никаких гарантий встречи. Стало быть, лучше с орбиты своей срываться. А там видно будет, что да как...

Вестник Атай все дальше стремительно удалялся к краю вселенной и размышлял о том, что осталось на земле.

На земном дворе завершалась Эра Водолея. Умные мечтания о том, что после «рыбьей эры» наступит эпоха процветания и замирения развеялись. Кризис цивилизаций принял устрашающий характер. Противостояние религий и стран переросло в противостояние континентов и число заповошных апостолов-

крикунов не уменьшилось, а только возросло. Расстройство умов стало явлением массовыми и носило характер эпидемии. Всемирная информационная «паутина» разрослась до невероятных масштабов, порождая все новые вирусы. Никто уже толком не понимал, что истинно и что искусно придумано, и от этого факта некуда было деваться. Технологии давления на сознание достигли невероятных высот и вышли на уровень нейтринного проникновения везде и всюду. Амбиции религиозных лидеров перешли всякие этические нормы и приличия. Теперь на земле имелось по несколько пап, патриархов, верховных имамов, далай-лам, но суть их доктрин была одинаково путаной. Претензии на мировое господство принимали уже галактический характер, а бог вообще стал побочным фигурантом дискуссий, несмотря на то, что все ссылались на него. Каждый по-своему. Конкуренция экономик порождала нескончаемые микрвойны в разных точках, но они не перерастали в глобальный конфликт, только благодаря паритету сверхвооружений, достигших предельных уровней. Терроризм стал настолько утончен и хорошо завуалирован, что его нельзя было отличить от технокатастроф и даже природных катаклизмов, ибо на террористов трудились крупнейшие специалисты. Их лаборатории были насыщены вычислительными суперсистемами и достижениями, нанотехнологии стали столь высокими, что никого не удавалось уличить в преступной цели, а тем более, по-старинному, поймать за руку. Уродов и дебилов излечивали еще в эмбриональном состоянии, но никто не мог поручиться, что их физическая или умственная болезнь излечена до конца. Генная инженерия вкупе с техникой клонирования совершенно исказили истинное понимание природы человека. Наверное поэтому, разные мессии, лжепророки и гении размножались, как грибы в инкубаторах и возвещали такие идеи и варианты мироразвития и апаколипсиса, что еще тысячу-другую лет назад их бы отнесли к обыкновенным безумцам, точнее сумасшедшим.

Внутри даже одной конфессии возникало столько сект и тайных обществ, что не имело смысла даже ограничивать их число. Появлялись секты древопоклонников, детей камня и далее:

вне-поло-рожденные, потомки чистого фаллоса, дочери первого лона, страстотерпцы луны, фанатики внутреннего света, ордена идоловерцев воды, ветра, травы, посвященные в вакуум, избранники подсознания, хранители пустоты, козловерцы, борющиеся с кланом первобарана, кропящие росу, возвышенные в горизонталь, тающие в воде, инеепоклонники, волхвы стихий, апостолы извращений и многая-многое разное, но все одинаково были нетерпимы друг к другу. В азарте противостояния они не останавливались ни перед какими способами и методами клеветы, самоутверждения и, зачастую, прямого уничтожения инако-верующих-думствующих-рефлексирующих или ушедших в чистую поллюцию мистики. А если добавить к этой беде еще и касты клонированных вкупе с биороботами высочайшего уровня имитации, то лучше было бы и вовсе не родиться нормальным человеком. Смешно сказать: доказать, что ты – чистопородный «хомо-сапиенс» было почти невозможно. Даже всевозможные однополые аристократы-гомики или эстеты секса с голографическими партнерами казались более приемлемыми на фоне эротических вакханалий «естественных» с «клониками» или биомоделями-роботами, где ограничением являлся только недостаток воображения. Короче. Содом и Гоморра отдыхают.

На этом фоне практически исчезли трансвеститы, ибо при новых возможностях и технологиях изменение пола теряло всякий смысл. Само понятие любви становилось анахронизмом, так как границы этических и сексуально-физиологических норм были расширены до абсурда, а святость и блуд стали почти синонимами. Технопрогресс предлагал столько искушений, что сатана давно устарел со своими штучками-проказами, а бог, если он и был, то совсем устранился от дел спасения человеков. О, цветок любви увядающий, неужели и ты модифицированный продукт? Клон мечты...

...если только представить себе... не человек склоняется в молитве перед Богом... в поле, горах, в алтарях, мечетях, храмах, нишах каменных, под землей... в душе своей человеческой смятенной-покорной-взывающей... нет, нет... представить бы на миг, что сам Бог склонился перед Человеком и помолился за

него... без гордыни, смиренно, не по-божески, просто... не склоня к вере, не понуждая к покаянию, не упрекая в греховности, не возвышая Имя своё перед человеком... ибо может всевышний-благодать-дальний-немой-недоступный-слепой-неотвратимый-глухой-ведущий и властный над временем всё же сжалится над человеком, разделит долгое-плотное время на дискретные осязаемые мгновения и даже остановит само время, коли Богу не достаёт времени подарить каждому из людей хотя бы капельку своего внимания... и это будет чудо истинное-верное... и время вновь станет неделимо-едино, как вера... и пусть Вышний-Посылающий знает, что его суть-время-благодать состоит не из безымянных секунд-веков, а из людей с именами состоит оно. И если люди исчезнут или падут и имя забудут свое, то падет и исчезнет сам Бог, ответный за мир земной и внеземный...

...капелька дождя, падающая вниз, отважна... ради своей травинки в земле... истечение-поветрие-падение-рождение... шепотом-шорохом-шелестом... о нищих и лишенных... нежно... сердцем... при жизни... ибо за краем... кишмя кишачие черви могильные... кыш-кыш... наваждения – страхи...

Атай никогда не забывал тот короткий разговор, хотя не мог вспомнить когда он состоялся и по какому поводу:

– Почему? – спросила Одиоя.

– Не знаю, я просто таю в тебе. Всегда. Когда я сгущаюсь и становлюсь плотным и твердым, рядом оказываешься ты и я снова таю.

– И все?..

– Да, и ничего больше.

– Но это меня обижает.

Он долго и печально смотрел на нее и очень жалел, что она не понимает, как много он сказал ей. Он не умел хорошо и связно говорить и, уходя, стал опять твердеть, досадуя, что не умеет объяснить себя. Закрывая дверь, он затронул наддверные колокольчики, и тихий мелодичный звон никелевых трубочек остался за ним. Было утешительно думать, что этот звон слышит теперь и она – Одиоя.

... в первом варианте развития жизни на земле и во вселен-

ной (вероятно, одно без другого не имело бы смысла) мужчины и женщины были одним существом. Это первосущество, двуединное «Оно», имело в зачатке все биологические и прочие различия, которые стали явными во второй стадии, когда Человек-Оно прогрессировал и появились собственно мужские и женские особи. Человек-Оно возникал без зачатия, из первосубстанции, как вирусы или тени предметов. Но, в целом, все прочее было, как сейчас у нас, но без выраженных половых признаков... они не питались ничем, кроме чисто зрительных образов, ощущений сенсорных через пальцы и кожу, звуками внешними и очень остро чувствовали такие вещи, как наслаждение-омерзение всяческие приятства-блаженства и боли, а любовь совершалась в них без соития, внутри, однако оргазм был двойным... Человек-Оно вообще не ел, наоборот: всё живое на земле ело Его, охотилось за Ним, ждало своего часа, когда можно будет вкушать плоти человечьей, что почиталось деликатесом у хищных людоедов древесных... да, при этом было еще одно – существенное, что может утешить: тогда не было и детей, как стадии развития взрослых особей (жизнь начиналась сразу с юности, а до старости никто не дожидывал, ибо съедены уже были они)... об их чувствах надо упомянуть особо... они имелись в изобилии, но были плодом их колоссального богатого воображения, из которого и рождались эти самые чувства... да, и половой акт был-имелся-совершался, как чисто оцущенческое и визуально-физическое действие с мысленно-фантазийным двойным оргазмом, который являлся плодом блестящего интеллектуального взрыва гипотетических эмоций (как упражнение ума)... вот такая то была праформа истории мужчин и женщин в первом варианте эволюции... и кому это надо теперь?.. а?..

Глава 28

Единственный близкий друг Гевры был талантливым чудачком. И он как-то рассказал о проблеме своей любви. Он не хотел смотреть за плечи жены во время любви. Ему надо было видеть

ее глаза до, во время и после. Без этого любовь для него не имела смысла. Он всякий раз просил и умолял жену об этом, но она была предубеждена и считала такое постыдным. Странно. Почему все прочее можно, а это нельзя. Не увидеть любви в глазах женщины из-за предрассудка? Он погиб трагически и нелепо, когда ему едва исполнилось 30 лет. Случилось это так. У Миши (так его звали) жена была гением пустяков. Она могла любое событие и даже чувства разменять-раздробить на тысячу пустых подробностей так, что от всего оставались, в конце-концов, одни мелкие осколки. У них была 3-х летняя дочка. Смешливая проказница. И вот, однажды, разобрав их большую любовь на детали-винтики, жена его решила, что не может больше жить с ним. Теща поддержала решение дочери, потому как не меньше ее любила искусство разборки большого на мелочи. Оттого и случилось всё. Как-то раз Миша, совсем озверев от скучания по дочке, запертой в квартире на пятом этаже, полез туда с соседнего балкона. Никто не остановил. Он почти было уже влез. Дочка на шум вышла. И тут он оскользнулся и... Дочка видела, как отец рапидно летел и... улыбался ей... Она подумала, что папа так шутит и придумал способ летать... она помахала ему рукой...

Гевра всегда вспоминал своего чудаковатого друга с удушающей жалостью. Как-будто это произошло только что. Фильм памяти об единственном друге молодости... Рапид. Монохром. И Миша. Летящий...

...о прочем промолчу... удивлен настолько, что похож на лемура с фосфорно-совыми глазами... вот зеркало... в нем я весь, однако, будто вижу себя дальше, т.е. глубже обычных рук-ног-пальцев... ловлю генное сходство мое с матерью-отцом... далее по родовому корню есть некая славная степнячка и свирепый кипчак, вероломный и умный, как волк на охоте... подобен я и образу от всевышнего... не о чем большие вроде бы и мечтать, но все же вижу-привизу в себе особые аномалии, обычному человеку не присущие... какое-то упорное мечтание о железе иль камне... голод странный на пищу из сожженного дерева... позыв также есть нутряной, дикая жажда чистой эссенции из голубого молока, выпив которое можно обрести отдаленность и

мерцание звезды, оцутима и жалость к утомленному путнику, и сострадание к умирающей женщине в родах, ребенок которой застрял на выходе в жизнь... некто украл у меня талант к высшим прозрениям... я обделен... нет ни железа в крови, ни пищи из древа в мозгах, ни звездного молока в душе... жалость и сострадание забылись за суетой и я не прозрел... еще не родился золотой мальчик и... может кесарево сечение спасет его жизнь, а мне предстоит выползти из кокона эгоизма и выплакать слово, подобное крику новорожденного, если роды окончатся благополучно, если не брать в расчет умершую мать...

Если бы... сегодня в 6 утра, (возможно позавчера или послезавтра) через краткий век секунды спросить самое себя: - Где урожай твой, подлец? Тишина и эхо безмолвия... Что может быть внезапней растерянности девочки, впервые увидевшей кровь проснувшейся матки на чреслах своих невинных: - Мама, я умираю... Мать посмеялась и объяснила... Тут откуда-то вылез-возник, вздыбив коня, некий свирепый феодал, провонявший убийством, и орёт из №-ого века: - Права первой ночи... требую... Верно, сон еще снится... Что-то птицы с утра не поют... Надо выглянуть в окно... И правда. Осень. Хмарь и тинный запах холодного дождя. Даже кошки перестали мяучить котов, а городские сучки на кобелей своих, как бывало призывно тявкать... Между тем, тишина в это утро нарастала, как глухота... Пора выходить из сна в осень, глаза разлипать и идти в неостановимое дело природы: утро, заботы, деньги, опять вечер... кто ответ держать будет за раннее наступление ночи...

Дело в удвоениях ради выживания вида. Т.е. в запланированном убийстве. Автор-природа. Цыплята, свинята... Кто съел послед свой первым, тот выживет. Прочие умрут или станут добычей хищника или жертвой или иных обстоятельств посттробной жизни. Думается, что в каждой яйцеклетке женщины, изначально, есть (после семя-посева-самца) запасные близнецы-зародыши-уродыши. Но урождается один (в большинстве случаев). Видимо, уже в матке один из выклютков-младенцев поедает близнеца, по инстинкту выживания. Еды-плаценты на двоих не хватает... И висит этот зародыш-убийца в космосе

матки, а грядущая мама, плюс, папа не догадываются, что их чадо уже сожрало близнеца-двойника своего, но явится в мир с плачем, а потом посопит и будет сосать молоко мамье, пока свое утробное первоубийство не забудет совсем и не выкакает из себя свой грех. Если инстинкт внутриутробный тормозится, бывает, рождаются близняшки-двойняшки, а то и по трое-четверо, как у крыс. Что-то к ночи становится душно. Или кто-то и в самом деле не может забыть своего внутриутробного людоедства? Был ли братец – близнец у Христа? Магомета? Будды? Истинный младенец умирает в утробе брата, еще не родившись... О, что только не лезет в голову в духоте? Подул бы скорее с гор вечерний бриз-ветер утешения.

– Автобус едет по разбитой дороге вдоль гор. И я – в нём. Где-то там – кладбище. Люди едут на похороны. В общем, скорбная картина под сеющим дождем.

Мальчик 3-х лет лезет из кресла автобуса на ходу через мамину руку. Мамаша погружена в себя. У мальчика очень упертые глаза, он рвется за поручень. Молча. Это у него так характер проявляется. Брать барьеры молча. Вдруг, он уперся взглядом в меня. Любопытство и внезапный порыв созерцания взяли в нем верх. Смотрит в упор. Только дети умеют смотреть на взрослых, как на объект. Смаргивая и смущаясь, отвожу взгляд, словно совесть не чиста. Или обнаружил, что четвертая стенка кабинки душа, где моешься, стеклянная. А за ней – улица. За автобусным окном снег. На деревьях, на склоне горы, на дороге. Оборачиваюсь. Мальчик показывает пальцем на что-то вдаль и лепечет об очередном открытии своего мира. Я заискивающе улыбаюсь. Мамаша все так же крепко держится за поручень. Она терпелива на несколько лет вперед. Малыш почти утомился и расшифровывает плавно меняющиеся виды за окном. Я вышел из автобуса. Мне надо идти на объект. На стройку.

Таких объектов у Есени несколько. Догадываюсь, что размах у него широкий и интерес ко всему глубокий. Практически внешне он почти такой же, каким в театре был. Неброский, но сразу виден масштаб. Семизначные цифры угадываются за цепкими глазами. Платит он хорошо, в тенге, но раз в месяц мне переда-

ют от него конверт. С долларами. Мое дело, знать весь проект и план строительства назубок. По нашему договору с Есенею, я фиксирую расход всех материалов. От гвоздя до балки. Тетрадку с реальными цифрами, еженедельно передаю доверенному человеку Есени. Двойной контроль. Порядок, и в этом порядке я инженер, старый друг и внедренный агент. Таковы нехитрые условия игры. Объектов несколько и приходится мотаться от одного к другому. Этот здесь, другой на Кок-Тобе, третий по дороге на Медео. Есть и на Каменке. Везде надо быть раз или два в день. Таковы порядки у Есени. Наверно, и за мной кто-то пасет. Строит, в основном, особняки. На заказ. Дом в три этажа: пристройки, гараж, внутренний двор. Но с Есенею, конечно, нет сравнения. Был я у него пару раз. Это резиденция. Не меньше. Но больше запомнилась его личная галерея. Он сам мне показывал, по-свойски. Отдельная стена для Калмыка. Несколько отличных работ. Есть у Есени и кое-что из «нержавейки». Пару набросков Ван-Гога, один Гоген ранний и Модильяни. Этюд, но какой?! Эскизы Бакста к спектаклям «русских сезонов» в Париже. Сам Есениа ко мне не переменялся и это утешает. И моя Балерина довольна тем, что я стабильно зарабатываю. Я о ней Есенею ни полслова не сказал. Опаска. На всякий случай. От резиденции в город меня его водитель подвозит. Я схожу неподалеку от дома и чуть петляю потом. Так, на всякий случай. У Есени во всем контроль. По работе пусть, но дальше: ни-ни. А моя великая виллиса-силфида-Балерина увлеклась недавно художественным ткачеством. Откуда это у нее? Ведь она всю жизнь только высокой балетной классикой занималась. Попросила меня старинный ткацкий станок смастерить. Пришлось поискать рисунки, чертежи даже, в спецлитературу заглянуть, но сделал ей. Из дерева. Теперь она ткать учиться на нем. Вокруг нить, шерсть краски. Запах знакомый до боли. В общем, творческая мастерская на дому...

...откуда-то всплыло. Синяя тема из Гайдна, из пьесы, где задуваются свечи и музыканты закончив свои партии, один за другим уходят на цыпочках. Задув свою свечу. Оказалось, уходили в вечность... И Констебля пейзаж, с замком и небом. Огромным, низким (в то время, кажется, жена у него умерла). Замок

светлый и будто висит, а природа в раздумьи... И еще вдруг, полыхнуло молнией из детства. Послышался, почти рядом, в реальном времени – сейчас, сдавленный всхлип мамы. Вечер. Сыпался дождь. Мы идем с поля кукурузного домой. До сарая еще далеко. Одна галоша осталась в грязи. Скоро осень. В сумке – кукурузные початки. Как дойдем, так варить станем. Мама уже переходит свой экватор, но весела, хоть и счастья нет женского. А я есть и у меня сейчас текут слюны. Я голоден. Вбежали в сарай. И в глаза, сразу: улитка - влажная жемчужина ползет по лопуху среди моря дождя. Корабль хрупкий. Упрямый. Мама засмеялась чему-то в себе. Своей потаенной природе женской. Дождь внезапно стих. Будто высох. Бог весть, но мама весела сегодня. Промокшее насквозь платье облегло все изгибы - округления - ложбины тела, зрелого, женского, упругого, которое впервые явилось мне таким. Омытым, оконтурированным рукой неизвестного скульптора. Так, случайно, мама без слов объяснила мне, какой должна быть та женщина, которую я некогда встречу и сделаю матерью своего ребенка.

Ночью был сон...

Прямо из дерева явилась зеленая дева и спокойно пошла по дорожке-струйке легкого ветра. Навстречу ей вышел дымный поэт. Он нес песни в книге с прозрачными страницами. Стихи казались сотворенными только что и словно висели-плыли в воздухе. Поэт протянул песни свои, но зеленая дева прошла сквозь них, а в стихах остался лишь ее контур. Она, не оглянувшись даже, вошла в ствол могучего дуба и исчезла там. А поэт продолжал нести свою книгу с прозрачными страницами и контуром зеленой девы, пока не споткнулся о камень... книга со звоном разбилась...

Что это значило, Гевра понять не мог, но придумал сну своему объяснение, вроде того: ...вещи тонкого мира сохраняют сущность свою даже, если их проходят насквозь...

И еще он подумал сходя с автобуса: – Нет, плотное-твердое опасно для тонких вещей и они неразрушимы только в снах. В этот момент, из-за поворота, вырулил большой красный бетоновоз и ему пришлось вжаться в забор. Здесь в предгорьях были

совсем узкие улицы. Кто же знал, что здесь, в этих дачных предгорьях станут строить виллы-особняки, будет ездить крупная строительная техника. Жаль, что скоро этому «горному-горнему раю» придет конец. И Гевра, потирая ушибленную ногу, побрел к стройке, которую курировал.

На улице или в автобусе в эти дни чего только не наслушаешься. Гевра просто слушал, ни во что особо не вдумываясь.

Женщина говорит другой шепотом:

– Глянь. У этого, по-моему, один глаз не видит. Смотрит как-то вкось. Только не пойму, какой глаз. Моргает он ими одинаково вроде.

А мужик мужику около магазина:

– Хоть ты и хохол, но скажи – ответь. Зачем флот русский из Севастополя гнать? Пушай страны разные у нас, но море Черное общее, ведь.

– Блин. Разве я не понимаю? Но что мы можем? Бутылку распить и языком пожевать. Вот я вчера читал. В Москве людоед, наш, из Казахстана объявился. Раньше такого и быть не могло, чтобы люди людей есть стали. Тем более казахи. А теперь вот, объявился.

Заинтересовало было, но пошли разговоры другие.

– Смотри вон на тех. Цыгане вроде или таджики. Не пойму. И говорят, по-русски, а не поймешь, о чем...

– Да, брось ты. Обыкновенные люди...

– Не, это только кажется с виду, что люди это. Смотри у них и тени нет. У нас есть, а у них нет.

– Окно за ними. Потому и не видно.

– Тихо ты. Получше смотри. Видишь, ниже окна тоже нет теней. От ног должны же быть. На днях мимо дома такие же прошли. И воробьи, все разом, вдруг, улетели.

– Слушай, не пугай. И без того тошно. Год уже вместо мяса кости варю. Стыдно.

Гевра думал... Надо сильно озаботиться. Нельзя допустить, чтобы Балерина и он дошли до такого. Чтобы тень свою потерять. Низ-3-3-я...

Вообще, он не любил себя, особенно, когда инстинктивно, с тайным страхом и даже с брезгливостью сторонился убогих и калек, но ничего с этим поделать не мог. Поэтому Гевра восхищался кротостью знаменитой сестры Терезы. Фильм о ее жизни среди больных, нищих и прокаженных в Индии потряс его. Внутренне он преклонялся перед подвижницей. Она, несомненно, была святой, а он грешным и слабым снобом. Порой к нему подступала тоска и одиночество, как в период «жизни под сценой». Утешала его только мысль о Балерине. Она озаряла его всего, изнутри, и за это он был молитвенно благодарен судьбе. И надо сосредоточиться на одном - беречь Ее! А ведь у Нее есть и свои огорчения. Ему казалось, что в последнее время она как-будто отдалилась от него, словно тайна у неё своя появилась. И потом, это ее новое увлечение! Цветное панно, которое она показала ему, смущаясь и словно ненароком, было поразительно и искусно сделано. То была вещь несомненно художественная и несла в себе тонкое понимание цвета и гармонии. В этой войлочной картине жил свой особый мир. Как она сумела проникнуть в тайну древнего искусства казахов? Гены ли это или так неожиданно проявилось умение плести изысканный узор движений, как в классическом балете? Не удивиться этому было нельзя. В который раз она открывалась ему новой стороной. И что перед этим его сомнения и гримасы «бытовухи»? Ерунда...

... в глаза wpłyвает вечность... это синий кит... пасть разинул безмерную... плывет и поглощает воды небес... мгновения дни-люди, словно планктон исчезают там... в зеве вечности... но стоит глаза закрыть-открыть и сморгнув это наваждение, увидеть простое и понятное... муху, пень, еду, ложку... тысячу разных вещей... на каждой из них - отпечаток мгновенья... за утром - день... это понятней, чем вечность, уплывающая из ума и глаз... Только простые мелочи открывают суть жизни... влечения луны темны... к луне влечение опасно... лунатики невестомы... шаги их не слышны на крышах... их держит ветер под руки... ветер стоит на месте ради этой забавы... в этот миг можно увидеть даже тень ветра... только луне посильно отбросить от ветра тень... ради лунатика-мальчика, рискующего

ступит в пустоту и разбиться... они оба – луна и ветер – берегут мальчика... сон лунатика... только им юный - лунный бродяга по крышам доверяет сны на краю... бросает луна вниз серебряный шлейф... ветер исполнив заботу спасенья устремляется вверх по шлейфу луны... ночь принимает тень ветра... лунатик, сны свои рассказавший ветру, возвращается в дом... утром он не вспомнит, что видел тень ветра... отец и мать мальчика сетуют: ночью кто-то сорвал с яблони еще зеленые плоды... только мальчик-лунатик рад... у него есть тайна... он давно хотел поест кислятины... когда-то этот лунатик напишет луне и ветру длинные письма, не помня об их тайном знакомстве... и луна ему явится снова, но влечения к ней он не почувствует больше... и ветер коснется его и почти остановится рядом, но тени его не увидит он больше... взрослый мужчина, потерявший лунные сны...

Глава 29

Сосны были поразительно высоки, как летящие к небу копия, брошенные прямо из-под земли. Он же был распластан, повержен. Пустошь души изо дня в день медленно наполнялась плотным запахом хвои и янтарной смолы, которой было много. Повсюду, на стволах и ветвях у корней виднелись ее медово-желтые натеки. Отшельник медленно шел по сосновому лесу. Под ногами мягко пружинила подстилка, из нападавших за много лет игл. Мягкая-рыхлая - она словно качала-баюкала его, как мать ребенка на груди. За эти годы отрешения от мира и воздержания от пищи, Отшельник истаял и стал похож на полуживую мушкетера. Его просветленный взгляд благодарно принимал весь мир вокруг: и сосны, и ветки с сонмом зеленых свежих игл, и ягодные натеки янтарной смолы, а надо этим изливался безмолвной сутрой небесный свет. Отшельнику оставалось сделать последний, но самый трудный шаг к его цели. Он должен был теперь полностью отказаться от еды и воды. Эта вершинная ступень абсолютного самоотречения, забвения физической природы че-

ловека требовала такой силы воли и концентрации духа, которая находилась за пределами земного сознания. Отшельнику отныне предстояло есть только сосновые иглы и пить янтарную густую смолу. Лишь в этом случае, в его теле не останется ни капли влаги. Только так он сможет оградить свою плоть от разложения и глена. Ему надлежало стать живым янтарем, и тогда лишь в его насквозь просмоленном теле навсегда умрет золотая личинка - его собственный могильный червь, лишенный силы плодиться и разлагать человеческое тело. Одной только силой своей воли он саммумифицируется, сохраняя сознание и последнюю искру жизни в себе, либо...

На такое решиться оказалось непросто... О жизнь, как соблазнительна ты, именно, в такие моменты?.. О, Сайко! О, Будда просветленный! Дайте силы для чистого шага к вам!.. Отшельник сел, а поодаль стояли былые могильщики - эта (ныне - рыбаки). Сын его - уже отрок почтительно поклонился отцу. Изумленно и благоговейно. Они смотрели на него сквозь двойное марево, дрожащего в воде и небе солнечного света, как!... как этот источившийся до полупрозрачности, отделенный от мира лишь тонкой оболочкой кожи, но могучий духом человек садится за свою последнюю трапезу, оглядывает торжественно и просветленно эти роскошные зелено-янтарные бальзамические яства, расставленные перед ним на плахе соснового среза с дурманным густым запахом хвои и ароматом смолы, а затем взгляд его, устремляется вверх, чтобы уже оттуда еще раз оглядеть мир, освещенный рассеянным осенним солнцем. Тихо и благостно вокруг и в нем, жизнь смиренно уходит из его иссушенного многолетним суровым воздержанием тела, где бьющимся чибисом-птенчиком трепещет еще сердце, возглашая миру, что скоро наступит вечная светлая жизнь духа, ненарушаемая и нерушимая ничем на земле...

Как и повелел-пожелал Отшельник, вырыли глубокую (в два человеческих роста) яму с боковой нишей на самом дне, размером с татами. Яму вырыли под той самой сосной, что пыталась с высоты мыса увидеть море внизу и пенную полосу прибоя. В полном молчании, на грани священного ужаса и внутреннего

трепета - восторга смотрели спутники Отшельника и его сын, и жители рыбацкого селения, как он (в грубом монашеском одеянии-вервии и головном уборе) медленно-плавно-тихо приблизился к краю ямы и сделал чуть заметный жест. Три товарища и сын-юноша подошли и помогли Отшельнику опуститься на дно ямы. Отшельник так иссушил многолетним воздержанием свое тело, что был почти невесом. Казалось, он парил над жизнью. Отшельник (в прежней жизни могильщик Кен) в последние месяцы только смотрел внутрь себя и куда-то далеко во вне, читал безмолвные сутры, не пил даже воды и питался только сосновыми иглами и смолой, которые вытянули из него всю лишнюю жидкость, а кровь загустела так, что сосуды его теперь больше походили на алый ажурный каркас внутри тела, а тело стало неким храмом, где обитал только дух. Он уже почти не имел веса и сил у него осталось только на то, чтобы отвязать веревку - последнюю его связь с земным миром... медленно ступил в нишу - ступу (*уже невидимый снаружи, сел на татами из соломы и принял позу «дзадзэн»*). Товарищи его вытянули веревку и сверху ямы установили помост из сосновых брёвен, и покрыли его слоем земли с дерном. Только полая трубка из бамбука для подачи воздуха, единственный символ связи с жизнью, выходила из подземной камеры наружу.

Отшельник, вобравший в себя все горести и печали «трех эр - времен», остался в нише-камере, чтобы достигнуть там высшей степени просветления – сатори, дабы затем, по исходе жизненных сил и соков, вознестись к небесным сводам, где в венчике лотоса восседал Будда-Гаутама. Только с ним он мог обозреть-обсудить свою жизнь и цепочку воплощений – перерождений, дабы вымолить у Будды встречу со своей возлюбленной Сайко. Он верил, что за свои страдания на земле Сайко, в новом воплощении своем, стала небесной вишней-сакурой, цветами которой каждую весну любит сам Будда.

Люди вознесли молитвы над местом последнего уединения Отшельника, чтобы к началу зимы (по уговору) поднять помост и прорыть канаву от ниши в сторону моря. Затем им должно было (убедившись, что жизнь в нем угасла окончательно, а тело

не тронуту тленом) снова закрыть склеп с мумией сосновым помостом, засыпать сверху место упокоения землей так, чтобы никто больше не потревожил Отшельника. Единственной связью Святого Отшельника, по своей воле ставшего «живым-мертвецом-мумией», с миром живых будет узкий тоннель, прорытый от ниши-камеры и выходящий в сторону восходящего солнца над мысом. Через этот тоннель откроется святому вид на остров богов - Мияджима, недоступный глазам простых смертных.

... и вскоре бог открылся ему, таким как он себе его представлял, но все же... бог был другой. Не то, что понимают люди поныне, не имея терпенья постичь и прозреть... тот бог не имел обличья и подобия человеческого, а явлен был в словах неисчислимых, образах и вещах мира, для соединения начал и недопущения конца, для сеяния, а не рассеяния живого в пыль и ничто. И мы - человеки его были другие... для питания всего сущего, не поедания (как думают иные, не субстанция плоти), а иными существами и сущностями для одухотворения и осознания всего, что имелось в жизни, для благоговейного дела называния бесчисленного и множественно-разного именами летучими...и бог тот был не для разделения людей, не для споров и не для избранных постичь его божью сущность, а просто чтобы осязать и вдыхать, как воздух, и улавливать его всем дыханьем своим... не клясться именем Его или проклинать, не славить и не отрицать, не уничтожать что-либо живое ради чистоты имени Его, не писать книги и не говорить слова о Нем, не жечь и не рушить любые изображения, знаки, символы и, не искать противников Его или соратников каких, не строить капища-храмы-баптистерии-мечети-подполиця темные, ибо сама природа и есть местообитание Его, и растворение Его в природе - есть единственная форма сохранения жизни, а сами люди - пища божья, бесплотная и добровольная для всей жизни, ее бесчисленных образов и ее сотворений... нет, то бог был другой, не требующий поклонения себе, служения и защиты от неверующих, а паче того, истребления-убиения иных людей, видящих и мыслящих его иначе, чем якобы правоверные адепты, и не в книгах бог, а в человеках самих. И был то бог воистину незримый, целодоступный и тайный...

В трех слоях параллельного времени и в трех колодцах вечности, в которые попеременно попадает вещество жизни, струится влага событий со своей тайной причинностью и хранит память всей жизни, которая была, есть и будет на земле. Именно, на перекрестиях-пересечениях-переходах трех слоев времени, с тремя колодцами вечности, в самых разных и неожиданных вариациях и комбинациях, по законам сверхлогики, надстоящей над обычной логикой, пожалуй, найдем мы доказательство того, что непредсказуемая жизнь и гипотетическая вечность могут быть соединены самым невероятным и необъяснимым образом, вне зависимости от того, давно жил некий человек или только нарождается или его вообще еще нет, и он временно живет в одном из своих воплощений, терпеливо ожидая своего появления на одном из витков жизни, в слое прошлого или будущего, или мгновенного возрождения в любом из колодцев вечности, где можно даже встретиться с самим собой в разном возрасте (скажем, будучи дедом поласкать себя – младенца), т.е. все это, являясь абсолютно недоказуемым, все-таки, может оказаться истинной формой бытия. Стало быть, надо жить ответственно и с оглядкой на то, что существует возможность встретиться с самим собой или своим воплощением. Главное, чтобы при этом было не стыдно посмотреть себе в глаза.

Где-то на уровне третьего неба, по оси меж Вегой и Алтаиром, по руслу великой Молочной реки звезд, получившей прозвание Вечной Разлучницы, закрутился главный ветер вселенной и, сотворив невидимую воронку, вторгся в земные пределы, вовлекая в спираль своего губельного кружения все человеческое и нечеловеческое на земле, что дотоле существовало отдельно и не могло войти во всеобщий круг непа. Но вселенскому ветру не было дела до печалей земных и он закручивал свои воронки и спирали как ему вздумается, ибо законы вселенского веяния непредсказуемы и нам неведомы.

...Космический пес мчался к краю облака, где сидел Гроссмейстер. В сжатой накрепко челюсти пес вселенский держал два конца оборвавшейся было нити паутинной тонкости. Не дать этой нити человеческой судьбы окончательно разорваться он еще мог,

но соединить-связать ему было не дано. Пес остановился перед Гроссмейстером и глянул на него вопросительно. Во втором небе люди и собаки говорили на одном праязыке бытия и Гроссмейстер взял в свои руки концы этой нити. Космический пес разжал челюсти и склонил голову набок. Разлученные-разорванные концы нити вибрировали, но совсем слабо. Видно, какому-то человеку не хватило сил выдержать такое сверх натяжение и он пал духом, и стало быть, мог прервать связь времен, но более того, пресечь цепочку перерождений живого в живое... Гроссмейстер осторожно и медленно связал концы этой нити накрепко и поцеловал едва видимый узел новой связи. Нить вновь распрямилась и натянулась в просторах вечных небес и, словно струна домбры-кифары издала высокий чистый звук, которому радостно-реверно отозвались другие звуки от других нитей-струн, и стали уходить в дальний космос. Пес вселенский вскочил и вновь умчал по своим делам, а Гроссмейстеру, вдруг, ясно увиделось, как на земле, на краю крутого мыса над морем улыбнулся Отшельник, весь янтарно-чистый в минуту своего духовного просветления. Гроссмейстеру дано было узнать, что Отшельник навсегда вышел из тени зла и мести и ступил на путь новой жизни, оставляя все земные печали. К нему сошло воплощенное упование – улыбка Сайко и Будда Будущего обещал ему встречу с возлюбленной. И спросил Гроссмейстер просветленного Отшельника: – Будет ли и мне встреча такая с Лунной моей Красавицей? – Отшельник лишь загадочно улыбнулся. Ему осталось так мало жить на земле, что он уже не успевал донырнуть до дна своих заповедных знаний-вед...



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава 30

...ступени лестницы... уровни звука... степень перерождения леса в степь... фагот виолончелен... виола кобыза великолена... клянусь челюстью...

Легкое веяние-дуновение мыслей над вещами недвижимыми утешает. Однако, появляется и рябь на воде сознания и скрывает смыслы. Надо бы глубже в воду войти, нырнуть и, там, в тишине черепа поискать важную мысль. Разворошенная, за один только век, планета похожа на постель девственницы, разбуженной с утра грубым насильником и спросонья не понимающей, как вернуть чистоту снов на рассвете. Волна плещет на берег, смывая следы малого горя, а что делать с большим? Камень только кажется мертвой бездушной деталью пейзажа, но возможно внутри него дремлет крошечная устрица и ждет, когда он откроется и явит миру ее нежную суть – душу камня. Надо только ждать. И вернуться устрицей в океан живого. Бесчисленные высшие покровы лишь заслоняют-скрывают суть нашего древнего внутреннего сестринства-братства и еще более ветхозаветного материнства-отцовства, то великое родство-единство духа и материи, которое человеки так упорно разделяют тысячелетиями. У человека и камня, у воды и кристалла, у птицы и минерала подземно-

го могут обнаружиться единые начала и парадоксальное родство. В любом случае, без тысяч и мириадом живых существ и мертвых вещей, лежащих на поверхности или скрытых в глубине, невозможно представить жизнь на земле. Ничего не остается, как мыслить и искать новые связи в старом порядке причинности. Сестринство-братство-единство. Ничего лишнего. Все ценно. Беречь песчинку-травинку-дождинку пуще золота.

Всем известно, что цветы пахнут. Но если их запахи имеют нечто сходное с языком, то найдется и некто, кто сможет понять и научиться слышать речь цветов. И тогда он услышит их разговоры меж собой...

...Эти пчелы совсем не разбираются в пыльце. Изваляются по брюхо, бестолково жуужжа, лишь бы нектара надраться. А тонкости аромата, душа запаха?.. им это по боку. Надо же сначала ароматом насладиться, особо утренним. А потом уж нектар пить... Алкаши...

...Чтобы источать запах его еще надо создать. Думаете, там, где мои ландышевые корни хорошо пахнет? Ничего подобного. Вы и представить себе не можете из чего приходится творить аромат. И все для того, чтобы красота скрытая от глаз вышла из тени жизни в виде запаха и люди хоть не надолго, но отвлеклись от неприятностей.

Если не понимать, что такие состояния, как смрад и гниение временные и нет в них ничего злотворного, то как бы мы смогли сотворить из их первичных субстанций изысканный аромат. Не так-то это просто быть цветком...

Даже за красоту свою мы платим тем, что существование наше кратко. Весна, лето, а дальше – увядание. Но источник аромата... душа запаха - лучшие внешней красоты. Они тоньше. Дольше. О них помнят...

В молчании цветов есть смысл, иначе не поймешь тайну корней...

...Запах - это воплощение молчания. И не надо слов. Вдыхайте. Внимание. Разгадывайте...

...Мы - ландыши, научились расти из дерьма, и следить за чистотой и красотой стебля и лепестков. Попробуйте-ка сбе-

речь, даже в тени тонкий золотистый цвет - образ солнца, и при этом источать аромат счастья...

Почувствуйте и ощутите ветер, теплоту дождевой воды и прелесть омывания росой, услышьте вместе с нами легенды луны, грустные повести старых камней и остывшего пепла о временах, когда не было еще благоуханья...

... В каждом своем поколении - цветеньи приходится жить недолго, но мы утешаемся чужим счастьем и любовью, когда нас срывают и дарят. Приходится нам часто видеть и смерть людей. Печально быть свидетелем горя...

... Назначение семян наших и терпение корней - быть во тьме. И все для тех, кто обитает на земле, чтобы учились наслаждаться, как тонким ароматом, временем своей жизни под солнцем и ценили бытие земное, как летучий запах совершенства...

... Конечно, непросто быть нежными цветами среди грубой действительности. Но такова наша судьба - создавать аромат бытия...

Балерина плела свои узоры. Также причудливо плелись ее мысли в этот вечерний час ожидания Гевры. Но вокруг будто витал Ирис-ребенок, особенно в эти часы, и не давал ей забыть о себе. «Нет, - думала она. - Мой родится обязательно в одуванчиках и помимо речи людской я научу его языку цветов. Они будут рядом с ним всегда. Сначала он научится различать их по виду, затем по именам, а потом и по запахам. И сам всегда будет ароматным, вдыхая их, мой ребенок, Ирис. Он научится цветочным словам, станет слушать их волшебные истории и, однажды, научит этому языку людей. Стежок за стежком... Как же трудно вырастить доброго человека, если даже этот узор никак не удастся собрать?

Октябрь стоял какой-то пронзительный, будто хотел сказать, что он лучший из осенних месяцев и на него стоит поглядеть. И Балерина не могла устоять против этого молчаливого призыва и вышла погулять. Но вначале она решила навестить свою апашку, у которой брала шерсть и пряжу, поэтому вышла пораньше, как только Гевра поехал в «свой зоопарк зверский». А ехать

надо было к тому быломu дому, где осталась навсегда ее бывлая квартирка «полупторка». Апашка сидела на своем месте и очень обрадовалась приходу Балерины. Пошли расспросы, всякое слово, вопрос-ответ имели свою прелесть абсолютно бескорыстного разговора о житейских заботах-пустяках, тем более, что они – старая и молодая женщины – были связаны древним женским сестринством, где возраст не имел значения. Апашка полюбила эту молодую женщину, с какой-то красивой тайной внутри. Она хотела передать ей те крохи опыта и мудрости, которые ей некому было оставить, а Балерине давно не хватало материнской заботы, уже почти забытой, если бы не эта славная апашка.

– Доченька, смотри сколько у меня пряжи скопилось. Ведь ты одна у меня покупала. Забери все, она легкая, да и загадала я на нее.

– Возьму конечно. Хотела извиниться. Я же переехала с мужем в другой район. Теперь у нас три комнаты на двоих. В «Орбите».

– Ой, радость-то какая. Кутты болсын. Не зря я загадала на тебя. Кумалаки хорошо легли. Недолго третьей вашей комнате пустовать. Знаешь, доченька, дай мне свой телефон, а то мало ли что? Соседи мои тебе позвонят, скажут что да как. Ведь родных никого у меня не осталось.

– А вы мне свой, Шокен-апай дайте. Хочу в гости позвать.

– Спасибо, айналайын. С радостью пойду. Давно меня в гости не звали, разве что, небесный хозяин позовет.

Апашка повздохала и попрощалась, благословила Балерину. А пряжа апашкина и впрямь была легкой. Октябрь играл свои пышные пассажи, как вдохновенный музыкант. Балерина шла сквозь осень и несла в себе свою радостную тайну и эти пронзительные ноты октябрьских пассажей.

... странно, но иногда когда тебя окончательно истомит одиночество в стене квартиры открывается проём и ты выходишь в некий просторный коридор-артерию куда выходят такие же тайные проемы-выходы из других квартир и ты можешь войти-проникнуть в любую из них но что ещё более странно ты ходишь в чужой квартире а жильцы не видят тебя и продолжа-

ют делать самые обыденные дела свои и интимные вещи так что кажется и ты вовлечен в эти занятия стыд и страх быть обнаруженным и обличенным не покидают тебя и ты осторожно уходишь через проём коридор-артерию и долго ищешь свою квартиру с новой радостью ощущая свою защищенность-укромность... но кто знает не ходит ли и по твоей квартире беглец-невидимка из другого обиталища в этом доме одиночества и жадно пожирает глазами твою жизнь во всех её обыденных прелестях и мерзостях личного бытия?...

Балерина очень боялась этих мыслей. Ведь как не крути-верти, но её прежняя профессия, можно сказать, была частью искусно придуманного «театра подглядываний», и кто мог знать, что фантазирует тот или иной зритель-наблюдатель, смотря на её тело совершенных пропорций и, одновременно, полное дьявольских соблазнов, когда они ещё и удваиваются движениями сокрывающими – отворяющими – сакральными - сексуальными-влекущими-томящими и призывающими, порождая вовсе не те чистые интенции души, для которых и был создан классический танец, а иные проявления человеческой души: тёмные-ущербные, всякие шевеления-пресмыкания и проявления инстинктов и похоти пошлой. Она могла представить себе и наивные горячие терзания-поллюции юнцов и изощренную потенцию, зверское хотение-желание хищных мужиков-самцов-мачо, жадно рассматривающих ландшафт её тела танцующего, все ложбины-возвышения-сады-кустарники, открытые поляны-чаши-джунгли, русла рек, омуты тайные, гейзеры-фонтаны кипящие, ущелья-щельные-узкие-опасные... и вновь плато-возвышение-взлеты-вершины предвкушая путешествия по этой «терра инкогнита» - Женщине... или по другому-какому неизвестному секс-интим-островку, каковой достанется неудачнику по иронии судьбы вместо большого континента и ему не дано быть капитаном великих географических открытий вечно «Нового Мира» бесконечных интродукций-рондо каприччиозо любви.

Но ныне Балерина хотела только сохранить свой тайник-уголок, уберечь его от сглаза, укрыть неким пологом даже от «вышнего ока», ибо её новый танец любви, вобравший в себя

самые сокровенные сакральные движения женского начала, как демиурга, творящего мир её чувств среди развалин-сокрушений-распада и выхода на свет тёмных сил, еще небывалых ранее оргий алчности, триумфа ничтожных душ, растленных жаждой богатства и пирующих на помосте, под которым лежали тела людей брошенных, раздетых-распятых-насилуемых-поруганных на алтаре дикого рынка, которых потом выбросят на вонные свалки после использования, как гандоны. Такова была эта оргия «политеса» предательств сильных мира перед слабыми, «вертикалов» над «горизонталами». И потому Балерине было больно представлять Гевру, бредущего в этом бедламе-вертепе-шабаше, и могущим быть испачканным-пораненным-поруганным, а его сердце мужское-сильное может быть унижено, а честь истинного капитана, мечтающего о просторах и задумавшего, как можно быстрее покинуть этот старый захламленный порт, выйти в чистые просторы моря, обрести свою землю обетованную и водрузить там флаг своей суверенности-свободы. И она верила, Гевра найдет свой путь, свой ветер, ибо знала и то, что она сама и есть та земля заповедная-заветная, убежище и обитание любви.

Кто поставил мумию в маске собаки в подпол - схрон пирамиды? Не поймешь: то ли этот фараон свергнут был, то ли собака имела ранг божества? В принципе, собака достойна высоких почестей. За верность. Недаром же есть и созвездие Гончих Псов. Верно и то, что там, во вселенной, и охота идет большая. Знать бы только за кем и кто охотится? Там масштабы другие: целые галактики сжимаются в кольцо облавы, а черные дыры втягивают в свой загон тысячи звезд и они ослепленно идут за своим фюрером-коллапсом, мечтающим создать имерию-мегагалактику... А после что будет? Сожмется от перебора гравитации до точки и взорвется, разнеся в клочья чьи-то неземные амбиции...

...Но сейчас думается о другом, о малом, о ребеночке и даже о том, как он зачинается во вселенной собственной матери от одной - единственной упавшей звезды, от семени отца... Девять помножаем на тридцать получаем 270 дней. Эмбрион: вот-вот выйдет в мир человечий - жестокий. Кто устелит оду-

ванчиками ясли ему, или будучи волхвом подарит улыбку-улитку, а? Чтоб забыл боль рожденья. И эта высокая драма никогда не кончается и имеет миллионы сюжетов-продолжений. Говорят, как человек родился, так и жить будет...

... За грядою гор гремела гроза... вспышка-росчерк молнии. Грянул гром и за ним громаы другие загрохотали... грозно сгрудились громады туч над горными вершинами... и хлынуло мощно... грубый и резкий поток воды, ливший стеной... но струи ливня-дождя и самой грозы всегда грациозны и, танцуя, несут земле чистые гранулы капель... гроза грандиозна, как страсть-любовь-восхищение-восторг-нежность, превратившиеся в струение слов, а порой и в тихо льющиеся слёзы счастья...

Стоя у окна, Балерина находилась, как бы, внутри грозы, как если бы сама танцевала в этом грандиозном балете апофеозе-ливне, в слепяще-черных декорациях первозданной стихии, в едином ритме вдохновенного рондо-каприччиозо небес. И вспомнился, вдруг, Док-Учитель, совсем не похожий на себя в тот день, когда выдал одну творческую блиц-идею... Она должна станцевать Киплингговскую черную пантеру - Багиру. Только её. Одну. Без Маугли, Балу, Каа. Только одна пантера. Среди яростной грозы, в чаще джунглей. Чёрная среди чёрного, освещаемая вспышками молний. В грохоте грома. В паузах абсолютной тишины. В шуме потоков воды. В яростных порывах ветра. Она – Балерина-Багира появляется то авансцене, во втором ярусе сцены, то у боковых кулис. Гибкая, хищная, разевающая белозубую пасть. Свирепая, сверкающая жёлтыми бликами глаз с вертикальными зрачками. Быстрая и одновременно, тягуче-медленная. Непрерывно текущая пластика тела. Внешне. А внутри – ярость и страсть хищной самки, учуявшей в этом грохоте – просверках молний – потоках дождя своего первородного самца. Чёрного. Безжалостного. И... влюбленного! Слепая страсть. Хищная. Прекрасная. Ночь, гроза, джунгли. Стихия. И в середине Она! Багира! Балерина!!! И хотя это так и осталось идеей-фикс, но сердце всегда замирало при одной только мысли, как это могло бы получиться? И казалось ей, что и она, подобна пантере, не испугается ночной грозы. Ибо сама черна и бесстрашна...

Глава 31

Седой орел-могильник облетал дальние горы. Сверху они казались каменными холмами. Истерзанные ветрами и одиночеством, как и он. Эти горы дряхлели, но что-то было в них неуловимо знакомое. Старый орел пытался вспомнить давнее-смутное. Вообще-то он не знал, что выпал из времени. Оно казалось ему неизменным. Разве что летать стало тяжелее и горы, как оказалось, тоже дряхлеют. Верхнее чутье опытного небесного навигатора подсказывало ему, что он когда-то здесь бывал. Орел-могильник кружил медленно, размышляя... Вот эти два горных отрога, сходящиеся внизу у края каменистой пустыни, безжизненной и унылой? Видно, так печально заканчивают свою долгую жизнь горы, проигравшие битву ветрам? Может быть...

Орел стал снижаться. Редкие кустарники на глянцевах склонах, лишайники в укромных от солнца расщелинах, высохшие деревья у подножий, щетинистая трава на дне глухого ущелья, где когда-то бежала горная речка вот по этому извилистому руслу, теперь более похожему на сброшенную, невесть когда, шкуру длинной змеи, уползшей невесть куда... Нет, он все же бывал здесь... Неужели с той молодой легкой орлицей, с которой он закружился тогда в восходящих потоках весеннего ветра, оглашая любовным клетотом это самое ущелье?.. Под карнизом скального обрыва виднелись остатки давно разоренного гнезда. Что если это то первое гнездо, которое они свили с его дерзкой и вольной орлицей, принявшей его настойчивую, парящую над землей, любовь?..

Вспомнилось-всплыло... Едва успела орлица снести в их гнезде два белых, без единого пятнышка, яйца, как в самом низу обрыва заполошились-загомонили люди и стали разрывать основание скалы, вгрызаться в нее. От этого шума-гомона людского орлица стала беспокойна, не могла усидеть на яйцах и вопросительно-гневно смотрела на него, орла могильного-могучего, своими бестрепетными прекрасными глазами. И не усидела, покинула гнездо с осиротевшими яйцами, оставив их на погибель, на проглот той беспощадной-бесстрастной змее, что оставила свою

мертвую пеструю шкуру на дне ущелья. Взлетела разгневанная орлица и он вслед за ней, покружили они над гнездом своим и улетели к другим горам, оставив суетящихся шумливых людей под скалой, но еще долго их печальный проклинаящий клекот разочарования разносился эхом над оставленным гнездом...

В этом же провале времени, среди распавшихся столетий, под скалой, в своем склепе-храме очнулся и воитель-властитель от нескончаемого полу-сна, полу-дремы... он собирал свои тяжелые ртутные мысли... что он тут делает?.. Воитель осмотрелся в полумраке огромного склепа, стены которого терялись где-то очень далеко... здесь, в малых копиях, было искусно воспроизведено все, завоеванное им когда-то... его бывшая империя... страны, города, селения... горы, долины, реки, пастбища, озера, леса... все это – некогда цветущее, живое, шумное – была мертвым... над всеми этими копиями зыбились миражи, всем овладело недвижение, во всем зияла пустота... неужели, это и есть та империя, которую он так упорно завоевывал, устраивал?.. медленно-тягуче текли мысли...

Сколько лет-веков он здесь обретается?.. Время стояло недвижно, как эта ртуть в озерах. Воитель с трудом поднялся с ложа и побрел к хранилищу. Сосуды с травами и напитками, которые ему оставил «тот мудрец» давно опустели. Что же Мудрец сказал тогда, давая последние наставления?.. – Всякая пища мертва... И в первой жизни и во второй... Для вечной жизни нужна вечная пища... Где взять ее?.. Оставайся, повелитель, и думай... Воитель вспомнил, что когда кончились травы и напитки, он погрузился в полу-сон, а когда очнулся, то испытал невероятный голод и неутолимую жажду, которой не знал в той «первой» жизни. И он стал есть и пить ртуть, которой здесь было много. Насытившись, Воитель начал медленно и необратимо тяжелеть от единственной пищи, которая тут была, и вскоре, сильно захмелев от паров той же ртути, вновь впал в беспамятство-полудрему-полужизнь. В этих ртутных снах ему виделось, как отворяются врата второй жизни, которую обещал тот странный худой мудрец... встает новое солнце, триумфально приветствуя его – Властителя, пережившего смерть-недвижение... несут дары и явства...

ластятся дивные девы... Так повторялось многожды-много раз, но кроме мутного ртутного похмелья ничего нового не случилось и... и он снова принимался пить ртуть. А сего утра, сего дня, сего года-века, в провале времени, после особо обильного ртутного пиршества-пьянки Устроитель очнулся от совсем другого отвратительного, ужасающе-непотребного, недостойного его деяниям и помыслам сна. Это был сон-оргия...

Во множестве явились ему бывшие воины-слуги-рабы, жены-наложницы и... даже враги... И все они молча набросились на него, своего властителя, и стали отвратно-мучительно-безобразно-злобно (все вместе) употреблять и насиловать его во все отверстия, суя свои возбужденные члены-фаллосы в рот, в глазницы, меж дряблых ягодич, в задний проход – в анус – прямую кишку, в то время, как жены-женичины, словно фурии заставляли лизать и сосать свои влажные-смердные вульвы-вагины-влагалища, вертя перед ним задами и пукая-мочась-испражняясь ему прямо в лицо... а потом и вовсе разъярившись, стали ножами и кинжалами (в изобилии разбросанными в его оружейной палате) надрезать-вспарывать в нем новые половые отверстия для насилия, как кому вздумается и захочется... все беззвучно хохотали-орали ему: – На, ешь-жри, рвань ртутная-рвотная, дрянь подворотная... они глумились над ним, испуская в него потоки скользкой-вонной спермы-гноя-молоки-молофы, слизь невероятную, извергая из себя всю ненависть и презрение свое и возжеление тайное-запретное, пока не наступил обихий массовый супер-оргазм...

Не веря в происходящее, ужасаясь невыносимым извращениям, пришедшим в его сон из мира устроенного и оставленного им самим, Воитель стал распадаться на куски и лужи ртути и небывалая-невероятная вонь-смерд-тлетворение прорвались из него наружу, заполняя мрачный склеп-копию его имперских подвигов и помыслов, все пространство его второй жизни... и тут, когда он почти совсем очнулся и хотел было окончательно стряхнуть с себя остатки этого чудовищного сна, сверху, из-под сводов пещеры на него прыгнуло дикое существо, с человеческим лицом, ясно и жутко посмотрело ему прямо в глаза и произнесло:

– Вот теперь я буду жрать тебя, падаль, предок мой сраный... Это людоед упал в провал во времени... агх... хряв-чав... плюю-бля... Все.

Когда долго находишься среди искони молчащих пространств: в пустыне или в горах, то поневоле станешь молчальником. Мудрец, водворив воителя в место его последнего молчания, пересек в одиночестве пустыню и подошел к северным, отвращенным от солнца отрогам Гималаев и ступил на земли древнего Тибета. Перед глазами Мудреца расстилалась горная страна, возвышенная не только горами, но и тысячелетними поисками смысла жизни – смерти и духовными надстояниями под суетой равнин. И Мудрец решил пересечь эти высочайшие на свете горы, таившие в своих недрах тайну грандиозного столкновения земных начал и, потеряв веру в равновесие добра и зла, начавших миллионы лет и тысячелетий эпох после, свое беспримерное восхождение к небу, чтобы там высоко над землей, найти ответы на свои вопросы и утешить бурю смятения и разочарования в существовании самой жизни.

Начав свое восхождение в эти, и без него возвышенные горные пространства, Мудрец думал о том, что молчание, в ином, долгом молчании пустынь и гор, имеет огромную силу и способно раздавить душу. Гибельное молчание может овладеть сердцами и очень злых, и очень добрых людей, но они выходят из этой долгой невольной немоты по-разному. Но совсем особенным является молчание тех людей, кто ушел в размышление-сострадание к другим молчащим (добрым ли? злым ли?), чтобы понять причину их молчания, а тем более предполагать то, какими они выйдут из плена-заточения-одиночества молчания. Если, по-настоящему, захотеть понять молчащих и самого себя, то надо пойти в Молчание Молчаний и выйти из него настолько сильным человеком, на которого можно будет взвалить тяжесть последней ответственности за всех молчащих людей, и даже за тех, кто навсегда умолк в смерти, как если бы тебе, вдруг, некто сказал, что ты теперь единственный живой человек на земле, кто еще может произнести слово и прервать печаль молчания даже этих древних красивых гор.

Чтобы прийти к ступени первого вопрошания и подняться на вершину последнего, нужно пройти испытание молчанием. Джан – первая ступень медитации. Пусть мысль станет плугом, бороздящим землю сомнений, пусть вскроется убежище-гнездо, где таится червь бытия, пусть душа, словно птица с высоты, увидит место соединения причин и следствий жизни земной, и станет душа Ситхартхой – принцессой сострадания всем молчащим в отчаянии людям, пока не откроются все четыре знака сущего. Надо заново понять древние тексты вед, постичь их знамения, посягнуть на сакральность тайного знания, даже если для этого предстоит пройти медитацию боли и медитацию измененного сознания, потерять на время разум, выйти за порог реальности, но освободить душу от телесных оков. Пусть тебя терзает демон Мара и три его дочери встанут на пути к чистому сознанию, но и тогда, может быть, тебе встретится древо Ботхайя и под ним к тебе придет просветление и найдешь ты утешение в том, что и ты жил, в общине людей и страдал вместе с ними. Кто знает, может то древо находится за тем перевалом, за этой бурной рекой в диком ущелье, или по ту солнечную сторону этих великих вершин? Только терпи, иди, мужайся, а что до нирваны, то ее блаженство достижимо, разве что, только самому Шакьямуни Гаутаме – принцу истинного Духа... И Мудрец шел, поднимался, думал и молчал... Там, далеко, на западе, за этими горами его – последнего человека ищущего спасения, ждет сам Амида Будда с непокрытой головой...

Глава 32

Казалось, он не имел никакого желания ни лететь, ни думать. Но думать и лететь приходилось поневоле. Многолетняя практика жить-пребывать в двух ипостасях своих превратила Есеню из живого человека в мыслительную машину чистой логики. И всё это для голой вещественной пользы-выгоды. Он сам себе порой казался неким существом, наподобие кентавра. Бить копытом и одновременно думать было непросто, а потому Есеня внешне

покрылся такой непроницаемой броней, что скорее относился к виду бронтозавров новой эры хищных гигантов дикого рынка. Не то ящер, не то кентавр? А что человеческого в остатке?..

Сутолока аэропорта «Манас» в Бишкеке его, как ни странно, успокаивала. Есенин был, как всегда, недрёмен. Трое, охранявших его, сторожились на отдалении, на своих местах, и он видел их обводным взглядом. Так было оговорено. Он среди простых пассажиров. Не в привычном «VIP»-зале. Правила эвакуации во все время остаются неизменными... Раненый волк уходит тихо... В логово отмщенья...

... наука мести... если есть метла в руках, стой за ветром... осмотришь-угадай веяние-направление и мети от себя... чистить землю под собой и другими благое дело... пыль, летящая по ветру, легка и возвращается небу... метельщик праведный-дворник земли... спасибо тебе за работу метенья... однако есть и наука мести врагу... учеников много...

Жена его с детьми улетела днём раньше из Алма-Аты вместе с отцом, по официальной версии – лечиться. Однако, и тесть его, и сам Есенин называли это эвакуацией. Временной, но хорошо продуманной. После стрельбы по тестю, слишком много знавшего о «конструктивных тайнах» нынешней власти, и лишь чуть раненого для «острастки» стоило задуматься. Убитые – охранник и водитель – были тому неоспоримым основанием. Стоило поразмышлять. Напрасно всегда осторожный тесть затеял возню вокруг нефти и металла. Того, что у них было: большой холдинг по строительству, несколько торговых домов и все еще процветающий бизнес по добыче габра на надмогильные памятники – этого вполне хватало. Еще была управляющая доля акций в недавно учрежденном банке. Но тесть и он сам, втайне, хотели большего. И свои и российские олигархи застили глаза. Настойчивые системные попытки выйти на уровень выше показали, что на металл и большую нефть наложено табу. Там действуют иные правила, вне законов свободного рынка. Вот и постреляли. Предупредили. В самой «высокой» политике им не нашлось места. Упорствовать было глупо. Есенин разукрупнил холдинг, часть бизнеса оформил на доверенных людей, активы перевел в оффшорные зоны. Банк

«они» не тронут. Там солидные дольщики из «высоких кругов», хотя и здесь надо держать ухо востро. Надо ввести пару «иностранцев» в правление, взять в долю. За тем он и ехал. Отсидеться, привести в порядок активы в оффшорах. Продумать новую стратегию. Есения еще раз огляделся и пошел на регистрацию. Кажется, пронесло. Отпустили. С намеком... Уже сидя во взлетающем самолете, Есения позволил своим мыслям совершить реверс в не столь давний год...

Свою зимнюю любовь он встретил случайно. Под Новый год, на одной из многих праздничных вечеринок. Она была из тех, кто разносил коктейли. Есения не обратил бы на нее внимания, если бы... два протуберанца глаз полыхнули рядом... почти равнодушно, но у вспышек в женских галактиках есть своя энергия... хотя холодный огонь из больших глазниц едва коснулся его, он инстинктивно отпрянул... зрочки обсыпаны золотой пылью поверх блесков бриллиантовой зелени... там бездна, провал во времени, дыра во вселенной и... холод... в котором конденсируются огненные вспышки неземной природы... откуда-то пришло в голову, что такие глаза ему уже приходилось видеть. Да, в фильме у Спилберга... глаза ящера... красивые... страшные... немигающие... глаза из невероятных времен... взгляд-вспышка-угроза-холодный инстинкт...

Из невероятных времен и далее на тонкой пленке воображения проявилась картина... Заросли гигантских хвощей и папоротников. Удушающая духота и вонь юрских и мезозойских болот и лесов. Солнце дрожит в мареве небес, грея сонмы сонмищ невероятных существ и растений, брошенных в пекло сотворения и яростную битву выживания. Здесь все чудовищно, несоразмерно и омерзительно уродливо: букашечки, размером с барана, слизи, вьющиеся среди лиан так огромны, что падают под тяжестью своих глянцевых тел, не в силах удержаться на ветвях и листьях.

Смрадное дыхание хищных ящеров, ядовитые испарения, испражнения безобразных бесчисленных гадов и громадных травоядных гигантов юрского периода, смешанные с серными выделениями болот и густым, почти осязаемым запахом раз-

ложения животных и растений – вот великая реальность эпохи гигантов. Только неиссякаемое чрево молодой и бесстыдной планеты могло породить такие мегаформы жизни во всём их отвратительном великолепии. И вот на поляну этого непомерного леса выскочила самка аллозавра в соку своего ящерного девичества. Могучие токи ее тела вырвались наружу пронзительным криком и она затанцевала на месте, бросая вокруг свирепозовущие взгляды. Самая изящная дама юрских чащ вышла на свой первый бал... Нутряной брутальный рев сотряс длинные толстые листья папоротников и хвоцей. Самые слабые из них осыпались. Из мрака своей безмерной свирепости, из дремучей глубины сырых юрских джунглей вышел самец аллозавр – зверь юрского периода. Император хищников. Сжатая спираль самых жестоких – диких инстинктов, неостановимый истребитель травоядных неповоротливых ящеров с мозгами больших добрых коров. Но сейчас он вышел не на охоту... На зов любви... К принцессе юрской... Кровожадной, грациозной, зевно алой в пасти... К аллозаврихе своей зверски красивой... Зубами страшенными клацнули... Улыбнулись ящерно... Заревели, взвыли, вздыбились... Лес юрский притих... Вымер будто... Мегалотерии и малые еще гиптиусы удалились, спрятались, покрылись зеленым жирным потом и пускали мочу от страха... Судороги ужаса первобытного, несказуемого, запредельного сотрясали их... Яр-яростен юрский зубастый монстр-самец в любви... Юная самка аллозавра в гиперстрасти первой своей бесстрашна... И прекрасна...

И подумается порой, как расточительна природа в твореньях своих, как безгранична в фантазиях, если одарила любовью даже кровожадных титанов?! Кто знает, может быть, именно в ту свирепую эру динозавров (пусть и в чудовищной своей праформе) и зародилась та самая любовь человеческая, как совершенный и бессмертный дар природы? А что до зверства, то этого и поныне хватает среди людей.

... Любовь, которая началась зимой, похожа на гололед. Какая-то внезапная аномальная оттепель, нечто вроде преждевременной весны, превращает к вечеру изначальную мягкую хрупкость снега в твердый и скользкий наст. Таким смерзвившимся

жестким снегом уже не оботрешь разгоряченное лицо, не даст такой снег и желанной свежести, а скорее поранит кожу. Самое неприятное то, что ты не можешь уже уверенно ходить по нему, ноги скользят, ты глуп и нелеп на гололеде, сотворенном тобой же самим в горячке зимней любви, что родилась вопреки неким тайным законам, вопреки земной природной тяге влюбляться по весне. Конечно, такое никому не расскажешь. Даже его собственное благоразумие не спасло его от этой напасти – влюбляться зимой. Вот отчего та зимняя любовь оставила в нем холодный ожог на душе. Но воспоминание было еще живым, как человек, упавший в прорубь. Думая об этом, он испытывал такое странное ощущение, словно гладил роговую кожу вмерзшей в лед, и давно вымершей рептилии, чьи глаза продолжали смотреть из-под льда, создавая почти визуальную иллюзию, когда невозможно понять: живой твари они принадлежат или все же уже миллион лет мертвой...

Он никак не мог забыть одну полумистическую ночь в конце февраля, когда на улице и впрямь был гололед. Это случилось уже после банкета-фуршета.

Инфернальная отрешенность ее взгляда даже чуть обидела его. Она даже не улыбалась и легко-осторожно пошла дальше. Он стал скрытно наблюдать за нею, внешне продолжая светские разговоры. Пустые, поверхностные...

... Высокого роста... огненно-рыжие волосы... опрятная строгая униформа не могла скрыть ее природной стати женщины-хищницы... так прогуливаются в саванне гепарды, внезапно, замирая... их глаза тоже немигающи, равнодушны, бесстрастны... тонкий с сабельным в выгибом нос, шея, ноги... ахалтекин-ка! (он купил по осени такую, для скачек)... с норовом... Есеню зацепило... он искал ее глазами, прикрывая их краем длинного фужера...

В то же время, параллельно... она тоже зацепила его взглядом... одет изысканно, почти одного роста с нею... бизнесмен с положением... слегка надменен... глаз не увидишь сразу... полуприкрыты, смотрит в сторону, но ее приметил... ну, ладно... походим, раз такой карнавал... вновь проходя мимо него, она

чуть подняла глаза... мускусный импульс плоти был послан... приняла фужер на поднос, пошла дальше...

Самолет тихо гудел в ночном небе. Казалось, он не летел даже, а висел... По краю иллюминатора проступала тонкая изморозь. Есень, глядя в высотную пустошь неба, продолжал вспоминать...

– Вот ведь зацепила, - думал он тогда, в тот вечер, незаметно продолжая отслеживать ее передвижения по залу. Казалось, она чувствовала его потаенный взгляд, но ничем не выдавала этого и продолжала гибко-плавно передвигаться по залу. Скорее даже тихо барражировала, как акула-барракуда над рифами, почувывая добычу. Удивляясь себе самому и досадуя, он в конце вечера дождался ее в джипе и предложил довезти до дома. Она согласилась молча и так же в молчании он довез ее до подъезда, проводил до двери квартиры. Сам не зная почему, протянул ей визитку с прямым номером телефона... Его заклинило. Все последующие дни он продолжал думать о ней.

...что-то шептало... лишь лишившись лишнего лишишься личности... лишь-лишь... слышь?.. лишь лица лишений личности... то бишь?.. лишение лишнего неслышимо... вишь?.. дальше тишь... лишь лишаясь... ума решаешь, обретешь... слышь?.. в любви личность излишня... решишь... лишаясь личного...

Она позвонила через неделю. Сообщила, что у нее умерла мать. Просила приехать к ночи. Сказала, что не хочет быть одна с покойной. Странно, но имени своего она так и не назвала. Он, поколебавшись, все же приехал. Дверь была открыта. Она провела его в гостиную. Гроб с телом покойной стоял посередине. На двух табуретках. Под гробом – таз с известкой. Он огляделся. Старые ковры на стенах. Безделушки на допотопном комод. Герань и кактусы на подоконнике. В горшках. На двери шифоньера почему-то висела горжетка из чернобурой лисицы с пуговичными тусклыми глазами. Чуть пахло нафталином. Видимо, какая-то женская тайна покойной была связана с этой облезшей горжеткой. Давним, послевоенным бытом несло от этой мрачной горестной обстановки... Наконец, он взглянул на нее. Огромные глаза ее смотрели на него из своей непроницаемой глубины. Она,

продолжая молчать, погасила верхний свет и жестом пригласила сесть на диван-кровать у стены. Он сел, удивляясь тому, что подчиняется ее сумрачной воле... За окном молчала зима. Ночь холодного полнолуния. Молчали и они. Это был последний ночлег покойницы в своем доме, где она видно, прожила много лет, любила, схоронила (и уже давно, судя по поблекшей фотографии на комод, в рамке) мужа, а теперь лежала, отрешенно, в гробу, будто подводя итог своей многотрудной жизни, от которой осталась только ее красивая тридцатилетняя поздняя и единственная дочь. Так думал-предполагал он, хотя ни слова так и не было произнесено меж ними. Он мог лишь догадываться об их жизни в этом старом доме послевоенной застройки, об их отношениях материнских-дочерних, о горестях совместных вдовьих-сиротских, которые давно уже, наверное, перешли в древнее сестринство-подружество и останутся отныне никем, кроме них, непонимаемой и неприступной для посторонних тайной. Все своим практическим-скептическим умом и опытом Есения понимал, что не должен бы находиться здесь, но уже ничего не мог поделать. Это было похоже на западню и оставалось только ждать, когда все само собой разрешится и он сможет вернуться к своей жизни и делать там привычное. Все наружное застыло в этой зиме за окном, утонуло в тишине безмолвия и утеряло прежний весомый, казалось бы, смысл. Сейчас он поневоле зависел от нее, от этих неодолимых и неожиданно обступивших его обстоятельств, чью сакральную власть он не мог ни оспорить, ни преступить. Он ждал...

Луна заглянула в окно, осветила лицо покойницы, окончательно отрешая ее от этой жизни. Он было уже решил прервать это молчание, как она сама, вдруг, повернулась к нему и, не отводя своих (ставших совсем бездонными-древними и, в то же время, беззащитными) глаз, сказала тихо: - Останься на ночь. Не уходи. Эти снежные нежданные слова отняли у него последнюю волю и он, впервые, понял какую повелительную силу имеют слова, произнесенные в присутствии смерти. Все, что произошло дальше, он и теперь не мог бы назвать действительно случившимся, реальным, так внезапно это стало происходить-совершаться...

Её молчаливая яростная, какая-то безнадежная, страсть не могла быть ни отвергнута, ни осуждаема. Он покорился этой снежной, невесте из каких времен объявившейся, женщине и сам испытал такую тяжко-животную-ненасытную страсть, ни секунды не забывая, что рядом лежит покойная мать его невероятной-сокрушительной-невообразимой и прекрасной любовницы. Она источала из себя нечто такое древнее, объяснения чему нет на языке цивилизованных людей, что он чувствовал только свое, вдруг ставшее ягнячьим, сердце, словно, вопреки всяким законам природы, его-ягненка, любила всей своей яростной-хищной и невероятно нежной страстью красивая молодая волчица и он, единственный, мог видеть логово ее темного прекрасного и страдавшего сердца... Такова была эта зимняя любовь его с таинственной снежной женщиной... Вот о чем думал Есень, летя в самолете, в неизвестность. Он так и не узнал ее имени и никогда больше не видел ее.

... и-и... носить бы и носить её на руках... не томиться усталостью рук, ибо ноша дана тебе такая... благоуханная с уханием-счастьем и терпеньем ждать дотопле, пока не станет ноша привычной-легкой и сотворится чудо невесомости блаженное... вот можешь уже и опустить её вроде бы наземь, а она уже парит-летит воздушно-легка сама по себе... и тогда, и тогда ляжет на сердце тяжкая грусть-мысль-тоска, как бы снова не исчезла она... как если бы поднялся ветер, подхвативший запах цветка или аромат юной яблони ... даже зловонное облако, исторгнутое невинным жуком есть для жучихи его бальзам медно-пряный-сладкий – призывный... разве что ветром стать, долететь-обвить все пространства и возгласить о счастье быть даже тенью ветра... а если гора-скала и преграда и нет сил у меня лететь-возгласить ароматы-песни любви, то пусть паду и изветрюсь и стану тенью ветра... и завет тогда не исполню... не жальтесь на тягость легкого-летучего-ляно-пряного-липуче-медового запаха счастья, коль скоро выпало нам время ношения мысли... о!... тень ветра...

Порой нет никакой возможности определить, что находится в границах нравственных норм, а что за гранью понимания. Вся-

кий человек, особо в ситуациях любви и ненависти, или находясь в стрессовом состоянии, поневоле сдвигает шкалу дозволенного. Иногда выше и дальше пределов нормы. И что же теперь?.. Где границы эмоционального взлета или сокрушения, пределы оргиастического плотского порыва и, вообще, возможна ли тут гармония или шкала ценностей? На закате долгого грозового дня, когда из-под кромки все еще лиловых влажных туч по всему небу проблескивают беззвучные молнии наступают такие минуты затишья, в которые сама природа пытается понять, насколько она может быть буйной в стихийном неистовстве, как долго должен литься ливень, сколь оглушительны должны быть громы, прежде, чем наступит долгожданный покой? А сколь продолжителен может быть и сам этот покой? И пока еще не совсем угасли последние просверки совсем недавно полыхавших молний и помнятся утробно-тяжкие сокрушительные громы, ярость порывов ветра и шум потоков воды – только в такие минуты сознаешь всю сладость ужаса, все выплески животного восторга, от крика до стога, когда стрелки эмоций и гормональных бурь зашкаливают, и все это может быть сравнимо только с любовью, взрывами страсти и неистовством бушующей в крови нежности... да разве есть у нас выбор? Пусть будет все, и пусть потом тишина. Ах, ты хищница, свирепая молчаливица, прекрасная ахалтекинка!.. Зимняя любовь!..

Глава 33

Когда Людоед уже подходил к горам, то увидел приبلудившуюся белую козочку и, пораженный внезапной темной, до того никогда не бывавшей в нем мыслью, изловил ее и затащил в один из своих схронов. В сумрачном логове, от яркой мутной тоски по умершей матери своей, Людоед весь день насиловал отчаянно бляевшую козочку, удивляясь неостановимой звериной похоти-эрекции и заснул, обняв свою беленькую любовницу. Это продолжалось несколько дней, пока сошедшая с ума козлиного своего, ставшая самой себе неведомым существом, не

умерла козочка от истощения и непрерывного кашляния. Людоед долго смотрел в ее вертикальные, погасшие уже зрачки, похоронил жертву своей беспримерной страсти-похоти и затосковал по безропотной любовнице своей. Бедная козочка была, видимо, единственным живым существом, к которому Людоед привязался. С той поры, мир стал для него черно-белым, будто нарисованным, без живых красок и звуков, и Людоед необратимо стал погружаться в свое последнее отчуждение, где для него уже не осталось ничего, что могло бы удивить и взволновать его. Он просто внутренне умер.

Тьма худшая, чем безумие, застлала его разум. Мох серый тяжелый прорастал в душе. Слово человечье прекратило жить в его сознании и распалось. Ничего нельзя было опознать и выделить из серого мха дней. Время остановилось в середине, потеряв начало и конец. Это было больше, чем смерть. Во мхе, разросшемся внутри его, завелись вши и клещи, цепко держась за теплую мшистую плоть-шерсть и все глубже влезая в неё. Изморозь бесцветная образовалась во внутренней сфере тела и не таяла больше. Если процесс создания человека был долог, то обратный ход событий, распад, совершался быстро. Могильные черви съеденных им женщин и дев стали оживать и копошиться вокруг и внутри него. Вырождение, как небывалая болезнь, покрыла его коростой-чешуей. Но он не мог ни знать, ни понять, происходящего. Необратимого. Он стоял за гранью живого мира, как зверь умирающий в логове.

...на той стороне в трех шагах от умиравшего детства, стоял ягненок... вроде бы еще живой, но без шкуры... голый... розовый... дрожит... верно, холодно ему?... хочется затеять игру, а он молчит... словно просит: пришейте мне голову обратно, не снимайте шкуру-одежду... мне холодно, ножки верните я бегать-резвиться хочу... где уши, глазки мои?... где язык мой?... теперь ни бе, ни ме... умер мальчик-ягненок и зверь заместил его... стало в груди тесно и волосато... это хищное тяжкое сердце зверя вселилось вместо прежнего легкого сердца ребенка-агнца... кровавое утро казни-убийства-заклания друга ягнячьего моего... вот заполняет меня темное-вязкое-мшистое... с кровью-тоской

и криком-рыком звериным... мать моет и мочает ягнячьи кишки на руки... пес улыбаясь ест зеленую дымную кашу ягнячьего желудка, ожидая подачек... хорошо бы ребухи... откуда столько пустоты вокруг и в груди моей?.. лезет и лезет туда разная жуть мертвяная... в душе холод и темнота... мысль явилась... убить самому и кожу содрать с человека да посмотреть что под ней?.. как под шкурой агнца-Агника-ягненка зарезанного... теперь не с кем поговорить по душам... что да как и отчего такое все есть-бывает на земле?.. За краем сознания людоеда разверзлась бездна безумия... человеке... звереющий...

Осень предгорий, особенно в первое полнолуние полна мистериями увядания и обладает тайной притяжения смертных фантазий. Всеобщий отток соков от листьев к ветвям и вниз к корням, подобно невидимой отливной волне утягивает тайным своим притяжением железо из небес и нижний слой неба уплотняется, отчего людьми овладевает беспокойство. Иным из них наступает время покинуть обитель разума и начинать свои скитания в безумие, другим она забивает голову желтыми фантазмагориями, несущими в себе убийственные разочарования. Уши и души людей заполняет сырость и печаль увядания. Они начинают внутренне стареть и заполняют нижние слои земли мыслями о смерти, а те, кто вдыхает и видит эти выдохшиеся и увядшие фантазии разочарованных, тоже начинают бредить и совершать несвойственные им ранее поступки. Между тем, в верхние слои неба проникают малюсенькие, с атом, кристаллики снега и так отражают солнечные лучи, особенно перед закатом, что сам свет начинает заболеть сумеречностью и людям тогда мерещатся разные мерцания-знамения-фантомы, и объявляются в разных местах земли фанатики с льдистой чешуей на глазах. Эти люди, примитивные дикие инфузории – фанаты идей и всяческих однополоых религиозных братств, вынюхивающие всюду запахи увядающих растений, гниющих плодов, гнойных нарывов в теле животных и в людях.

Вот так, однажды, напился и отравился миазмами гниения и Бастард-людоед, который вскоре научился и в другие времена года питать свой мозг и кровь этой наркотически - гал-

люциногенной субстанцией элементов-запахов-миазмов смерти. Поэтому убив-осквернив и съев несколько молодых женщин с душком, он почуял, подобно матерому волку, погоню за собой (его уже искали) и ушел в горные леса, став настоящим зверем, попавшим в свой чащобный мир. Он и зверушек умел ловить с невероятной смекалкой – сметкой и раздирал их одним движением, глядя в их агонизирующие зрачки. Он любил смотреть на вянущую орхидею жизни в глазах своих жертв, надеясь увидеть исходящую из тела душу их. По нижней, почти безлюдной гряде гор, людоед добрался до перевалов и оказался в Киргизии, на склонах Кунгей – Алатоо. Те, кто видел его мельком в огромной черной дохе с капюшоном, который он соорудил себе из бараньих шкур, могли принять его за дикого горного человека «йети-алмаспа», которому издавна приписывали убийства и зверские изнасилования девушек, даже боясь допустить, что такое мог сделать человек. В этих краях издревле ходили подобные легенды-устрашения о диком охотнике на людей и дев. Пошли слухи длинные-дремучие, что объявился йети-алмасп и ныне в этих горах. Однако, милицейские работники, не страдающие романтическими бреднями, уже всерьез искали «казахского людоеда», но не объявляли о том официально, опасаясь поставить позорное пятно на чести доброго мирного народа (большей частью из идейных соображений). Можно подумать, что злые боевики в горах Чечни, умыкающие и истязующие военных и мирных людей, были чем-то лучше людоеда. Просто одно называлось войной, а это - уголовным преступлением на почве секса, патологии и безумия. Исполненный презрения и равнодушной ненависти к людям вообще, людоед наслаждался первобытной жизнью в диких горах, сам себя удивляя своей выносливостью и находчивостью, а хищные его повадки пугали настоящих природных хищников-волков и, даже, снежного барса, пару раз выходившего на след этого неведомого ему зверя с неотступным запахом смерти. А людоед сделал себе три логова - схрона (два на казахской стороне гор и один на киргизской) и как-то, по осени, выкрал разбитную бабенку из одного иссык-кульского санатория, посадил ее в просмоленные арканы и долго мучил и употреблял ее,пил кровь

из надрезов, пока она совсем не скинулась с ума, а когда уже совсем надоела, зарезал ее на зиму и ел мороженое, со снегом, желтое мясо. Изредка, по ночам, Людоед навещал свою мать, пугая ее своей нелюдимостью и потихоньку заморозил ее изнутри так, что она совсем бросила пить-веселиться, чуралась сельчан и быстро старела-седела, пытаясь понять сына и себя, пока в голове у нее почти не осталось мыслей, кроме недоумения - зачем жила? Однажды, в очередной раз решив навесить мать, Людоед застал ее мертвой, сидящей у окна. К моменту смерти мать помолодела, словно враз вымыла из себя унылые годы и треволения жизни, будто впала в девичество, и на лицо её вновь вернулись черты невинности. Людоед улыбнулся даже, распрямил и уложил бедную мать свою на кровать, а затем поджег сараюху так, чтобы только через час разгорелось по-настоящему. Когда пришли односельчане, все было кончено и вместо женщины остался только обугленный труп с широкой нелепой улыбкой, оскалом белых зубов, и бельмами глаз.

С того дня, как людоед мать мертвую поджег, он опять ушел в горы. Далеко. Одичать хотел вконец. Наткнулся, как-то, на едва заметный вход в очень старую пещеру. Со стороны не увидишь. Видно, здесь большой оползень был и остался лишь приступок-площадка перед входом. Теперь остался только едва видный твердый гребень, огибающий эту большую скалу, смотрящую в сторону солнца. Задумав сделать здесь еще один схрон, Людоед разгрёб щебень и открыл вход в пещеру, которая оказалась неожиданно просторной. Он вошел туда и расжег костер из сухого кустарника, которого здесь было много вокруг. В свете огня колеблющегося от холодного потока воздуха, сквозившего из глубины, он увидел на стенах древнюю роспись охрой и углем, сделанными невесть когда.

Людоед поначалу отшатнулся в мистическом ужасе, но тут же взял свои нервы в узду воли. Он слышал, и читал даже, о росписях в пещерах древних людей. Огонь колебался и силуэты животных и охотников с палками зашевелились-закачались в ритме отсветов. Ему подумалось, что это сделано так намеренно и прорисовано с учетом зажигаемого кострища. Над тем местом.

где он сам расжег огонь, Людоед увидел столетний слой копоти, обвисавшей лохмотьями и часть копоти лежала на полу пещеры так густо, что ноги скользили. Чуть дальше, в глубине он разглядел несколько полуистлевших скелетов, больших и маленьких. С горящей веткой в руке он подошел, любопытствуя, ближе.

Почти все скелеты были целыми, кроме двух-трех, чьи кости лежали вперемешку. Он чутьем своим людоедным-звериным угадал, что эти тела были расчленены когда-то, очень давно, его древним собратом - людоедом. Часть этих отделенных костей была обуглена и лежала недалеко от места бывшего кострища. Людоед решил заночевать здесь, натаскал еще кустарника, изрядно потрудившись, поймал две змеи на ужин и расположился в пещере так, словно он здесь жил всегда. Людоед уже засыпал, погружаясь в свои нечеловеческие-звериные сны и не мог видеть, как в отсветах потухающего огня от стены пещеры отделились фигуры двух охотников, будто это были привидения - духи этого каменного обиталища. Они казались почти живыми в свете тлеющих угольков костра...

...Охотники заговорили друг с другом, как если бы не прошло многих тысяч лет с тех пор, когда тут некогда текла - совершалась совсем другая жизнь. Речи их нельзя было слышать, потому как звуки ее давно впитались в камень, приглушились сыростью и тьмой, царившей здесь тысячелетия, пока не открылся случайно вход в их пещерное время и не пришел этот странный пришелец из неизвестного мира и не вызвал их к повторной, хоть и краткой, мистически-призрачной, реинкарнации в свои же, но уже бесплотные тела. Один из них указывал в угол пещеры, где из распавшихся скелетов мистифицировались в плоть человечью мертвые тела их соплеменников (видимо умерших почти разом, не то от голода, не то болезни). По жестам одного охотника, который указывал на тела соплеменников и говорил беззвучно, можно было догадаться, что он предлагает второму собрату съесть их. Косматый дикарь-людоед, одним махом, отрубил каменным топором из кремня ногу лежащей с краю женичины и протянул ее другому охотнику, стоявшему у входа. Тот с отвращением отвернулся, сделал протестующий

жест, что-то выкрикнул и выскочил из пещеры. Огонь в костре погас, а его последние искры словно выплеснулись вместе с выскочившим охотником и, за стенами пещеры, разлились по горам фосфорическим светом того ископаемого дня, который стоял тогда на земле, в конце последнего ледникового периода.

Охотник, отринувший предложение собрата-дикаря, долго бежал, задыхаясь от гнева и непонятной себе самому яростной отваги жить, и во что бы то ни было найти добычу, ибо он охотник, а не пожирающий мертвечину дикарь, как тот, что остался в пещере. И тут он увидел на склоне, на другой стороне ложбины, большого самца-изюбра. Красавец-зверь стоял, подняв могучую голову и длинная дрожь волнами ходила под короткой, цвета темной глины, шерстью. Изюбр тоже увидел выскочившего из-за гребня скалы охотника, встрепенулся и прыгнул-скакнул на ближний камень, но копыто соскользнуло и следующий скок-прыжок получился уцербным-неполным-коротким. Охотник рывкнул от радости, ибо понял какая редкая удача ему выпала. Изюбр захромал и теперь он мог настичь его. По ветру на охотника пошел терпкий запах обреченности, резко изошедшей от изюбра изоцветного-изохромого, с подпалиной - в крапинку шкурой, и он уже хладнокровно, призвав весь свой опыт и выдержку, ровным, но скорым шагом пошел на перехват зверя. точно просчитав в голове наилучший маршрут. Ибо знал-чувствовал теперь, как и куда пойдет захромавший изюбр (мечта настоящего охотника – кроманьонца разумного). Только на второй день непрерывной-неостановимой охоты-преследования настиг охотник почти обессилевшего изюбра на расстоянии безошибочного броска дротика с кремневым обоюдоострым наконечником, примотанным накрепко к дереву сыромятной лентой из кожи такого же изюбра. Оба – охотник и зверь – замерли, переводя дух и строго-сторожко-внимательно смотрели друг на друга, оцущая свою нерасторжимую связь и высокое, хоть и разное, свое назначение на земле. Охотник втягивал в себя воздух своей короткой второй жизни. Его время (эпоха первых охотников, невидимая-незримая для всех будущих-преживших людей после него) начинало оттаивать изнутри, освобождаясь от тыся-

чететней стужи... Замах... Дротик беззвучно полетел и сочно вошел в подбрюшину изюбра, и дымная кровь вышла, наконец, алым фонтаном из плена артерий и оттого сделался снег еще более белым и искрящимся. Изюброва кровь протаялась в снег, сочась сквозь него, и казалась теперь алым провалом во времени, знаком поворота былого в настоящее, совпав со вселенским ритмом смены эпох. Охотник пал на колени перед изюбром, огладил его дрожащую шкуру и благодарно - долго посмотрел ему прямо в глаз, еще живой и принимающий жизнь такой, какая она есть искони. Теперь охотник знал, закрывая веки изюбра и прижавшись ртом к струе горячей сытной крови, что он выживет, мяса ему хватит надолго и оно будет свежим от снега и чистейшего холодного воздуха гор, а он - охотник, превзошедший самого себя, насытившись и набравшись сил, найдет таких же, как он, гордых-сильных-упрямых кроманьонцев-людей, присоединится к ним и продолжит свой род истинных людей-охотников, не едящих себе подобных. И день тот исчез навека - навсегда, отделив ночь жизни от тьмы в душе человека...

Людоед, наутро, проснувшись в пещере, которая ночью окончательно рассталась со своими древними призраками, отчего-то пополз в дальний угол, где начинался едва заметный уклон. Что-то его потянуло туда. Людоед не мог бы объяснить самому себе свое любопытство, но он не успел... В следующий миг он попал на зыбкую сыпучую поверхность уклона и заскользил вниз, все ускоряясь в падении и смертный вой его увяз в этой длинной извилистой ущелине, в которую людоед угодил. И скользил теперь неотвратно. Уже угасающим от ужаса чутьем он ощутил все усиливающийся запах ртути, идущий откуда-то снизу, из глубин ущельного зияния. И это было его последней полумертвой мыслью... Уже почти умирая, людоед вторично провалился, но во время своего отрочества...

... Он (старший брат) позвал их, братишек и детвору-пацанву соседскую в сарайчик, в самый полдень, а полутьма в сарайчике была перечеркнута линиями-шторками света из щелей дощатых стен и... вдруг вынул «его» и сказал всем: - Вот, что у меня есть и я еще умею делать вот так... И они, босоногая

сельская пацанва, смотрели на то, как он передергивал свой «дрын» и удивлялись тому, что у старшего «дрын» такой большой, как у ишака почти, когда тот мочится. Они не понимали, зачем он рукой гоняет кожу на «дрыне» туда-сюда, пока брат не потемнел с лица, икнул вроде бы, и из «дрына» брызнула белая «фья-молофья» – брр... пролетела пару прозрачных лучевых стенок и имякнулась в круг меж ними... Брат весь дрожал и тускло-ртутно светился после яростной мастурбации-дрочева, заявив о своем старшинстве и главенстве, но при этом казался бесконечно одиноким и обреченным на скорое исчезновение из полос света. Еще один взгляд в прошлое-дальнее... Там стояла его мать, которая с тех самых пор, когда он глянул на нее через перевернутый бинокль, стала стремительно удаляться, и так и осталась на том конце толстых удаляющих линз в бесконечном далеке детства, и вместо полос света, слой за слоем, стала вокруг него уплотняться тьма с сильным запахом плотной ртути... людоед летел к своему пращуру и предку-воителю, чтобы ртутно-рвотно окончательно умереть-сдохнуть...

Есть люди, которых жизнь отвергает трижды, будто заранее зная, что они порождены для зла: при рождении, в мечте о любви и по смерти. Но такие трижды отверженные люди необыкновенно живучи и успевают сотворить тройное злодейство: убить женщину-мать и дитя в ее утробе и погубить, одновременно, свою душу человечью. От такого святотатства у них после смерти, на голове и спине, начинают расти ногти. А на ногах густые жесткие волосы, наподобие игл дикобраза, и потому в их могилах будут находить не останки человеческие, а диковинный и ужасный скелет некоего невообразимо дикого чудовища с роговым наростом на голово-спине и волосяной гривой вместо ног, растущей от паха. При этом с удивлением обнаружат, что у него был череп «хомо-сапиенса» и, соответственно, стало быть, были мозги. Но проклятия на этом не кончаются. Такие, трижды отверженные, продолжают испытывать боль и после смерти, и непрерывно кричат в могилах своих, их фотографии непонятным образом оплавляются в альбомах, а глаза остаются жить в глазницах глубоководных существ, качаясь в сиреневой мгле вод на тонень-

ких стебельках жил и созерцая фосфоресцирующие кошмары морских глубин. Людоед (ему этого не дано было знать сейчас) скользил в расщелину пещеры и ему еще предстояло узнать весь кошмар своего полного отвержения. Трехкратного-треклятого-необратимого.

Глава 34

...распускаются венчики... расцветают девочки.. лилия-лотос-лолита... потерявшие ориентир меняйте лоции... в настоящем море высветите эмоции... вас ждет верная гавань у горизонта... на равнине потерялись следы всадников... для кочевников моря...

Кругом говорили о грядущем «миллениуме-тысячелетии». Ближе к наступлению нового года разговоры становились все оживленней и, как водится, ходило много слухов о конце света, апокалипсисе. Часто упоминался Нострадамус. Наступил золотой век доморощенных астрологов, каковых развелось без счета.

А если подумать, по-простому, без затей?.. Целая эра Рыб, под сверкающим, как и прочие, созвездием прожито человечеством, а что в итоге? Несчастье, войны, вражда религий, стран, человек... А начиналось, вроде бы, хорошо... Иисус-сын человеческий, рожденный под вещей звездой, дал людям учение о равенстве и спасении... А далее споры пошли: от обычной женщины-матери рожден или девы непорочной?.. Человек или Бог он? Нельзя же и тем, и другим быть одновременно?.. И разделились-поссорились, забыв не только о семье Иисуса, но и о Семье Человечества, вкупе... Людей поделили на грешников и праведников, на богатых и нищих, на крестящихся слева и справа... А потом и Мухамед Пайгампар явился, и новое учение явил миру... Бога возвысил, умму-семью праведных устроить хотел... себя лишь гласом божьим определяя, письмотворящим слова Аллаха... И как так случилось, что Единого Бога славили, а стали врагами... и христиане, и мусульмане... Неужто, так тесно ста-

ло на земле, что всем верующим и ищущим веру можно было лишь противостоянием-враждой-отвержением споры-вопроса-ния свои решать?.. А тех, кто учению Будды следует или, язычников куда определить? Во враги, во друзья, во соратники, т.е. соучастников битвы?.. Сколь людей ушло, убилося, заблудилось, сожжено и проклято без вины было?.. И для чего?.. Какую-такую чудо-рыбу поймали, дабы исполнила она чаяния людские?.. А, может, кто намеренно воду мутит?.. И если бы не упопительные сутры-молитвы-песнопения и храмы возвышенной красоты, то что осталось бы от тех пламенных учений-вер-религий, коли на деле не мир несли, а нетерпимость к прочим?.. Или созвездие Рыб ушло на гибельный нерест, вроде лососей, чтобы умереть в своих высоких истоках вечной Реки жизни, и оставить икру в колыбели исконной?.. А мальки?.. Что победит в них?.. Гибельная генетика или высший инстинкт жить, никому не мешая?.. А, по-простому, жаль людей... Что ждет нас в эре новой?.. Лишь бы «Темир-Казык—Звезда Полярная – Кол Небес» устоял... Тогда и мы устоим, пожалуй... в эре Водолея, в долгом-огромном-теплом Дожде Вселенском... А?..

...медиумы, мистики, суфьи... Яссауи-а-ш-я... фламинго розовый... янтарный олень... шемяще-явственны... где вы? ... музыканты мук.. мумии мудрости.. ммм...

А бедный Гевра, между тем, продолжал мучиться в своей сторожке. В зоопарке... И вот эта самая «плашка». Сколько уж дней он вертится-кружит вокруг и над нею, а все никак не может понять, что внутри дерева находится. Не отпускает она его. Вот уже почти месяц, как Гевра мается вокруг плашки-заготовки...

С той осени, когда Есения дал ему «конверт» с баксами, Гевра понял, что это скорее вызов, чем доброхотство. Все свои сомнения он выложил жене, вместе с деньгами. Поначалу Балерина даже обомлела от такой суммы, но выслушав Гевру и, не усомнившись ни в одном слове, коротко сказала:

– Раз так, то вот, что мы сделаем. Мы продадим эту квартиру, добавим твои деньги и купим другую. И она будет, по-настоящему, наша. Общая.

И снова пришлось Гевре подивиться характеру Балерины. Она села за объявления, затем вместе с Геврой ездила смотреть на предлагаемые квартиры пока, наконец, они не нашли подходящий вариант. Вскоре они въехали в 3-х комнатную квартиру, в «Орбите», в предгорьях, оставив ее «старую полуторку» в центре Алма-Аты навсегда в прошлом. В новой квартире имелись две лоджии. Большую с видом на горы Балерина определила себе под «мастерскую». Далее она приступила к ремонту, а Гевра поступил в ее полное подчинение, ни минуты не усомнившись в ее лидерстве. И они вместе устроили свое «гнездо» так, как хотели и за время «гнездования» стали еще ближе друг к другу, научившись понимать вещи простого без слов. В завершении она сказала, окончательно расставив «вещи простого» по своим местам:

– Все милый. Это наш дом. Будем жить, дальше! Всей душой. Заново и долго.

Гевра был благодарен ей за весь «подтекст» этих слов. Балерина будто подписала Конституцию их любви. Потом, в поисках работы, он попал в этот зоопарк. Гевра хотел было уйти, но увидев сторожку и, главное, пристройку к ней, в три стенки, остался, будто уже тогда смутно провидел, что здесь окажется эта самая окаянная «плашка», которая теперь словно вопрошает его своим «деревянным» голосом: – Ну, и что дальше?

Вот про это «дальше» Гевра, как раз, и не знал ничего, хотя уже наметил контуры композиции, подрубив заготовку в виде круга. В самой середине «плашки» был естественный натек в форме овала, который казался теперь неким глазом языческого божества. Как ни ходил Гевра, простукивая-оглаживая дерево, оно молчало и ничего ему не «являло». А ему хотелось сделать нечто такое, в чем выразилось бы все пережитое в последние годы, когда после театра он оказался среди убогих эклектических декораций «дикого уличного рынка», ловя растерянные взгляды таких же, как и он, потерянных людей. Эти люди еще не утратили былой доброты и веры, но стеснялись своего нынешнего положения. Наверное, происходившее вокруг и «в верхах», и во всем пространстве былого «советского дома», вероятно, было неизбежно и необходимо, и диктовалось «высшими» законами

развития-перехода-возрождения, но (как думалось ему) все-таки, не через такой полный крах былого и прежнего образа жизни. Должны же были как-то сохраниться неотменимые правила человечности, цена простых вещей. Стоило ли все разбивать вдребезги, чтобы потом склеивать заново. Но только свое-сокровенное, тоже попавшее в общий коловорот, он никому не позволит разрушить. Даже коснуться не даст. Разве забудет он, как однажды Балерина, пришла из сберкассы (в день выдачи своей законной выстраданной пенсии) и высыпала на стол кучу рублей, на которые и хлеба уже нельзя было купить. Ее заплаканные глаза в этот момент перестали жить своей внутренней красивой жизнью, и не отражали тонких-ожерельных состояний её души. Ведь это хуже, чем убить человека. Все-все это и хотелось «врезать» Гевре в эту проклятую плашку, но она пока не выдавала скрытых в ней форм-линий-образов.

... хорошо, плашка-деревяшка... я стану разговаривать с тобой.... рассказывать о себе то, что никто не знал до тебя, плашка-деревяшка... мне досталась самая лучшая часть того старого дерева, который срубили... но у меня есть шанс дать тебе вторую жизнь... я хочу понять твои мысли... помоги, откройся мне, плашка-деревяшка моя...

... Несомненно, в этой «плашке-деревяшке» таится скрытая сила. Если у дерева есть память, то она должна как-то проявить себя. Надо сосредоточиться, углубиться в древесину, пойти по спирали колец и выйти к началу, быть может, в тот год, когда это дерево едва проросло из семени и было тоньше травинки. Возможно, что не вскрыв код памяти даже одного дерева, не поняв тайну его волокон, наростов, не узнав историю его ветвей и давних расщеплений, мы навсегда утратим единую цепь событий вокруг этого дерева, которое росло-выросло и умерло на этом месте, у этого арыка, в этом городе, вбирало в себя судьбы людей, слышало шумы и завывания сотен дождей и ветров, пропуская их исповеди-повести сквозь себя и оставляя в каждом слое волокон и в кольцах своих бессловесные печальные рассказы о мгновениях и годах, о бедствиях и праздниках.

Разве утерянная память хотя бы одного дерева, а тем паче человека, не может стать причиной трагического разрыва единого поля-пространства жизни? Может быть, именно так, образуются провалы во времени или в сознании человека? Возможно, так возникают пустоты, в которых и прячется до времени, набираясь сил, зло? А тот провал в его памяти, в который вместились целые две жизни – Калерии и Раля, внезапно оборвавшиеся в небе и исчезнувшие-поглощенные неким вакуумом-провалом, полой нишей во времени? Если бы он не очнулся, не вернул те воспоминания, во всей полноте блаженства-горечи-любви и трагедии, возможно, они так бы и канули в пучине жизни и времени, будто и не рождены были вовсе? Разве справедливо забыть их ценой душевного спокойствия? Это ли не самое мерзкое из предательств человеческих?

Стабильность высшего мира иллюзорна. Она – лишь видимость безопасности и неизменности. Под каждым мгновением кроется скрытая яма-каверна-бездна, через которую может утечь в никуда все сущее. Нет ничего более реального, чем мир внутренний, тонкий. Миражи сознания крепче и плотней гранита, ибо летучи и надстоят над обыденным. Внутреннее не терпит вторжения извне, но само легко заполняет пустоты действительного-реального-физического мира и вполне способно заместить его. Но все же, возможно, стоит поступиться частью сокровенного во имя сохранности внешне обычного порядка вещей? Кто выиграет в этой молчаливой битве: интроверт или экстраверт? Где точка равновесия меж силами внутреннего и внешнего, и чему отдать предпочтение: иллюзии или реальности, воображению или факту? И если эта точка в самом человеке и выбор тоже за ним, то какой же крепостью и силой должны быть наделены от природы его сознание и воображение, чтобы выдержать такое давление извне и изнутри?.. И пока так думает-трудится мозг, сердце спешит ему на помощь, выталкивает алую магму крови в артерии и вены, а они передают ее горячий ток сосудам, пока она не закипает в узких капиллярах мозга, дабы он неустанно мог творить варево свое из сомнений и озарений, пытаясь соединить несоединимое...

Пока эти размышления обретали плотность, Гевра почувствовал, как вокруг и в самой «плашке-деревяшке» возникло некое напряжение, сродни самовозгоранию, и он решительно взял в руку нож-резец и стал резать плоть дерева...

В состоянии транса-наваждения, водимый только чутьем, Гевра часа три подряд резал и рыл плашку-заготовку, пока в ней не обозначилась причудливо-призрачная линия, а потом выступил контур композиции, отдаленно напоминающий улитку. Гевра осторожно отступил от плашки, словно боясь того, что эта ажурная, в капельках смолы, «улитка» сейчас уползёт. В этот момент на крышку пристройки сел черный скворец и, свесив головку, уставился бусинками глаз на странную «улитку». Гевра посчитал это добрым знаком. Не переставая думать, он всматривался в плашку, боясь спугнуть и «улитку», и любопытного скворца, и смутный образ, возникавший на краю сознания. Кажется «плашка» начинает открываться, будто хочет доверить ему некую тайну, которую старое дерево хранило много лет, пока не пришел срок быть срубленным, пока основание ствола не стало этой самой плашкой, из которой выступила-заговорила душа дерева в виде этой таинственной «улитки», чей контур сохранили древесные волокна и кольца, и, быть может, таким образом, уже взору человеческому предстала незримая связь меж этой янтарной «улиткой» и той маленькой хрупкой живой улиткой, которая невесть сколько весен и зим тому назад заползла на первый зеленый и влажный лист совсем еще юного деревца, ранним утром, после теплого апрельского дождя. Даже судьба этого дерева лишь подтверждает, что жизнь невозможно прервать и она обязательно явит нам свидетельства своей неистребимости в бесчисленных воплощениях и образах.

В этот вечерний час стояла особая потаённая тишина, прерываемая шелестом листьев, близким щебетом птиц и отдаленным рыком-урчаньем-мыком зверей, уставших от назойливого любопытства людей и могущих лишь теперь вернуться к своему первоначальному природному естеству и вступить в глухие темные дебри своих звериных-животных душ. Наступило время вечернего обхода и Гевра пошел по дорожкам зоопарка, вспоминая

недавние радостные хлопоты, когда они с Балериной переселились в новую квартиру и устраивали там свой общий дом. Эту просторную трехкомнатную квартиру в предгорном микрорайоне «Орбита» они, с доплатой, купили у отъезжающей в Россию русской семьи. Балерина чуть погрузила, прощаясь со своей старой «полуторкой», которую она продала пронырливому перекупщику-риэлтору по вполне приемлемой цене. Наверное, так же грустно было и той русской семье, когда они, по обычаю, присели «на дорожку», покидая обжитые места. Куда устремлялись они, рвя незримые корни, давно пущенные на этой земле, в этом благословенном граде, Алма-Ате? Что напугало их здесь? Ведь и в России была та же неразбериха, тот же стихийный рынок, разве что с поправкой на русскую бесшабашность и свирепую удаль.

А каково ныне самим коренным казахам, вкусившим первые горькие плоды независимости и, особенно, возвращенцам-оралманам, ступившим на вожделенную землю предков? Они – исконные степняки, наследники древней вольности, теперь оказались в нелепой ситуации и словно стояли в двух разных лодках: одной ногой в лодке «прошлого», другой – в лодке настоящей реальности. Ни шагнуть вперед, ни отступить назад. Стоять-плыть на месте. На родной земле. Враскоряку. Растерянные и обманутые в своих святых наивных ожиданиях. И тут Гевре, вспомнился случайно подслушанный разговор двух мужчин, выходявших из «морского уголка» зоопарка. Они делились своими впечатлениями:

– Слушай, в этих аквариумах, по-моему, рыбы с ума сходят.

– Это как так?

– Наблюдал я их внимательно. Смотрю, они вроде боком плывут. Некоторые даже в обратную сторону. Хвостом вперед.

– Брось. Может у них природа такая. Они же тут все издалека привезены. Из других морей-океанов. Ты же привык, что рыбы все вперед плывут, а у этих иначе. Они и боком могут, и назад.

– Да, нет. Я очень внимательно даже смотрел. Вот одна подплывает прямо к стеклу, где я стою. Большая, круглая, а глаза-

кнопки. Я ухом к стеклу, и показалось, что шепчет она мне что-то, губами шевелит.

– И как это ты мог слышать? Они ж немые, рыбы.

– Не знаю. Она вибрирует вроде вся и я вместе с ней. Это, как азбука Морзе... Тук-тук... тук... ту-ту-тук... И смотрит так почти осмысленно.

– Ну, ты и загнул. Пойдем, лучше пива попьем.

– Подожди. Понимаешь, они же тут, как в тюрьме или ссылке. Это, как нас на луну, к примеру. Или чабана на острове в океане поселить. Он тоже начнет там с ума сходить. Все чужое, среда-вода-пейзаж...

Гевра чувствовал, что если что он эту плашку не закончит, не дойдет до «нутра», то и сам не найдет опоры в нынешних днях. И он опять пошел к «плашке», и стал резать и углубляться в дерево. Он должен понять и открыть то, что таится под контуром-абрисом «улитки».

...хладно ли тебе, роса, среди дня, если даже в зиме проступаешь на стекле, на дереве, камне?.. или время свое вольное-росное на лугу вспоминаешь?.. или листья желтые-багряные-увядающие в осень жалеешь, которые любила ты по утрам омывать?.. видишь, лежат они теперь на земле и снега ждут на себя... разве забудут они твои поцелуи, роса-нежница, во снах своих зимних, под снегом?... верь, чистота твоя с ними пребудет и в новой весне встретишься с детьми их, в люлечках-почках, и станешь племя зеленое снова поить по росинке, роса моя милая... потерпи, и получишь весной письма зимней листвы, потерпи...

Гевра резал... Из «плашки» глаз проступил зажмуренный, младенческий, как раз в том месте, где застыла смола-янтарной твердости и цвета. Затем появилась головка и личико сморщенное обозначилось. Когда Гевра освободил края выемки от древесной трухи, его глазам предстало тельце эмбриона, уютно свернувшееся в янтарном гнездышке. Каким образом этот почти человеческий зародыш оказался в самой сердцевине ствола? Даже постановка такого вопроса казалась нелепой в обстановке абсолютного и предметного реализма. Сарай, пристройка, топ-

чан в углу, плитка на табуретке и этот!.. эмбрион! Но он был, вернее, только что обозначился...

Головкой лежит к раструбу раковины улиточной (это подобие улитки образовалось, видимо, из смоляных натеков, еще когда дерево было молодым), словно вот-вот родится. Как будто бы ждал своего часа, чтобы выйти из чрева древесной женщины-матери своей и увидеть долгожданный свет жизни. Отчего древесная женщина таила так долго плод своей (еще с лет своей цветущей молодости, со дней дивной, с дымкой цветов вишни) весны далекой, истаявшей втуне и вчуже в белесом и холодном тумане времени, в чаще плотно сомкнутых дней-ночей-вечеров-зим-лет-осеней, исчезающих в еще более дремучих ущельях-расщелинах-веках прошлого? А, может-быть, когда-то, в роще разбуженной щебетом птиц и прянувшей к простору и небу в первой-ярой-чистой и неостановимой радости расти-цвести-пушиться-колыхаться-шелестеть, и произошло таинство зачатия этого древесного эмбриона?..

...Да, именно в этой апрельской роще, юная-пленительно-прелестная дриада согрешила с паном лесным, коварным и жадным до соков девьих, улыбчивым и сладко-словоречивым искусителем, а затем устыдилась и решила грех-наваждение скрыть и забыть, спрятавшись в дупле улетевшего дятла, да и заснула надолго, истив янтарного вина из смолы и древесного сока. И в этом золотом сне забвения, снился ей молодой и веселый фавн, заставший жуткий лик старого пана лесного, который уболтал-защекотал ее до смеха-истерики так, что она отворилась неволью старому козлоногому искусителю-забавнику. И думалось дриаде юной в том сне, что фавну веселому-сильному открыла она лепестки укромного лона своего, окропленного росой предутренней и вместе с ним истила звенящий настой полудня, опьянилась запахом трав весенних и терпких, принявших на свое зеленое ложе два поющих янтарных тела и закатавших дриаду и фавна в прозрачные простыни света, и только к вечеру стихли вскрики-шептанья-стоны двух детей природы: юного фавна и дриады... и угомонились они в игре безудержной-безгрешной и честной, и укатились капельки девственной крови, дабы взрас-

ти и вызреть где-нибудь алыми сочными ягодами, а семя фавна густое и сильное завязало плод золотой-полуденный-солнечный в чреве влажном, утаенном гроте, в лоне дриады...

И вот, теперь только, эта давняя тайна открылась и плод-эмбрион готов выйти на свет... а что до юной дриады, пана старого и фавна младого, то простятся им страсти лесные-легендарные, коли семя-завязь их игр остались в чреве древесном, упрямо росли вместе с деревом и стали этим янтарным плодом-эмбрионом-ребенком природы, самотворящей свои чудеса...

– Очень хорошая плашка попалась – подумал Гевра. – Промоленная, янтарная. Светится вся. Не испортить бы...

...если влюбился, значит – попал под дождь... весело, мокро и грустно чуть-чуть... некуда деться в поле большом... если еще и ветер в дождь?... к страсти внезапной, сильной, безрассудной... дождь неохватный... ветер всевеющий... объемлющий... трава, дерева, камни, дома, горы и люди в поле... все омыты дождем... все овеяны ветром... никто не скроется...

Бойтесь женщин равнинных, дремлющих... питающихся соками трав, прохладой земной и мерцаньем луны... но коли будут разбужены они, криком ли зычным страсти свирепой, топотом конским лавинного чувства или молнией-ливнем мгновенной любви, то пробудятся-встанут они гималайно-высокими, неукротимо-бесстрашными-страстными станут они, нескончаемо-терпеливыми-терпкими будут в беде и любви, неотвратимо-смертельными стрелами взглядов своих полуночных настигнут они того, кто их пробудил и хотел избежать долгого плена-плененья... не обманитесь их кротостью, к битвам великим и отдохновеньям сладким готовьтесь, к песням длинным и молчанью глубокому приготовляйтесь... витязи синих степей, избранники женщин равнинных-высоких!.. и сердце пусть будет готово к дикой и яростной скачке... а пока легкий ветер струится по лезвию утренних трав...

Когда эмбрион, наконец, после трех недель непрерывного резанья-скобления-изваивания проступил из «плашки» и стал почти осязаем, Гевра остановил резец. Казалось, что этот эмбрион вот-вот зашевелится, как если бы находился в материнской ут-

робе. Мистика, конечно, но в такой момент невольно поверишь, что и дерево имеет человеческую сущность. Эмбрион – сын древесный находился глубоко в утробе материнской и был окружен жесткой оболочкой из грубых, корявых жил дерева, которые не поддавались резцу и лучше было их не трогать. Эмбрион, казалось, плавал в некоем своем космосе и словно раздумывал: кем бы ему стать и стоит ли вообще родиться? Гевра бережно прикрыл «плашку» и решил идти домой пораньше, чувствуя свою вину перед Балериной за свои малопонятные ей отлучки. Когда закончит работу, покажет Балерине. Он хотел удивить ее и улыбке ее потаенной и чистой самому удивиться.

...луна, тающая на кромке зрачка, это твоя скромность, любимая... внезапная буря-ревность свирепая и ночной ливень – это твоя страсть и я в ней тоню... снег ослепляющий – это улыбка твоя на рассвете... любовь твоя-дерево и оно постоянно растет... мне есть куда прилететь, гнездо мое теплое...

Знала ли Балерина, что её сердце в эти дни бьется в одном ритме с неусыпным сердцем земли? Нет, конечно, но она не знала и того, что сама земля выбрала её женское сердце, как самый точный и нежный камертон человеческой любви. Эти дни совместного сердцебиения планеты и женщины были полны особой тайной-радостью, и ритм этого биения становился сигналом-посланием в далёкие миры, и уже ничто не могло остановить этот сигнал на просторах вселенной, пока некий чуткий радар не примет и не поймет простой смысл Послания. Ведь в этом сигнале было ещё одно, едва слышное биение, пульс сердца зародыша-эмбриона-дитя человеческого, зачатого на стыке эры Рыб и Водолея, в чреве Балерины.

Глава 35

В Алма-Ате бывают очень странные дни. Особо в конце осени. День все еще теплый, но к вечеру начинает подступать такая сырая мозглога, словно жидкий лед. Она ложится на ветви, камни и светится как-то необыкновенно, зловеще. Фосфоризи-

рует. Но самое страшное: этот лед-мозглога каким-то образом проникает внутрь костей, в голову, и человек на время вымерзает изнутри. Ненадолго, но ровно настолько, чтобы выбить всякую память о тепле и охладить мечты. С гор подступает эта мозглога, где Старец-Кыс уже устроился на троне зимы и отдает первые властные повеления. Невзлюбил он людей за то, что только терпят его, а сами вспоминают с грустью об осени, с радостью о лете или уже мечтают о весне. Словно и нет его – Старца Великого Кыса, дающего отдохновение земле и строго следящего за тем, что должно возродиться и что исчезнуть-погибнуть ныне, зимой. Ему доверен этот безжалостный отбор лучшего и он свое дело делает хорошо.

В начале зимы, Балерина окончательно обустроила новую квартиру в «Орбите» и взялась, наконец, за полюбившееся занятие – делать вещи из шерсти и нитей. Ей очень нравилась ее «мастерская» на застекленной и теплой лоджии, где она разместила все необходимое ей в работе. На краю ее сознания не переставала биться беспокойная мысль об обещании пригласить апашку в гости, но Гевра в последнее время пропадал в «своем зоопарке» и даже оставался там иногда на ночь. По тому, как горели его глаза, она решила, что ему нравится сторожить зверей. Однако, Балерина все же беспокоилась, как любая женщина-жена: нет ли тут какой-либо иной причины? На ее вопросы он безмятежно улыбался и отвечал: – Потерпи, родная. Скоро все расскажу. Не торопи. – Эта улыбка извиняла все, отгоняла все сомнения. Было только досадно, что она никак не может улучшить момент, чтобы сказать ему об обещании своем пригласить апашку-волшебницу в гости. И вот, однажды, раздался с утра телефонный звонок. Незнакомый голос спросил ее и сообщил, что Шокен-апай умерла ночью в одиночестве, оставив дверь открытой. Записку с номером этого телефона они нашли в тумбочке. Там было написано, что в случае ее смерти надо будет позвонить, именно по этому номеру. Балерина обмерла вся, но записав адрес, сразу же поехала к бедной апашке. Там соседи уже занимались необходимыми делами и она принялась хлопотать вместе с ними. Рядом с кроватью покойной стоял мешок с пряжей, а сверху бумажка с

от женщины. Она разговаривала и прощала: *любви возможности предосты, одинаковы. Спасибо тебе за работу, платонку. Я о тебе думаю: милая и видела тебя с ребенком. Так и будет. Школы мне. Прощай.*

Предсказанья?... Она же верила в них и боялась их. Но разве могут сбыться какие предсказанья, касающиеся какого-либо конкретного? Того, что случилось и произошло в жизни, не предсказывал даже самый маньяк с высочайшим умом Ребенка... Но вот себя никто обманеживает старая аманка, совсем не женщина с виду, и к тому же покончившая свой мир этой ночью. Разве можно так, когда ты уже умерла? Но... во время похорон в церкви, это заморало. А когда выжилилась забрала мир и дождь у нее был один... Аманка-то добрая... Она не скривилась. Да и почему скривилась?... И сразу оставила не просто так...

На следующей день Гейра с ересьмиными сведениями вынес проб и повел королеву аманку. Гейра договорилась с мушкетером и отдал ее как привелую мушкетеру. Платил стояла лонга, но какая-то грусть и боль, и даже упрямое сопротивление дальних аманка горько было утратила свое значение и ушло море и стали меньше, представлялась с еще одной живой душой на земле. Многие и же раньше времени, вдруг выжили на Билерину. Она была также аманка вид колыхком и теревильным полумешком, в сердце медленнее изолвения благодарности аманке за то, что она приняла такое участие в ее княжеской королевской тайне-печали и в дальнейшем милое живое прощание ушедшего ребенка для нее. И эта доброта покойной, которую она не только не расшатавала, несмотря на выгоды и сокращения сердца, но и умножила в себе, эта доброта стала пивисованным обрывком заполнить печальное пространство кабинета, а колонце, словно тонкая пророчу этого человеческого излучения, вышло из-за облаков и стало светить ярче.

... в последнем одиночестве нет слез... это одиночество было... оно для одиночества, который еще пить в великой жаркой выжили... проводивших нет на берегу, но тем, кто решил разделить молчанье воды на рыжаны пустые слезы... их одиночество просторилось молчанья, за которыми открылись или недли-

...я боюсь тебя, брат тигр, но если пойдешь по моему следу, я убью тебя, прости... брат бизон, я иду за тобой третий день и хочу настичь и убить, прости... брат медведь, мы разожгли перед пещерой костер из влажных ветвей и гоним дым на тебя... выходи, скоро зима и нам нужна эта пещера и шкура твоя, прости...

Все страницы изокниги пещер повествуют о радости жить и не встретишь там слово-тень-образ страха, ибо это великая сага об изгнании смерти из жизни и мыслей, ибо так говорит природа. Те первые мужчины-самцы, изгоняя мысли о смерти, неустанно вводили свой фаллос в женщину, в небо, в воду, в любые полости-щели в природе, чтобы оставить свое семя-след, ибо чувствовали себя в безопасности только в соитии-любви с женской сущью природы. И эти обряды-ритуалы-фрикции потом стали любовью. Все те изокниги и есть повесть о любви первородной, о сотворении женщины сердцем мужским. И поныне открыта всем ветрам библиотека петроглифов в Тамгалы... Охотник шептал:

– ...я беру тебя, женщина-самка, спереди-сзади-всегда, я соединяюсь... только ты можешь изгнать страх смерти, а его много и он настигает меня много раз на дню... и потому я вхожу в тебя, защищаясь, самка моя многоплодная, и в детях наших ты спасаешь меня... нет орудий хитроумных пока у меня, и потому я вхожу в тебя чистым фаллосом – верой-мечтой, самка – косуля моя... и буду это делать и делать пока смерть не уйдет от меня... и не станут тенями ветра все страхи мои навсегда... спасибо за жизнь тебе, сестра-смерть... брат-страх, уйди... сестра-женщина, приходи... я чую запах любви твоей...

Женщина бесстрашна по сути природной своей. Ведь она всегда может родить подобие свое - девочку и обрести в ней свою вторую жизнь. Или, для разнообразия, мальчика и вообразить через него вторую жизнь самца, что умер вчера в схватке с медведем, ибо самец при жизни первой не уставал спасаться и оставлять в ней семя свое... И потому женщина мысли-думы свои поверяла сумеркам вечера, брату спокойному-синему:

...бери меня самец, хоть днем, хоть ночью... я всегда открыта тебе... знаю, ты смерти боишься и мне надо утешить и

ободрить тебя, когда страх настигает тебя... ведь и тур вводит в самку своё алое завершение, зная- чуя, что ты его вскоре на охоте настигнешь... я буду принимать твою самость столь много, сколько захочешь, чтоб множились наши жизни вторые в девочках-мальчиках... иди на охоту, ничего не страшась... я укрыть твоё, утешенье... не затворюсь от тебя никогда... я защита твоя пред страхом и смертью...

Женщина первородна, а мужчина вторичен. Может быть, потому и творит свои изокниги издревле, что хочет сравняться с женщиной. Она умеет зачать, а он сеять. Им нельзя друг без друга. Они открыли секрет второй жизни. Возблагодарим же страх первых мужчин и отвагу женщин первых, ибо иначе не жить бы сегодня и нам – миллионнократной повторной жизнью наших пращуров. Секрет в одолении страха через творение жизни.

Нарождающаяся первая любовь отроков полна разочарования и пахнет ванилью бессильной спермы поллюций и мастурбаций отчаянья. Но, однажды, он возмужает и фаллос его найдет природную цель. Даже боясь новых разочарований, юноша должен превозмочь свои древние страхи и покорить, покрыть женщину свою первую. Затвориться на время в лоне женщины, вдохновиться и после этого, всегда великого открытия, опередить отчаяние свое хоть на шаг, ибо семя его станет сильным и взойдет в поле женщины. Новым человеком.

Любовь дев отважна, так как им понятна суть истекающей крови и перерождения, ибо в теле девы есть уже женщина. И мужчина, отворяя темницу – лоно девы, дает ей жизнь. Женщина впускает в себя свет зачатья. Женщины сильны знанием, мужчины – интуицией. Даже мысль погибнуть в охотах-битвах не остановит их, ибо только в сраженьях любви они останутся бессмертными, побеждая страх смерти. Женщине от природы дано кровоточить любовью и ей неизвестен страх перед этой великой вечной раной. Рана эта неизлечима, но истина целительна во все времена.

...кинжал твой в себя приму без страха, муж мой, дабы не знал ты поражений... неизлечимую рану носить мне всю жизнь и страдать, но я улыбаюсь отважно, муж мой, чтобы ты был

бесстрашен и смел в битвах твоих... смерти не бойся, а если умрешь, я расскажу, каким ты воителем был в битвах любви, где всегда побеждал ты - муж мой...

Мальчики разрушители, даже в играх. Такова их природа. Игры девочек созидательны, ибо они строят домики-гнезда и на- селяют их куклами и обставляют малыми вещами быта. Отроки готовят себя к первому большому разрушению лона-гнезда дев- девственниц и только так могут научиться созиданию любви и настоящего дома. Дева терпит разрушение лона, ибо с этой поры куклы воображения оживают и начинается творение настоящих детей. Первое переходит во второе. Второе превращается в пер- вое.

Женщины изначально мудры музыкой тайны, а тайна всег- да больше истины, к которой так тщетно стремятся мужчи- ны и пусть это будет так, и останется неизменным. Иллюзии женщин сильнее практицизма мужчин, ибо спонтанны и не перестают самовозрождаться. Случается и наоборот, но это хуже, потому как практичность женщин мелочна, а иллюзии мужчин саморазрушительны и часто губят их самих, до испол- нения назначения. Лучшие, чтоб все шло обычным порядком. Пре- красны и невероятны все превращения. Лики мужчин и женщин равны в зеркале природы и жизни.

...проглотить собственный глаз и увидеть себя изнутри... что там на деле.?. цветок мальвы тоскует о сирени солнца на закате... она сестра его... недоступная... старуха перед смертью бредит молодостью и первой любовью... старость умеет смотре- ть только назад... Волопас и Ткачиха по обе стороны великой млечной реки любви и разлуки... отец мой живет во мне... он верит, что сын его будет лучше... слепая женщина, рожая ребен- ка, видит его так же, как зрячая... полынь растет всюду и даже в человеке, в виде горечи ошибок прошлого... дочь коммуниста стала кришнаиткой и тем оправдала его однофазную жизнь... вегетарианец предпочитает овощи, не заботясь о взаимности чувств... ведь его может полюбить человек, любящий мясо... па- мять людоеда, как труп, она мертва и безмолвна... сумасшедший трансвестит пытается вспомнить, кем он был в начале, от рожде-

нья... могильный червь больше любит человека, чем он сам себя при жизни, и входит в его тело благоговейно, как в храм... пчела заполняет пустоту сот медом... осенняя пашня печальна, вспоминая себя в дни весны и лета... сколько препятствий на пути у воды, но она упряма и, даже испаряясь, надеется, что ее труд не окончен... кочующие и сеющие одинаково беспокойны в мыслях об обилии трав и добрых всходов... есть ли грань меж потерями и обретениями?.. счастье не может знать, когда и как опередило его злосчастье, но придет и к несчастному... никто не слышит песни китов, плывущих во вселенной...

Как раз в эти дни, случайно, Балерина встретила знакомого администратора оперного театра, который все еще работал там. Он с радостью поведал о том, что капитальная реконструкция театра, наконец-то, подходит к концу и осталось наложить последние штрихи перед открытием занавеса. Администратор предложил Балерине, бывшей знаменитой «приме», показать, как выглядит театр теперь. Балерина согласилась и с волнением вновь переступила порог дорогого для нее дома - Театра. Ей понравилось обновленное фойе и колонны с мраморными плитами. Особенно поразило фойе 2-го этажа с великолепным панно с перспективой, делавшем потолок выше и легче, были хороши и витражи центрального фасада, капителей колонн и вся цветовая гамма внутреннего интерьера театра. Еще больше удивил ее зрительный зал с огромным плафоном-люстрой вверху, бархатные мягкие кресла цвета серебристой сепии. Обрадовало и то, что убрали, наконец, ненавистную ей кинобудку в амфитеатре, которая не только уродовала овальную планировку зала, но многие годы искажала акустику. И расширенная сцена, оснащенная новой техникой, софитами верхними и боковыми. Но «люк Жизели» убрали и она подумала: а как же теперь она явится из могилы? Волшебно, как раньше?.. Прямо из-за кулис что ли?.. Какой же это спектакль без маленького чуда?.. Затем она прошла на 2-ой этаж, к артистическим комнатам-гримеркам и была разочарована тем, что стало здесь совсем уж современно. Дизайн дверей и коридора, больше походил на гостиничный. Осмотрев все, Балерина вышла из театра и поднялась в сквер вдоль восточного

бокового фасада. Села на скамейку (напротив окна своей гримерной) и в один миг перед ее глазами пронеслась вся многотрудная, полная огорчений и триумфов - аплодисментов жизнь в театре. Она невольно всплакнула, но то были не только слезы грусти. Балерина благодарила судьбу, приведшую ее на незабываемый Праздник Танца, где и она порой бывала Царицей Бала.

С каждым космическим днем Гроссмейстер открывал все новые грани своего нового бытия во втором небе. Он обнаружил, что постоянно бодрствует и ничуть не утомляется. Это непрерывное бодрствование он заполнял тем, что мысленно (силой чистой творческой воли) писал фантастические картины, подсказанные одним лишь воображением. Ежедневно, на идеально грунтованном черном холсте вселенной, он наносил белые святящие линии из звездных красок, используя весь спектр космических излучений. И хотя Гроссмейстер был призван сюда только фиксировать хаос, но его мысленной кистью водил неистребимый инстинкт поиска гармонии и он радовался тому, что успевал нанести на черный холст и вспышку сверхновой звезды, и мучительное угасание красного карлика, и спираль воронки вокруг невидимой черной дыры, и невероятные превращения газовых туманностей. Важно было успеть нанести мгновенный мазок, уловить начало и конец той или иной вибрирующей линии, прорисовать точный контур гигантского пульсара, где-то на краю вселенной и... и пусть Некто невидимый уносил каждое космическое утро едва завершенную картину и вновь ставил перед ним девственно-чистый новый черный холст, Гроссмейстер без усталости и досады начинал писать другое полотно, ибо хаос вселенский и земной подбрасывал ему самые невероятные фантастические сюжеты. Много позже Гроссмейстер понял, что в природе этого бодрствования были заложены спасительные сны воображения, дающие ему передышку и возможность забыть на время самые страшные и катастрофические события на земле и в дальних небесах, которые в изобилии поставляла ему стихия хаоса. Но и краткой вспышки добра и любви хватало на то, чтобы сделать из кошмара вселенского и земного бытия Нечто прекрасное, хоть и неизменно исчезающее наутро. Да, это исчезающее совершенство умело

побеждать устойчивый кошмар хаоса и укреплять тонкие нити человеческих надежд и упований, пронзающих холод вселенной. И вот, однажды, в какофонии непрерывных вибраций ему удалось уловить мелодию одной сверхтонкой линии, и он стал в каждой новой картине повторять ее волшебные очертания пока, наконец, перед ним смутно не проступил некий, до сердечной спазмы, родной образ. С каждым космическим этюдом он становился все более явственным и, вот! – перед ним явилась в (почти земной) прекрасной сути своей Лунная Красавица, ступившая на его облако во втором небе. Однажды. На рассвете. Она, вместо приветствия, сказала ему просто и обыденно: – Здравствуй. Я пришла к тебе навсегда.

Глава 36

... Предстоящие находились в четырех углах квадрата небес и несли дозор в веках отстояния. Дела земные текли то кипенно-кроваво, то тихо-лилейно. Пославший их, между тем, решил сгустить-собрать все свободные энергии пространства и сжать века предстояния так сильно, чтобы они стали точкой, светящимся миглом, тем самым сократив время отстояния от надежд и упований... прозрение четверых предстоящих и их отчужденность было напрасны... также как и их отстояние от самого Надстоящего над ними и от планеты одиноких людей...

... если есть *Ничто*, то значит: есть и *Что-то*, а стало быть существует и *Нечто*...

... *Ничто* опровергаемо по определению... *Что-то* может быть названо и получит имя... *Нечто* следует постигать...

... многие вещи *Что-то* названы, понятны и это реальность... она уже не страшит...

... постижение *Нечто* сугубо работа души... пока есть *Нечто* жить интересно, ибо оно само по себе опровергает *Ничто* и позволяет терпеть *Что-то*...

... страх жить и страх умереть можно одолеть постижением *Нечто*... это утешает, ибо постижение стирает грань меж жиз-

нью и смертью и делает их равными сущностями, и что важнее: ставится знак равенства меж всеми людьми, а также творениями и тварями земными в природе...

... что изменится, если искомое написать чуть иначе, т.е. так: *Никто* – *Кто-то* – *Некто*... чувствуете, это уже не чисто эмпирическое размышление... это иной уровень...

... *Никто* не имеет имени с умыслом... *Кто-то* до времени безымянен, пока *Некто* не захочет с кем-либо завет заключить...

... *Ничто-Что-то-Нечто* от завета уйдут, как и вечный немиянец-безымянный-имярек *Никто*... и останется лишь *Кто-то*, с кем *Некто* завет заключит и имя свое обретет для ответа...

... сия интенция в тоге сентенции не имела бы помысламысли-смысла, если б не обскурация... время пришло ответ держать заключившим завет...

...*Кто-то* и *Некто*! Я вас вопрошаю в тумане...

...Осуществленье Завета – вот чего все хотят... всеу... возвышенно...

Время подлинное-плавное стало давать сбои. Безо всякой причины, часть общего времени стала утекать неизвестно куда (словно проваливалась в дыру), а потом вновь объявлялась в самый неподходящий момент, устраняя ординарное время, что шло до того своим чередом. Это создавало неразбериху. Если провалившегося времени было много и на него пришлось большие исторические или природные катаклизмы, то дело могло принять очень серьезный оборот. В таких случаях фрагменты прошлого смешивались с временем враждебным-иным (с настоящим или будущим) в некий взрывчатый коктейль. Волны отрицательной энергетики, источаемые из чрева давно погибших времен, способны влиять даже на геном человека самым ужасным непредсказуемым образом.

Потерянная год назад вещица могла вновь оказаться на своем прежнем месте к немалому удивлению хозяина, уже смирившегося с потерей. Пропавший без вести, пару лет назад, человек приходил в гости к бывлым друзьям, оплакавшим его, и с энтузиазмом делился планами на будущее, не замечая растерянности на их лицах, открывал свое сердце одной из присутству-

ющих женщин, вышедшей в прошлом году замуж за его лучшего друга. Разве дано было ему знать, что предательство откроется столь поздно? Заблудившееся время могло течь самым непредсказуемым образом и начинало свершаться в чужом грядущем времени или прямо сейчас, как если бы атомная бомба разорвалась не в Хиросиме 1945 года, а стала падать прямо сейчас на Иерусалим, в момент очередных переговоров о прекращении конфронтации и изменений в «дорожной карте» при отсутствии зеленой лампочки на светофоре. Представьте себе, что бы случилось с нами теперь с учетом новейших вооружений и технологий?

Стоит только включить в цепочку возможной катастрофы, абсолютно устаревшие политические рычаги решения подобных проблем, то безумство войны станет неизбежно. А ведь малые утечки времени провоцируют и большие провалы во времени, когда две лавины двух разных трагических времен столкнутся в долине настоящего и снесут нас в небытие, а некий историк постгрядущего скажет, что дескать, мы жили не в свое время. Посмотрите повнимательней вокруг и вы, возможно, обнаружите осколки чужого времени в своем, а вместо вас в этой минуте живет прадед-первовсадник, мечтающий оседлать коня и потрогать рукой горизонт, или ваш же дальний потомок, улетающий в космос, подальше от этой проклятой земли.

Смотрите внимательней, а то не заметите, как «Чингисхан-2» начнет покорять мир наоборот, с запада на восток, и стреляет он явно уже не из лука, хоть и сидя в седле...

Да, я и сам похоже живу не в своем времени. Все вокруг мне чуждо, незнакомо и никто меня не любит, как во времена моей прежней или (как знать?) грядущей жизни среди агатовых камней на кромке тихого стеклянного водопада, в маленьком искусственном саду на террасе грёз...

...вода ожидания ушла-просочилась... луковое поле растет стрелками вниз... головками вверх... струи – нити дождя натянуты и звенят от ветра... древние пласты омыты слезами тоски... черными... подземные камни начали контр-движение... хотят судьбы гор... тектоника... по тем же законам идет на-

вигация гнили к солнцу... свет обретает плоть и шевелится сонмищем своих волн-частиц... цены на чертополох и крапиву искусственно вздули и они встали по цене фруктов... прежде обычные капуста-картошка находятся в ранге деликатесов и стоят дорого... они по карману только гурманам-горизонталям, которые ныне в фаворе... падишие ангелы-вертикалы превращаются в каннибалов, ибо нет тищи дешевле людей... затемненные стекла машин и особняков подчеркивают прозрачность и невесомость нищеты... бывшие ценности сверхтяжелых материй заменены ширпотребом тонких сфер и энергий или инертным газом... озоновая дыра ширится в душах...

Тишина обнимала Атая-навигатора, будто существо живое. Так, наверное, окружает лелеет цветок ириса лепестками своими пространство цветения, где покоится святая святых – нежный пестик. Стоит себе представить, как льется на пестик невесомо-чистый свет, просеянный лазурно-синими лепестками!.. С этими мыслями Атай-Навигатор летел-прошивал звездное пространство, наслаждаясь тишиной и чувством одиночества. Шли четвертые корпускулярные сутки и он только начинал входить в ритм своих обязанностей. Нынешняя миссия порученная ему Космо-Сенатом Земли имела самые серьезные основания. До этого он получил свое первое задание – произвести разведку в Крабовидной туманности и проявил блестящие способности к навигации, а быстрота его реакции и глубокий анализ ситуации выдвинули его в число лучших разведчиков и навигаторов космоса.

Тогда в Крабовидной туманности были замечены странные трансформации вещества. Оно обретало формы чудовищного полипа лилово-багряного цвета, сходного с гнойными выделениями из карбункула галактических масштабов, словно там началось извержение. Казалось, что и в самом деле эта (до того вполне безобидная) туманность стала превращаться в гигантского краба, который взбаламутив древний метagalacticкий океан медленно стал выползать из его глубин, шевеля клешнями невероятной мощи. Астрономы, наблюдавшие это гипермистическое явление, с осторожным ужасом предположили, что «мега-

краб» имеет таинственную органическую природу, а в глубине нарождающегося полипа есть гено-матрица неизвестного биообразования. Из всего этого могла исходить реальная угроза, тем более, что одновременно с появлением мега-краба биологи отметили изменения (пусть и едва уловимые) в земных морях и океанах, где наблюдались признаки увеличения размера обычных крабов, а у любителей этого деликатеса появились симптомы отравления и сбоя иммунной системы. Из вулканов стали исходить миазмы с тошнотворным трупным запахом и хотя это были кратковременные выбросы, но все же некая связь между этими взаимоудаленными процессами могла иметь место.

Завершив глубокую разведку Крабовидной туманности, Атай доказал существование прямой связи процессов в дальнем космосе и на земле. Более того, в своем докладе Атай предположил на основе сложнейших расчетов, что началось разрушение исконного вещества Вселенной, и если природу этих явлений не понять сейчас, то в будущем может случиться необратимая катастрофа, вплоть до гибели земной цивилизации.

Еще во время своих ученических челночных полетов в ближний космос, Атай сокрушенно отмечал, что его родная планета стала похожа на гигантский кишаший муравейник. На древних снимках из школьных учебников по навигации земля выглядела романтично, окруженная голубым ореолом, сквозь которую проступали контуры океанов и континентов, и эта панорама была сродни старинным картинам великих живописцев Эры Рыб. А теперь мертвящий неоновый свет неисчислимых рекламных феерий, вкуче с непрерывно витающими в небе голографическими панно огромных масштабов, застлали то голубое нежное свечение земли, которое и делало планету столь несказанно-прекрасной. Количество людей, техники, средств передвижения стало столь непомерно велико, что их непрерывное движение-хаос, а также бесчисленные гипер-постройки непоправимо изменили облик больших земных пространств-пейзажей, испятнали все ранее девственные территории лесов и лугов, раздробив на уродливые части-осколки-обрезки целостность первоизданного лика земли. То, что было «чашей великих упований» стало обыкновенной посудой для употребления.

Что только не выплывает из омута памяти?.. Стильный пейзаж космоса с блестками звезд. Статика, безмолвие... Никакой связи... Но вот выскочила в голове картинка... Что тут скажешь? ...легкая красивая клетка, с игривой такой крышей, «а ля буддийский храмчик», из давнего... под крышей сидит искусственная канарейка, недремно в колечке. Глазки почти живые. Смотрят. В никуда, в птичье безумие. Молчит. Чью-то тайну хранит... Молчание плотное, густое... А в самой клеточке – пустота... Словно и канарейки в ней нет. Пустая клетка с пластиковой канарейкой... Имитация жизни... Интерьер – натюрморт. Мертвое в мертвом...

Но ощущение такое, словно эта пустая клетка с непоющей крохотной канарейкой абсолютно автономно продолжает жить и в космосе своей особой жизнью, находясь за тысячу лет отсюда в чьей-то памяти, в саду давно убитого собственным братом императора, и мертвая канарейка, игнорируя все законы причинности, вдруг, вылетает из клетки, нелепо кувыркаясь в невесомости... Лоджия, клетка, канарейка, император, замурованный в стену; город у гор, навсегда забытый людьми, искусственный апорт, мертвые сады... И что это все значит? Почему так причудливо смешалось?

Сейчас, прошивая-пронзая пространство навстречу Неизвестному-Незнаемому, Атай занялся своим прямыми обязанностями, сверял показания электронного мозга звездолета с программой собственного мозга, совмещая все алгоритмы и уровни сложной науки навигации и добиваясь абсолютной синхронности, что называется «микрон в микрон». На это ему выделялась целая неделя суток-корпускул. Затем все расчеты и варианты должны быть введены, в общий – его и звездолета – мозг, который и будет управлять всеми параметрами, включая режим сна и автополета к Цели...

Атай наслаждался своим одиночеством и работой, но не менее хороши были и краткие минуты отдыха, когда он мог пуститься в путешествие другого рода, навестить уголки памяти, где осталась цветная мозаика отрочества.

В годы учебы в школе Навигаторов (она располагалась высоко в горах Тянь-Шаня, близ Хан-Тенгри) ему особенно нравились «уроки давнего». Особенно помнился ему рассказ-легенда из очень архаичного времени, когда на земле было просторно, как теперь в космосе.

...День рассекала молния в пол-неба... Лил косой ливень-водопад... Ливневые травы стояли в рост. В просторе лавиной летели кони, омытые ливнем... Бешеные глаза, литая стать, гривы как всполохи огня... Первозданная воля и мощь... И люди стояли по краю селения... Упрямые - гордые - сильные. Плоть мужчин - дерево, плоть женщин - чистая глина... Солнце взошло из туч... Равнина сверкала... Тучная травами... Замерли кони и люди на миг... Потряслись совершенством друг друга... Равнину судьбы обозрели... И встали рядом... И стали племенем Коня... Слились в одно неделимое Племя... Поскакали-полетели с криком и ржанием... Горизонт раздвинулся и открыл им путь... Над всем реял ветер открытий... Племя Коня тронулось в перво-кочевье...

И грезится порой... вся природа-танец... малейшее движение самого малого существа, пусть то микроб-былинка-мириадно единый планктон-муравейник-пушинка-зародыш-рой пчелиный-мошка одна... передается мощной незримой волной-зарядом-толчком другим существам... большим-могучим-пространным-множественным и под музыку ветра - шелест камыша - гуденье огня - шум и удары прибоя о берег - свист и шепет птиц становится огромным-нескончаемым-тысячецветным и великолепным Танцем жизни, когда даже недвижимое-твердое-застывшее вовлекается в это совершенное гипер-движение, а поза-пауза-синкопа, лишь подчеркивает грандиозное действие - Танец Природы... во всем-езде-всегда-бесконечно-неоставимо движение-радость и... движение-боль... но двигаться и творить Танец жизни природа не перестанет... недвижимое и есть небытие... и... Природа танцует...

Уже почти покинув свое биологическое тело, Атай-Навигатор, потомок тех самых первовсадников, все еще видел, как Племя Коня стояло у края последнего горизонта, перед черной равниной космоса. Он жалел этих странных странников-кочевников

праистории и, в то же время, восхищался ими. Их дерзостью. Верой. Ведь вышли же они открывать «великую равнину без края», не зная того, что вся земля всего лишь остров во вселенной, а им выпало счастье все же потрогать рукой горизонт. А, может быть, он – Атай и есть та стрела, выпущенная из натянутого лука-те- тивы-горизонта земного, чтобы нести Весть и увидеть уже горизонт самой Вселенной?.. Кто знает?.. Засыпая и превращаясь в первоэлементы, Вестник все еще жил древней легендой о Пле- мени Коня...

...пересекли три простора... последний простор был за- стлан густым, как молоко кобылы, туманом... рьяно-решившись прошли туман насквозь, истив по капле его хмельной влаги... туман ударил в голову... спешились, гогоча, из седел скрипучих и отправили коней пастись на луга водянистых трав... возжи Племени Коня решили, что достигли последней большой равни- ны... трава клонилась на закат, а реки текли вспять... не на- сторожило... шумно мечтали, как наутро откроется им новая родина-равнина, в центре которой гнездится тишина... грудь ширилась гордостью, в голове бродил туман... стоянку устро- или временную... мысли текли медленно, как ручьи болотные... еще никто не умер в пути... казалось, так будет всегда... спать легли довольными... сны снились плотные... оттого не были услышаны короткие всхлипы женицин и плач детей... утром встали бодрыми, но без мечты... туман рассеялся... воздух стал прозрачным... и увидели, оглядевшись!?. Это был остров в се- редине безбрежной воды?!. Большой, обильный травами, зверь- ем, деревьями, плодами, но!.. остров!.. дальше идти было неку- да... выпали из-за поясов мечи-акинаки... с кем воевать и что завоевывать?.. часть коней, увевшись местной влажной травы, уплыла в воду... те, что остались, не хотели скакать... бере- га горького прозренья обрывались в соленые воды... пахло водо- рослями и гниющей рыбой в камнях... среди острова высилась гора... слишком правильная... конусом... в равнине исхода горы были дикие и могли меняться по три раза в день... не надоедали глазам... разочарование ширилось медленно... из сердца отваж- ного уходила сила... двое сразу умерли к вечеру... у одной молоду-

хи случился выкидыш... смерть, всегда отстававшая, нагнала их здесь... укрыться негде... леса были редкими, а деревья большие напоминали кусты... чтобы забыть о смерти, легли с женищинами в обнимку, под покрывало... не хотелось видеть ни луны, ни звезд... любовные битвы отложили до лучших времен... не вставало ретивое... не дыбилась гордость... она стлалась, как водоросли на отмели... обретенная родина – остров была монотонна, как прибой... не волновала души... вместо дерзких мечтаний пришлось придумывать ритуалы погребения и обряды скорби на каждый день... прежде свободную волю стали концентрировать и загонять внутрь... культивировали мелочи... чтобы не угнетаться краткостью расстояний стали ходить кругами и бормотать заклинания... песни пелись грустные-протяжные... из одного большого акинака сделали два... для дел хозяйства... малые зверьки, деревца стали тотемами, дабы скорее забылся простор и величие былых дней... время большое дробили... придумали делать знаки-зарубки: длинная означала месяц... те, что короче – дни... на один сезон хватало одного бамбука... в конце зимы четыре полых ствола связывали в пучок и ставили стоймя, чтобы отмечать годовщины утери былой родины... коней больше пасли, чем скакали на них... вскоре стали сеять и дома ставить близ полей... лица становились плоскими от постоянной тоски и уныния... однообразие занятий и дней упразднило пылкие речи... проще было обходиться знаками... хотелось возврата к началу, но все понимали, что это – конец...

Уже далеко вперед по времени, Вестник Атай пролетая галактику Солнца, проникся горькой истиной, что Земля – просто маленький остров в океане космоса, а Племена Коня, некуда стало дальше идти. Разве могли первовсадники знать о пустыне Безбрежного, о том, что шарик земной катит священный космический жук-скарабей, и катит задом-наперед, видя только свой старый след? Сердце Атая-Вестника обдало изморозью, прошло тонкими льдинками-иглами, но перед тем, как оно остановилось, в нем вспыхнул яркий образ прекрасной Одиной, оставленной им на земле. Одиная улыбалась ему и была похожа на нежный лотос, в белом венчике которого тихо светилась любовь. Любовь

и Одиноя! Только их он будет помнить всегда с печалью и нежностью. Вестник земной – Атай уменьшился в корпускулу и, бешено ускоряясь, летел по гравитационным кругам гигантской спирали галактик, как первый Конь и Всадник земли когда-то. Он летел на край Вселенной. Туда, где вставало новая заря и где можно было все начать заново. Там найдет он первичное семя-вещество жизни и вновь посеет на земле...

... что ты есть такое, жизнь?.. Осанна... Аминь... Кто я есть сам?.. Тень чья? река Или не видела океана... но имеет право мечтать... что есть ты, время?.. тень вселенская ветра... струится ручей размышлений... тень... свет... светотени...

Глава 37

Медленно-мерно колыбался индский океан, как спина гигантского млекопитающегося, и вода в нем была медная на закате. Тысячелетиями океан напитьсявался водами рек и потоками сезонных ливней, наполнился молчанием планктона и плавающим совершенством китов и рыб, хранил девственные тайны своих глубин, впитал тепло мириада солнечных дней и мерцание неисчислимых звезд - и потому был соразмерен мудрости бытия. Испокон веков он омывал таинственный полуостров Индостан, полный мистики, мифов и астральных легенд, которые воплотились в непроходимые мангровые заросли смыслов и над которой веками стоял влажный туман миражей. Казалось, что первичный безформенный дух выбрал эту страну своим местообитанием. Прошло уже полгода, как Мудрец замуровал воителя-разрушителя в безысходной пещере-склепе, чтобы тот постигал книгу «второй жизни», освободив пространство «первой жизни» от своих губительных деяний. Теперь он шел на свою родину и во все дни своего пешего возвращения его не покидала радость покойных размышлений и особого средоточия чувств. Он прошел великий горный мир Гималаев, стоял в смиренном благоговении у подножия высочайших вершин, молился у тайных пещер, где укрылись святые первожителы земли, познавшие нетленность

духа и плоти, видел, как в бездны срывается жидкий кипящий снег-водопад, пережил ужас и ярость сухих гроз на перевалах. Начальные воды сакрального вечного знания полыхали в его голове росчерками гигантских беззвучных молний.

И тут же перед его внутренним оком предстали бескрайние равнины Великой степи, с несметной травой и отважной открытостью всем ветрам. Только эти мерно-медленные равнины могли предстоять бездонной равнине неба и выдержать его колдовское притяжение и не обмануться близостью горизонта, и оттого люди там жили другие – неспешные и недремные почитатели своего синего бога Тенгри, вобравшего в себя все образы и лики матери Природы, непостигаемого и постоянного, ибо он - Тенгри не выделял ни одного из человек и никому из них не позволил стать его отражением земным, а тем более возвести в ложный сан пророка. И глубоко в сердце своем, где пребывал его собственный бог, вочеловеченный в принце Шакьямуни, достигшего просветления еще в земной колыбели слез, Мудрец принимал и такое абстрактное понимание бога, в образе Небо-Тенгри, и не как высшее воплощение одного в другое, а как неотрицаемую видимую сущность, каким было небо для всех живущих, равно – что днем, что ночью, ибо оно являлось оболочкой земной, вышшим и бесстрастным защитником и свидетелем того, что есть и будет на этой земле во все времена.

И вот, однажды, находясь уже на южной стороне Гималаев, на рассвете столь прозрачном, что воздух становился биноклярно-приближающим прибором, он увидел за морем джунглей океан индский непомерный и, одновременно, тем же взором узрел над собой океан небесный, который стал втягивать его в свои высотные глубины. И тут ему стало казаться, что Гималаи опускаются и расправляются в скально-снежные равнины, сливаясь с равнинами травными-водными-джунглевыми-песчаными-ледяными, и в этот момент увиделась ему вся земля в единстве и равенстве своих просторов, и представала она уютной-малой-беззащитной круглой равниной-поляной, и полюбил он ее беззаветно, просто так, как любят приют нежданный скитальцы.

Вскоре, вступившему на окраины своей родины, Мудрецу передали весть от его легендарного учителя Варра, названного при жизни «Великой душой-Махатмой», чтобы он явился пред очи его. И он поспешил, вспоминая... Его учителю Варру было уже 120 лет, когда он, еще будучи отроком поступил к нему в ученичество. Их небольшая деревушка-школа находилась близ древнего полузаброшенного храма, который обступали дремучие джунгли. Занятия будущих вестников-спасателей были ежедневными-еженощными, утомительно-истязательными и блаженно-высокими одновременно, ибо иначе невозможно было постичь науку совершенствования тела и духа, как и искусство медитации-озарения. Протяжные движения, вытягивание тела в струну и, вслед за тем, статические долгие позы-асаны, скручивающие тело в причудливую фигуру, дыхательные упражнения, где каждый вдох должен удлинять фазу выдоха, чтобы в конце-концов, научиться задерживать дыхание дольше змеи, впавшей в спячку... Труднее всего давалась наука сосредоточенности и умение читать внутренним голосом магические тексты древних вед и уловить упоительную молитвенную мелодию сутр, без усвоения-постижения которых не имело смысла приступать к медитациям просветления. На это уходили многие годы учения, но шаги в просторе-пространстве непознанного становились сильнее и шире, пока стояло тайное время внутри.

Сесть на рассвете у пробуждающегося муравейника в позе «свернутого листа» и читать сутры благословения-благоговения, следя за каждым муравьем в отдельности, увидеть высший порядок во внешнем хаосе их передвижений, и к вечеру, вместе с последним муравьем-стражем уйти с поста бдения-чтения в покой подсознания, чистыми дремлющими мыслями принять мудрость сутр и ощутить трепетную тайну ведов. Сам Учитель Варр шел тем же путем, но ныне находился много дальше. Впереди. Порой ученики видели его стоящим на мизинце правой руки вертикально и недвижно, а порой – парящим над землей, как книга, открытая небу. Однажды, Варр-Учитель велел опустить его в воды небольшого прозрачного пруда и целый месяц пролежал на дне и только длинные густые волосы, шевелящиеся вокруг его голо-

вы, спокойное лицо и открытые глаза напоминали о том, что под водой лежит живой человек. Нет, не только воздержание плоти было в том учении. Когда они – ученики достигли двадцати лет, они поселились в легких тростниковых хижинах, крытых внаклад широкими листьями хвощей, куда вскоре привели юных дев (каждому по одной), с мерцающими очами на смуглых лицах и точеными телами из мягкого коралла и лунного колдовского света.

На рассвете-утрами-днем-вечерами и в полнолуние постигали они – юноши свое второе женское «я», и их любовные игры с девами луны и медитации страсти продолжались целый месяц. Следуя канонам Камасутры, ученики Варра со своими дивными наперсницами, все дальше уходили в чарующие чащи любви, с неистовой фантазией совершенствовали позы соитий, проникая одним в другое, проницая друг друга ненасытно-неистово-неизъяснимо, оком сердца, черпая новые силы там, где было мгновение назад окончание-взрыв-озарение-исход-таяние. Учитель Варр полагал, что плоть так же сильна, как дух, и если ей не позволить все ее естественные требы, то она может исказить дух и силы уйдут на потаенные развратные помыслы, а воображение и разум затмятся химерами извращенных фантазий и неосуществленных плотских вожелений. И тогда ученик не исполнит свое предназначение. Через тридцать дней девы-наперсницы любовных игрищ уходили, унося в своем чреве плод-семя совершенства, их сменяли другие (раз в год). Но одну из них еще молодой Мудрец запомнил навсегда. Он дал ей имя: «Истечение луны» и в тот неистовый и волшебный месяц любви постиг женщину, как равную половину мужчины, и преклонился перед мудростью Природы и щедростью Будды Настоящего Дня...

...от поступи Ее у него началось шевеленье внутри и он покачнулся... чаща озарилась особым светом и из влажной тишины выделились щебеты птички, звоны капель о камни, шелестенье листьев в верхних кронах, вздохи и шорохи дальние... полутени льнули к телу ее изваянному незримым касанием ветра... лицо агатове-нежное-смуглое обрамляло струенье волос податливых-легких... эбонитовые овалы и округления чресел томилась в

ожидании ласки... в чашу живота изливались тайные соки двух жемчужных плодов... две ложбинки вели к средостению бедер и к тенистому гроту, где хранились сокровища из поющих розовых кораллов... ароматной розы несметной нераскрытый бутон ждал часа цветенья и благоуханье свое сокровенное еле удерживал в глубине лепестковой... и глаза – сияющий перламутр и черные лилии зрачков, пронзающих сердце... все терзания-сомнения были напрасны, ибо податливо раздвинулись волны дивного моря и погрузился Он в воды Ее... удалился в сей миг Волшебник Предвечный смиренно,.. ибо здесь чудо земное-вечное вершилось... душой и телами двоих...

Когда ушла Она – «Истечение луны», он – ещё юный мудрец, давший имя чудесному, попросил Учителя Варра более не приближать к нему дев. Варр улыбнулся и повел его дальше к Учению Высшему, видя, что этот этап познания грядущий Мудрец завершил.

И вот, приближаясь к берегу океана, к последней обители Варра-Учителя, возмужавший в скитаньях и исполнивший одно из главных своих назначений Мудрец продолжал вспоминать благодарно, как Учитель, однажды, одним взглядом остановил бешеного слона, едва не затоптавшего ребенка, магическим жестом поднял гиганта в воздух и слон превратился в обычного соловья и запел. И все улыбнулись изумленно. Еще вспомнилось, как непросто понимание священных чисел-знаков вечности. Более тысячи лет назад здесь, в Индии, посвященные в Высшее Знание открыли поразительно простую систему исчисления всего, что есть на земле, и того, что стоит за гранью зримого и не имеет вещественной сути. Эти числа-цифры вкупе со знаками прибавления-уменьшения равенства-умножения-дробленья-кратности и многократности стали символами неопределимой бесконечности и отсутствия точности- реальности, одновременно, обладая волшебной силой явить уму нечто неосязаемое, невидимое и несуществующее нигде, кроме воображения, как непостижимую сумму чисел.

Варр объяснил, что самым важным числом была не «1», а цифра «2» – знак души. Змейка. Силуэт. Абрис. Именно этот знак

удваивал единичное, начальное – «1». Один человек – ничто, а мужчина и женщина – это уже ядро человечества, могущие в соединении зачать третьего человека-ребенка, т.е. сотворить чудо. Знак – число 3. Труднее было постичь иные символы такие, как «4» – знак дома. Их сумма ($3 + 4$) невероятным образом порождало число «7» – знак могилы, ибо были сакрально взаимосвязаны друг с другом. Если из знака могилы – «7» вычешь знак дома – «4», то получишь символ первого знания-ребенка, число «3». Знак мужчины, т.е. семени «9», наложенный на символ женщины, число «6», являл абсолютную цифру «8» – воплощение вечности и, вместе, знак любви. Это было понятно, до восхищения. Помнится и он, особенно, любил в «Истечении Луны» – две параллельно сияющие зеницы очей – «8», которое было двумя кругами жизни, образующими понятие бесконечности. Цифра «5», как символ дороги петляющей, тоже становилась понятной, как тропа в лесу, ибо сие суть исканий. Вершиной всего являлось – явленное с небес и из ядра земного – круглое «0», которое вершило судьбами и значением всех чисел-знаков, возводя их в первый порядок множественного и совершенного, как суммы бытия. Это сверхзнак-число «10». Далее можно было сколь угодно много уменьшать и увеличивать числа, разницу и общность их, промежутки половинные-меньшие-большие и постигать смыслы этих немислимых сопряжений знаков-чисел.

Вот, что хотел бы Мудрец снова услышать, понять и вразумиться от Учителя Варра и в этих размышлениях завершить свои дни, отныне исчисляемые и могущие быть положенными в сакральный ряд, в два уровня (сомнение-деяние), в вертикаль вдохновения, ибо в них заключался общий Смысл Суммы, т.е. Жизни. Варр-Учитель говорил также, что с этим знанием суммы и знаков-символов и воссел некогда в венчике лотоса Будда Гаутама, дабы неспешно созерцать явленную в цифрах красоту вечного, изгоняя бесов пугающей неизвестности и хаоса. Числа-цифры-знаки являли собой Порядок первого уровня. Но порядки второго и третьего уровня еще не установлены, не постигнуть их на земле и путь до них далек и труден. Он – в высоком небе. Много позже, во время своих странствий Мудрец узнал с сожалением

нием, что величайшее открытие индийских магов – цифры стали называть «арабскими».

Учитель Варр уходил. В трехсотый год своей жизни. Он сидел под деревом, посаженным в год его рождения. Его окружали ученики. И лучший среди них – Мудрец. Этот день Варр Учитель выбрал сам. Уже давно. И готовился к нему особо. Тридцать три дня непрерывной медитации без сна и пищи преобразили его. Он словно помолодел. Великая Душа – Махатма обзревала пространство прожитых лет. Не открывая глаз, Варр-Вестник видел то, что скрыл от учеников своих. Мир остался неизменным. Но это не разочаровало его. Лишь в последние годы он понял, что мир не надо изменять. Именно, неизменность мира была благом. Это прозрение ошеломило его. И утешило. Хорошо, что он ничего не изменил в нем. Мир и до него, и после него изначально был и будет совершенным. В этом открытии заключалась суть всех обретенных им знаний. Возвышен лишь тот, кто не возвысил себя над природой. И ум был дан человеку, чтобы понять это. Как просто!.. Но в этой простоте – истина. Малую душу свою соединить с Великой душой жизни. И этого довольно, чтобы уйти из нее счастливым. Если Великая Душа примет душу твою, значит человек жил праведно. Не посягнуть на Совершенство Природы ни умыслом, ни делом. Лишь мир совершенный примет Будда Грядущего от прошлых времен. И не прогневится. И грядущие люди будут благословенны, как люди былые. И это последнее знание излучалось из Учителя-Варра, как свет. Без слов... И поняли то ученики его, ибо с ними, через Учителя говорила Великая Душа-Махатма. И приняли они этот завет.

Среди белого дня стало сумеречно. С дерева осыпались листья. Тишина вступила особая. Учитель Варр воспарил в белых одеждах. В позе лотоса. На уровне глаз учеников. Полетел к берегу океана. Медленно. Ученики шли вслед за ним. Стало прохладно. Учитель повис над водой. На берегу остались стоять ученики. Без видимого усилия Учитель расправился, как лист. Лег на волны. Навзничь. Прозрачная тень полегла на землю. И Учитель поплыл по воде, как сухой лист. Головой на восток. В океан мерный-медный-темнеющий. В этот миг солнце полно-

стью затмилось луной. И никто не увидел, как исчез в океане-индиге Махатма-Учитель. Великая Душа приняла его душу. Солнце вышло из-за черного круга и мир наполнился светом. И вновь стал совершенен... И неизменен... Как и должно быть...

... в чаще, у храма... под камнями... под корнем-выворотнем... короткая густая трава... лужицы-зеркальца... отражают небо и кроны деревьев... меж камнями, в полугроте мхи... темно-зеленые... дальше – почти черные... в глубине родник сочится крохотный... потаенный... снаружи камень выступающий, большой... опалили его... стал черным... знак пребывания Учителя-Великой Души-Махатмы... может в ином воплощении навестит он это место?... вот и паучок-вестник выбежал ниоткуда... это к добру, к вести благой...

... Кто-то шептал из тумана:

... Это не горе. Ты его не видел. Это тень горя...

... Не жизнь это. И не твоя. Тень жизни...

... Если влюбясь, не плакал сквозь слезы, то это лишь тень любви...

А теперь подумай о тени ветра...

... В иных кругах смысла летают озарения... Их нельзя лицезреть-чувствовать-понять... Многие круги, в едином круге, в кругах других – закрыты... Даже бог их не может увидеть-почувствовать. Человеческое чуждее ему. Он слишком вознесен-высок-недоступен. Люди низменны и тленны. И червями съедены будут. Если не можешь понять сам, не ищи бога... Не можешь сам сделать – не уповай на другого... Хочешь кого возненавидеть-убить, готовься сам умереть и быть возненавиденным и убиенным... Думаешь спастись – плыви... Только не уповай в бессилии на бога. Не суй в суете сущее в сумру... Просто будь, как трава. И расти...

...о стены, стенайте... квадратьте круги... круги окружайте стены...округляйте квадраты... нам нужна сцена ветров вольная- травопольная... стенки одинокого сердца сделайте альными парусами... белыми картами надежд станьте облака... отплываем... берег земной, прощай... здравствуй берег равнинного вечного моря.

Как-то, когда среди космической ночи, Гроссмейстер и Лунная Красавица, вспоминали былые дни свои в «земном театре», прогуливаясь на своем суверенном облаке сбывшихся упований. Внезапно, Гроссмейстера, стала бить сильная дрожь – вибрация. Он бросил взгляд в нижний, ближайший к земле, космос и увидел, как две свинцово-тяжелые линии стали сливаться в одну. Каждая из них начиналась в своем времени на земле: более древняя тянулась из точки сретенья каменной пустыни и гор, а другая исходила из селения «Длинных деревьев» у подножия Алатау, близ Алматы. И сигнал, и вибрация от них были особой силы опасности, в спектре сверхтяжелых губительных элементов, угрожающих легким квантам света. Мгновенно сообразив, что слияния этих злых линий нельзя допустить, Гроссмейстер всей мощью своего воображения и внутренней энергии стал лихорадочно заштриховывать их, не давая им сблизиться и создать сокрушительный для гармонии резонанс. Это отняло у него весь остаток ночи и от недавней беспечности воспоминаний не осталось и следа. В конце-концов, он смог почти окончательно заштриховать их. Вскоре и в дальних небесах и пространствах восстановилась былая гармония линий-нитей и струн, издающих чистые звуки. И в этот момент, откуда ни возьмись, у края облака, перед глазами Лунной Красавицы и Гроссмейстера, нежданно, явился старый друг, Док-Учитель Танца. Телепатические восклицания и восторги перекрыли зону недавних тревог. Док-Учитель поведал, что сейчас занят постановкой «Балета комет», в одной из галактик, где ему предоставили целый рой комет для кордебалета и две-три Жемчужные Кометы со сверкающими хвостами на премьерные и сольные роли. Док рассказал Калмыку-Гроссмейстеру и о том, что Балерина – наследница духа Лунной Красавицы нашла свое земное счастье в любви и теперь занята тканием-созданием воздушных композиций-токма-текеметов из овечьей шерсти пуховой консистенции. Все трое порадовались этому и уговорились встречаться чаще, если ритмы их второй жизни будут совпадать и дальше. Напоследок, перед расставанием, замолчали... Что же, и во втором небе бывают минуты грусти, ведь ничто земное не может быть забыто даже обитателями звездных высот и дальних

небес... Конечно, они были не в силах изменить ход времени и событий на земле, но уповать-то никто никому еще не смог запретить.

Глава 38

... отправлять поезда на станции прошлого... вагоны плацкартные-старые... все у всех на виду... не скрыться... остается открыться.. красивая женщина в шелке желтом томится смущением у дверей туалета... очередь длинна... на столиках в купе нехитрая еда, но вкусная-общая... нескончаемый чай и беседы попутчиков длинны-темны-доверчивы... устные дастаны-поэмы о разном-прекрасном-странном и безобразном рождаются прямо из сонма жизни... поэмы о покинувших дом по воле-неволе своей... кто куда... кто в войну, кто в тюрьму, иные совсем – навсегда... полустанок...сходят-смешались... продают-покупают... кто картошку, кто пальто невозвратного человека... встречи с улыбкой-слезой... проводы со слезой и улыбкой... и Арал почти рядом, у рельс... балыки вареные-копченые-с солью... по цене буханки белого хлеба из города... встречать поезда, полные ветра невзгод и надежд... а ты, дежурный по станции, из прошлого в день-сегодня...

И такое происходит и происходит... Исчезают реки-люди скрываясь в подземных руслах-погребках, в песках... уходят куда-то леса - рощицы – деревца... вчера вроде бы еще шелестело - зеленело - качалось, а утром уже нет. Ушли за гору или в какие - другие края. Дубы и камни, то ли с досады-обиды, то ли по иной причине, сами собой выкорчевываются-выворачиваются из земли и ищи потом их невесть где... И откуда только силы берутся у них срывать с корней - с гор. С печали, видно, большой. Наутро смотришь: вместо рощи - пустырь, там, где тек ручей - сохлое русло с темной тиной. На склоне горы видны одни выворотни-ямы, будто снаряды там рвали. Дом пустой покосило весь, словно молнией ударило, сад за калиткой враз одичал, во дворе подвывает – скулит брошенный пес. Конечно, кто-то опять посе-

лится, лес вырастет, да все уже будет не то. И хлеб не так вкусен и вода солоня. Порой, поневоле подумаешь: вот возьму и всем назло не проснусь поутру, чтоб не видеть исчезновения-уходо-ускользания людские - природные. В летаргию что ли долгуо впасть, блин?

Думалось и так, но Гевра твердо знал, что теперь он ни одного из воспоминаний своих никому не отдаст. Слишком дорого далась ему та оборона под сценой театра «от сиюминут – мигов - вчера-завтра», а золотая, пусть и тяжелая середина «заплот - миг – сейчас» была спасением. Как ни ранена память, а все лучше больным ходить, чем равнодушным, беспамятным здоровяком, пес его за ногу. Если б мог, то без колебания в один «миг - сейчас» вместил бы все бывшее с ним и другими, и еще догрузил бы мечтаниями-упованиями о «завтра», каким бы тревожным оно не казалось порой. Оставление хороших следов - это искусство. Одно дело след змеи на песке или улитки на листе. Это безвредно-естественно. И совсем другое - погубить пейзаж, изуродовать поселение-город или себя самого, сотворив из себя монстра-эгоиста-извращенца-убийцу-насильника-мегалопитека. Зверя пещерного. Канон гармонии хрупок. Чуть изменишь и получишь хаос. Разрушение. Тонкая паутина бытия - уловитель души и сладостно биение каждое в ней. И вспомнились, яблонно-сочные годы. Пусть порой и с кислицей...

Иссык, интернат. Начиналось второе послевоенное десятилетие, полное солнца-надежды-праздника и запаха хлеба. И этот теплый запах сытости становился постоянным, как утро-день-вечер. Но и увечных солдат никто еще не упразднял на улицах-вокзалах-базарах, и аккуратную чистую бедность не скроешь среди еще свежих победных плакатов. И все же, все же... Почти все детдомовцы были полными сиротами войны. И потому никто из взрослых не позволял себе их обидеть. Эта норма милосердия была принята всеми, как закон природы, нежели пункт устава детдома. Детдомовцы могли быть кем угодно, но только не паиньками, но сельчане терпели их, как стихийное бедствие. Ребят-сирот щадили, хотя могли и строго одернуть, если они переходили грань меж озорством и серьезным проступком. В самом детдоме

поддерживалась железная дисциплина, установленная фронтовиками, которые воспитание этих сорванцов рассматривали, как очередное боевое задание и слово «справедливость» было здесь главным. Сельчан, конечно, огорчали набеги на огороды и сады, зато футбольные матчи и спортивные соревнования с участием детдомовских и интернатовских команд служили некоторым утешением за потраву. Спорт был культом, что никак не отменяло стихию драк с сельскими ребятами. Однако, девчонок не обижала ни та, ни другая сторона. Так понималась пацанская честь, сравнимая, разве что, с честью солдата. Летние каникулы скорее являлись трудовыми уроками на природе. Убирать картошку, овощи, стоговать сено для скота в подсобном хозяйстве было, несомненно, скучноватым занятием, но все знали, что та же картошка, капуста, мясо окажутся по осени - в зиму на их же столах и эта житейская необходимость принималась всеми, как данность.

И даже теперь Гевра вспоминал то время с благодарностью, часто думая о том, что стало бы с его сверстниками тех давних пестрых лет, если бы не детдом. И если есть сладость в сиротстве, то пусть она будет такой. И от этого душа полна и серебрится. Журчит струей в ручье. Ветром легким летит-шелестит в кронах тех давних деревьев, а в снах все также прекрасны зеленые горы, поля, сельский стадион. А та девчонка, что тронула потаенную струну мальчишеского сердца так и осталась там, в тех годах, улетев нежной бабочкой в свои женские луговые рассветы.

... Юность-поляна травная, рыданье, радость, боль - луговая страна... Тех утр и рос, того пения - дня и вечера - первой грусти не возвратить, но и не забыть. Но пишется и пишется эта теплая книга в тихой келье сердца о том, как ты становился человеком. Свечение-вихрь-ветроворот тех медовых дней уравновесят всю горечь поздних прозрений и бед. Дуновение-одухотворение детское в робкой душе, что сложилась из лепестков горьких, но сильных, выносливых. Это потом ты удвоишься в теле мужчины и понесешь груз забот-работ и пряную тяжесть-радость первой взрослой любви, но ветер-дождь-град той поры нет-нет, да ударят в колокол сердца и он зазвонит

тихо. Утешься той щедростью, непрерывным вызревaniem добрых плодов и злаков, не утомись до старости собирать незримый урожай, которым и ныне ты кормишься. Не прекратятся в тебе дожди тех лет и не кончится день тот огромный и яркий, а радий радости не перестанет пронизать тебя насквозь. Это благое излучение, целящее душу уже устающую к вечеру. И-и-и, мои золотые сверстники - дни, где вы теперь?.. Жасмин прост, как юноша. Лилия сложна, будто девушка... Логика, как лотос бессмысленна, если там не воссел Гаутама... В Париже - весна... В Лондоне, привычно, туман... В Алма-Ате грусть. И это лучше всего.

Добрый старый алма-атинский «Брод»... Теперь на его месте пустырь, старый «ТЮЗ» снесли, а периметр жестяного забора заканчивается у спуска в подземный переход, куда боязно спускаться по вечерам, ибо нет освещения. Зев перехода во времена античности назвали бы входом в Аид, где «стиксовы воды» мертвы и печальны. Увы... так умирают легенды и города. Новые города строятся на кладке кладбищ былых домов. Старые «бродники», мечтавшие о «свободах» и нью-йоркском Бродвее, о «трубочках-шузах-джинсах-твистах-мокасах-ковбойках», о фордах с форсом в «триста сил лошадиных» сегодня могли бы и торжествовать, пожалуй, если бы на то у них были «баксы» и молодость. Увы и эх!.. Археологи ближайшего столетия станут с изумлением откапывать русла-артерии арыков и по слоям несохнувших травных корней гадать о том, какими были закаты тех лет и лица девчонок-чувих алма-атинских, сидевших на берегу струйного арыка на своих сдобных попках, окуная в его воды ножки, ценой «в миллион мерилин-монро». Целая эпоха наивно-стремных дев-целянок утесла по течению тех арыков и будет названа термином «плеврозой», а их сверстники-плеврозавры, обитатели тех первобытных девьих «девонов-эпох - мезозойных чащ» предстанут оттисками-письменами своих глиняных следов в экспозициях музеев, отыграв парочку «рок-н-рольных ролей» на фоне мегазвучия Баха-Курмангазы и став «архи-арухами» своих бала-немере-немене-потомков. Возможно, только дивные горы Ала-Тау, как окаменевшие пестрые яйца куропаток,

будут все так же бесстрастно и остроглазо смотреть на тминные дымные степи, не зная о том, что это лишь фитодизайн и травы там давно не пахнут. Вздохнем, пока горы не навалились нам на грудь...

... хладные воспоминания не стоят теплой ласки мгновения и легче отдать последнее колено ради пары фигур твиста, чем костылять тезисом «...де жил и я...» Один гейзер любовного порыва лучше ста вулканов с отстывшей лавой малодушия на склонах. Как вернуть тебя, мой город?.. Настоящая любовь, как холодец, который дрожит, пока бьется сердце... У этого блюда всегда отменный вкус. Чувствовать – это все равно, что оставлять следы на песке побережий бурного моря. Скейт-борды никогда не станут лыжами, оставляющими след на девственном снеге мужества. Дерзайте... Шесть случаев разочарования оправданы седьмым чувством печали. Жизнь одинаково щедра и к тем, кто прожил год, и к тем, кому семьдесят. Даже жестокая роскошь жизни лучше бледного света дальних звезд... о чем это? о том - некоем, кто все сказал молчанием глаз перед смертью – «Я это видел... и жил...». Кому бы я мог посмотреть так в глаза, когда придет мой срок? Втуне, думается и об этом.

Порой лучше не понимать, в каком времени живешь. Все равно многие вещи случаются, вопреки нашей воле и нечего ломать себе голову над тем, что сеется вокруг, когда можно заняться тем, что внутри. Конечно, если там что-то еще осталось.

Прежде чем лезть в себя, полезно представить себе темный и влажный лабиринт, включая весь кишечник и запутанные коммуникации вен и артерий. Про мозги и говорить нечего. Они хороши только в спиртовом растворе, промытые и гладкие, а живые и действующие под черепной костью, они чудовищны и коварны. О, сколько добрых наивных мыслей запуталось в этом темном лабиринте, так и не успев изойти наружу в виде улыбки, поступка или чувства? Сколько иных дерзких проблесков ума так и остались в глухих тупиках мозга, одичав и отчаявшись там окончательно, в тенетах нейронов и капилляров, медленно вырождаясь в злобные мысли-фантомы, насыщаясь ядами химер ненависти и особого изуверства, измышлять убийство, что было

несвойственно даже диким зверям-хищникам? Иначе б откуда взялись бы людоеды-монстры зла – садомазохисты-насильники всех мастей, педофилы-любители невинной детской плоти? Эта преступная нечеловеческая братия получает удовольствие от зрелища того, как в глазах ребенка полыхают мутные огни первобытного страха и серые отблески безумия. Так вырождается-выжигается-изгоняется душа и несчастный ребенок, так и не став еще человеком, вынужден совершить мучительный чудовищный возврат в свое звериное изначальное прошлое, в логово голых инстинктов, в плотоядство, в бездумие бессмыслия, в немочь немоты.

Стоит только представить себе, как он (по виду еще дитя) вновь втягивается-всасывается в узкое змеиное тело, холодно блестя глазами и раздваиваясь ядоносным жалом-языком или вползает в роговой панцирь крокодилий и учится омерзительной науке пресмыкания, бесстрастному искусству ждать у поверхности грязного рясного болота своей блеющей жертвы – прекрасной тонконогой лани или того же неосторожно купающегося человека. И вы увидите истинный лик крокодилопитека, со страшной кривоzubой улыбкой разрывающего кричащую кровотокающую плоть, дотоле бывшего существом совершенным. ...Зоопарк людской... тысячи обличий зверства и неисходной тоски... гримасы и ужимки обезьян с красными задами, вывернутыми вагинами и фаллосами... леопард, потерявший вдохновение погони... порно-фильмы зообытия и зебра рядом с бесполой лошадей Пржевальского – сестры по неволе... Нет спора, что пластика черной пантеры может быть эталоном красивого движения, но взгляните в желтую тьму ее глаз и многое вам увидится иначе. Проще ненавидеть отвратительную гиену с приплюснутым черепом... Включите воображение и поместите ее в вонючую утробу человека с его-то мозгами... Получите чудовище-гиенопитека разумного, убийцу и людоеда обыкновенного в собственной человеческой стае... в геенну-гиен, все это, в мать вашу шакалью... А потом поклоняйтесь какому-нибудь каннибалу люциферному, андроиду-гитлероиду или изощренному психопату-политику - Буш-мену, давшему благословение на производство самонаводя-

щихся снарядов (которые, возможно, уже летят к твоему дому)... Смотрите мощный блокбастер о собственной и планетарной гибели. Слушайте вопли и крики своих близких и соседей по земному кварталу в виде новостных программ ТВ. Смотрите, слушайте, блин, бля, блюз...

...лук-тетива-стрела... корень-стебель-бутон... человек-мозг-мысль... основа-натяжение-полет... полет-бабочка-кон-нон... все спектры хороши, кроме мертвого...

...Вотще, ясная лазурь неба располагает к безмятежности, но то было давно, а ныне оттуда непрерывно звучит тремоло тревоги и тщетно глушит мысль о возможности того, что там уже летит стелс-невидимка и пилот, повинувшись показани-ям приборов, нажимает на кнопку-гашетку и вниз, к нежному полю жизни уже летят самонаводящиеся сверхточные снаря-ды-акулы и грядет неотвратимое «бум-разрушение-гибель», в то время, как невозмутимый пилот видит на бесиумном элек-тронном экране видео-шоу взрывов и слышит в наушниках голос из центра управления... «цель поражена, улетайте»... «о, кей» – отвечает пилот и отворачивает от горящего поля смерти, а по ТВ, втуне, как приправу к еде вкушаем новости, а в сосед-ней комнате, наш малыш на компьютере бомбит «вьетнамы-ираки» и счастливо смеется, поражая цель за целью. Тщетно думать, что все это изменится, хотя порой и буравит сердце мысль-предчувствие, что где-то, очень и очень далеко, за далью небес земных, время грядущее неумолимо сжимается, боясь до-пустить в себя настоящее, текущее на земле время, и остается, пожалуй, лишь вариант развития-продолжения жизни назад, в прошлое, в дикость, в первобытное состояние зоожизни в от-крытых зоопарках мегаполисов среди свободных зверопитеков... вотще суета и грустно втуне...

Глава 39

Предание о Первых Вестниках Атай слышал еще в Школе Навигации... Вестники были всегда, с тех пор, как сотворилась

вселенная и зачалась жизнь на земле. И надобна стала Весть. И тот, кто ее донесет. Изначально Вестники состояли из кванта света и еще трех перво-элементов: *инния, динния и ванния*. Лишь много позже появился пятый элемент и обрел человеческий образ и плоть. И сущность Вести стала иной. Так явились вестники-люди Предназначения. Ведь, чтобы нести Весть – вещь невесомую и вместе тяжелую, надобно было иметь прирожденное свойство понимать и проникать, и лишь потом уже обрести мужество и особый дар возвещать Весть. Сеять семя Смысла и Цели. Много позже, уже к концу Эры Водолея были открыты те перво-элементы, по праву занявшие свое место в системе Менделеева. Оказалось, что «инний» хранил в себе субстанцию абсолютного холода и тьмы, «динний» можно было назвать носителем веры, а «ванний» олицетворял собой элемент сотворения. И вместе со светом, эта триада элементов, в неистовом борении меж собой, собственно и создала жизнь на земле, а потом и самого человека, а потом уже встроилась в его физиологию. Так появились Вестники уже земной истории. Ведали Вестники и о таинстве Слова, дабы облечь в речь весть благую и весть горькую. Ведь они были родом из пространства-времени дословесного, знали весь ужас Пустоты без смысла, без границ и вещественной осязаемости, которую могло заполнить только Слово. И потому несли они пещерным диким людям знаки-знамения Слова, открывая им связь явлений: молния-огонь-гром-дождь-град-снег, ибо также трудно будет потом освоить цепочку слов, составляющих Речь, ибо лишь овладев этим космичеким даром, люди смогут достичь озарения, укротить ярость и гнев, развеять сомнения и объяснить природу того странного беспокойства, которое затем назовется словом – Любовь. И эта наука была так трудна и столь мучителен был путь из дикости, что люди издавна невзлюбили Вестников, поносили и гнали от пещер своих, а порой могли и убить, коли черной казалась им Весть. И тогда в уста возвещающие корень корявый-вывороченный вставить могли, камнем голову расколоть-раскроить, а то и в огонь бушующий бросить. Знали человеки дикие о кротости Вестников и не боялись их, но и Вестникам страх был неведом, ибо есть у них

Назначение и помимо оболочки-плоти человеческой, состоят они из света и мятежной триады перво-элементов вселенной: инния-динния-ванния... Так гласила легенда.

Чудовищная воронка космоса вращалась с нарастающей скоростью и втягивала в себя земного Вестника-Навигатора Атая. Сейчас в нем активизировались все три первоэлемента: «инний – динний – ванний», которые в соединении со светом обладали способностью пронизать время и пространство с невероятной скоростью, превышающей всякое воображение. Законы физики здесь теряли силу, а гравитация и невесомость вступили в такую высшую взаимосвязь, отрицающую понятие бесконечности, а тем более земные предрассудки о непреодолимости вселенной. Собственно, это была (только в ином, неизмеримо умноженном, понимании) скорость Мысли. На этой стадии полета к окраине вселенной, Атай-Навигатор существовал чисто теоретически, в режиме суперсновидения – физического небытия и мог пребывать в любом времени, или в нескольких – одновременно. И Атай видел...

...Племя Коня стояло у самого края горизонта. Тысячелетнее кочевье завершилось. Перовсадники настигли горизонт. Смуглые – скулые – снулые – смелые. Мужчины, женщины, дети. Они стояли прямо у кромки неба, которое здесь было черным. Кони высокие – жарые тревожно ржали, покусывая удила. По этой черной равнине нельзя было скакать. Перовсадники молчали. Немигающими глазами, наученными смотреть против ветра, смотрели они теперь за край горизонта, натянутый, как тетива, на луке. Но стрел не осталось, а мысли летели обратно. Туда, откуда они пришли... Им вспомнился день, когда они покинули селенье у гор, оставив за собой круги пепла. И дни другие помнились им...

На первом большом привале осмотрели то, что имели. Грудастых коней с гнутыми шеями и гусиными головами. Выточенные ветром, ждали кони, пока снимут с них искусно витую-плетенную сбрую из коноплянных-пряных веревок и накидки из тонкого войлока. Мать-кобылица уже вела прытких жеребят к водопою и влажным травам. Ласковым ржаньем переключались.

Женщины шалашики из соломенных циновок поставили, из плоских камней очаги спроворили. Вскоре, ковыльными венчиками дым потянулся из них. Девушки за мелкой заботой, смеясь, ожерелья из цветных камушков, перебирали на шеях точеных и, таясь, быстрые взгляды (черных-карих-зеленых- в крапинку глаз) бросали вслед гибким юношам, разбиравшим колчаны-конусы со стрелами и деревянные луки. Мужчины, оправив накидки из вывернутых шкур на плечах и амулеты-накладки из высушенных медвежьих, рысьих и волчьих лап на предплечьях и запястьях, собрались на охоту, взяв дротики, пращи и кремневые ножи заправляя за пояса. Дети со смехом побежали шалить и купаться в ближнем ручье. Травы, кустарники с ягодами, купы шелестящих деревьев, отмель речная с камнями-окатышами, юркие рыбы в струе - всего в изобилии было, доступное рукам и уму и охватное глазом...

На переходе втором стало много шумнее. Тяжко скрипели телеги с воловьей упряжкой. Свистели бичи ремянные в руках у возниц. Угрюмо верблюды брели со скарбом между горбами и плевались брезгливо на суету, брань и крики людей. Кони грызли железные удила, били копытами в железных подковах, глухо бряцали стремяна, свисая с кожаных седел. Ржали кони во гневе и косили дико глазами на метки-тавро на крупах своих, тоскуя о воле былой.

На стоянках ворчливые бабы, укутанные в платяницы и шали, ставили круглые кошмяные юрты-дома и таскали тяжелую-многоую утварь в сундуках и кошелях. На треноги железные служивые парни водворяли котлы закопченные, отирая грязные руки о грубую ткань штанов. Протяжные песни затевали томные девушки, звеня длинными тяжкими подвесками, изредка резко-небрежительно взглядывая на парней, озабоченных службой. Тех, что резали скот у котлов. Густо пахло кровью и потом. Мужжи разбирали доспехи и оружие острое-дробящее-летающее и садились поодаль от прочих, обсуждая набег и поживу из блестящих камней, гладкого шелка и желтого металла, который можно хранить и в воде. Разве что, дети были все также беспечны, забавясь военными играми, деревянными палками

вместо мечей. И ночи стали наступать быстрее и тревожней, чем прежде, и все меньше было свободы у коней и людей среди многих вещей и забот, и все медленней совершалось кочевие-шествие.

О, дева-грусть! О, женщина-печаль! Ах, кифара-домбра... О, мифы мои, настагающие меня лишь теперь. Прощай мой младенец, покинувший седло-колыбель...

Глава 40

Молва о святом отшельнике, который добровольно сошел в могилу еще живым, вскорости облетела соседние деревни и селения, пока не дошла до настоятеля храма (прежнего государя), принявшего постриг и возглавлявшего в те годы секту «Чистой Земли-Икко». И он пожелал присутствовать при вскрытии ямы, своими глазами увидеть то, чему все же не верил до конца. Кроме того, это стало поводом для посещения северных княжеств, где поднимали новь. Под таким благовидным предлогом, чтобы не встревожить двор двух сёгунов в Камакуре, и двинулся прежний государь в путь.

Стоял ясный-теплый-зимний день. Императорская процессия медленно поднималась по тропе, которую к его посещению расширили, прорыв длинную пологую лестницу с широкими ступенями, чтобы удобно было нести паланкин с прежним государем, а ныне – настоятелем храма. На вершине горы светились сосны-свечи и поневоле возникало ощущение истечения вечности. Шум моря, доносящийся снизу, вторил голосам молящихся монахов. Когда вскрыли помост и открылась ниша, все благовейно опустили на колена и склонили головы. Святой отшельник и после трех месяцев подземного уединения сидел, как живой, лишь чуть наклонившись вперед. Настоятель – прежний государь, несмотря на свой высокий сан, тоже поневоле склонил колени, потрясенный увиденным. Глаза святого, будто два янтарных ока смотрели поверх склоненных людей и видели то, что находилось бесконечно далеко отсюда. Прежний госу-

дарь молился до тех пор, пока не прорыли канаву к обрыву и не сделали новый помост над ямой и канавой так, чтобы святой был всегда обращен лицом к восходящему солнцу и никто снаружи больше не смог потревожить его покой. Прежний государь-настоятель распорядился возвести над местом упокоения-отдохновения святого от бренной суеты часовню-пагоду, назвав ее «Чистый приют». Затем он щедро одарил селян, наказав оберегать это священное место. Когда все удалились, случилось неприметное чудо. Та самая сосна на краю мыса и впрямь наклонилась на время и увидела, наконец, пенную кромку прибоя под горой.

Последнее, что видел Отшельник в полной темноте своего добровольного уединения под землей, на вершине утеса, обращенного к восходящему солнцу – была тонкая полоса света, свитая из нитей-лучей и похожая на висячий мост над бездной. На другом краю светящего моста, в бесконечном далеке появилась Сайко, такая же прекрасная, какой была в прежней жизни и помахала Кену - своему возлюбленному мужу рукой. И улыбалась. Живая. Кен-Отшельник встал, благоговейно поклонился и пошёл к ней навстречу. Вчуже он подумал, навсегда покидая земную обитель слез и упований, что они с Сайко уподобились в своих новых воплощениях мифическим супругам: Идзанаги и Идзанами до их вечной разлуки, и теперь им – Кену и Сайко выпал случай сотворить сей бренный мир заново и не разлучаться больше никогда...

...крылья вечной бабочки тонки и радужны... воплощение трепета и восторга... думалось... отчего дано слепой и жалкой личинке стать прекрасным существом-бабочкой?... может, та же судьба выпадет однажды, и червю могильному, ещё не начавшему свой скорбный труд и он вылетит из тела человека, до смерти его, радужной бабочкой, подобно исходящей душе и обретет человек вечную жизнь ... полет бабочки и радуга надежд на крыльях её...

...если некто тебя спросит: - что ты несешь? Что за чушь такая тень ветра?... Отвечай: смотри, колышутся травы... плывут облака... волны на море... птицы летящие... ше-

лест листвы... волосы бегущей девочки... цветы, что качаясь росы роняют... трепет белых простыней высыхающих... змей, запущенный мальчиком... дыханье влюбленных, когда стоят они на просторе... веер страниц книги, забытой в беседке... крылья мельницы и запах молотых зерен... косые дожди... кружащийся снег... скрип калитки... поющих камыш... да, мало ли что, если смотреть повнимательней увидишь тень ветра... грустно одно: ветер, тень оставляющий всюду, сам остается невидим...

Гроссмейстеру, спавшему рядом с Лунной Красавицей на мягком ложе белого облака во втором небе, снился необъяснимый сон...

...будто бы он ненароком оказался в бескрайней опочивальне Некого большого господина, чьим владениям не было конца... опочивальня была так необъятно-огромна, что происходящее виделось лишь частично-разрозненно-смутно, но... все же срединно, т.е. промеж или, возможно, глубинно-утробно... если сузить в фокус обыкновения разрозненно-раздробленные-фасеточно-разъятые фрагменты одного действия, то могло видеться следующее... гигантский квази-хорр, содрогавшийся от гипер-эрекции отчаяния и антигравитации приблизился к сияюще-черной дыре в эпическом центре юной галактики, чье фантастически-прекрасное тело было распластано в таких неслыханных далах, что увидеть его мог лишь Тот, чей грандиозный квази-хорр-супер-фаллос уже вонзался в устье неизъяснимо-нежного лона прекрасной юной галактики... Некто Тот, кому предстояло быть Надстоящим, в тысячелетиях нестерпимых мук сомнения решил заново сотворить сей мир, провидя-видя-понимая свои ошибки от сотворения, ибо мириады людских заблуждений оказались, в сумме своей, сильнее его воли-хотений-упований надвышних... и он, Надстоящий, решил вновь возлюбить и сотворить новое зачатие жизни... вселенная качнулась и стала вибрировать в такт незримым-необозримым фрикциям этого уже неостановимого надбытийного акта...

...Объятый-одержимый нескончаемой любовью своей, Осьмихорр, ставший во второй своей жизни-ипостаси Осьмикосмом, он же-светожор-звездоед-пантократор Неведомого, решил запол-

нить новым семенем надежд последнюю из пустот вселенских, пока еще девственна, юна и плодна была прелестнейшая из всех его галактик...*чем кончится его супер-оргазм незримый гигант-Осьмикосм не задумывался, ибо сейчас был озабочен-увлечен своим любовным надстоянием над застенчивой девственницей-галактикой... лились и лились звуки вечной гармонии из органа высоких небес...*

Гроссмейстер, проснувшись, забыл свой дивный сон и предался долгим мечтам-упованиям, пока его Лунная Красавица собирала невесомые явства на облачных лугах второго неба, в минуты своего кратко-краткого нескончаемого теперь счастья... хорошо быть любимой и любящей женщиной даже в зыбких просторах второго неба...

...а, быть может, надо отменить на время года високосные и набрать лишнюю сотню лет для размышлений о веках ушедших и грядущих, и назвать это столетие веком «Никто-Нигде-Никогда». А?.. т.е. веком «Неубиения Никого Никем». А?..

...Если осень тебе в глаза посмотрела рано утром со значением и вызвала в сердце жжение, значит: она твоя любимая женщина и будешь ты ею возлюблен и пьяным и трезвым, иначе зачем бы ей просыпаться так рано и отряхивать сны со своих багряных ресниц... на сердце ее золотом из багряни есть свои незажившие раны, но шепчется так:

- Ждет тебя пир увяданья. Проснись... день твой каждый люблю я, милая осень, и, пожалуй, не стану тебя попрекать... спозаранок начну жить я сегодня, не успев забыть вчерашний закат... знаю и то, что бываю порой безрассудным, сам к себе временами беспощадно-жесток, но твой взгляд, как бальзам, для меня в это утро и все беды мои отпадут, как увядший листок... я люблю тебя, осень, спасибо тебе за дары на исходе моем.

Вселенская вишня зацвела. Ее розовые совершенные лепестки и были той самой зарей встававшей на самом краю всех миров. Цветущая нежнейшая оболочка, невесомая и легкая. Эта вселенская вишня, она и только она, охраняла теперь мировую душу и вливала в нее новый свет, благоуханный и чистый не-

ктар невероятной прозрачности. И видеть ее было дано лишь двум из людей, чья любовь могла проникать самые невообразимые пугающие пространства. Земная женищина Одиная и вестник земной Атай, летящий к вселенской цветущей заре, спасительной и овевающей неслыханным благоуханием все миры, видимые и невидимые, все вещи осязаемые и вещи, стоящие за гранью восприятия, все элементы и сущности – физические и мега-материальные, дабы спасти самое великое и хрупкое, что есть в этих мирах – Любовь.

И ее единственного источника - Человека. И Атай - Вестник и Одиная-Упованная хранили в сердце и памяти священную легенду былого времени, любовь своих пращуров - Балерину и Гевру, которые не были сломлены никакими лишениями-испытаниями-огорчениями на стыке эр Рыб и Водолея, в середине степей, в равнине равнин, травной-обширной и равной им самим. И ими посаженная цвела теперь Вселенская Вишня и ими зажженная встает Вселенская Заря... И Лазоревый Ангел - дитя их любви.

Эмбрион в середине вселенной зашевелился. Т.е. в «плашке». Гевра только сейчас вразумился. Плашка открылась. Он торопливо собрался и поехал домой, горя нетерпением. Когда Гевра вошел в квартиру, Балерина сидела за полотном и занималась шитьем. Он подошел к ней и, смирив волнение, сказал:

– Знаешь, ты меня прости. Я в последнее время слегка запропастился. Но завтра я покажу тебе одну вещь. И ты поймешь все и простишь.

Балерина подняла голову. По ее бледному лицу текли слезы. Он упал на колени перед нею:

– Что случилось, родная?

– Ничего. Я все тебе прощу... У нас будет ребенок...

Два человека – мужчина и женщина, смотрели в глаза друг другу и плакали. Они были счастливы. Это неплохо, когда столетия и тысячелетия заканчиваются такими слезами.

...Космический пес рванулся с места и вновь погнался за неуловимым последним зайцем.

...Тонкая пряжа ...легкая стружка... Вещи простого...

...бдения среди грез... момент истечения флюидов души... и это тот случай когда нужны стражи сознания... иначе некий может похитить нежные грезы... самые лучшие в тебе упования... предтеча свершений... мелодия сердца и сокровенное слово... вероятно, оттого и дети порой просыпаются жестокими, что утеряли они сокровища грез-упований... на стыке моря с землей следует быть осторожным... в зонах прилива-отлива размывается грань меж человеком и рыбой, и можно стать земноводным... стираются видовые различия... паук превращается в краба... безобидный водяной уж воплотился в гадюку... людолоб в людоеда... трансформации акул в птиц не исключаются... также опасно соседство чащ с полянами... вещи простого теряют ясность... чащобные тайны гротескны перед обнаженностью полян... реальные вещи грезо-убийственны... трансвестит понимает свою ошибку, но поздно... лучше б остался природным... гениальная генеалогия мужчин и женщин должна оставаться чистой... как ни крути, парашютист лишь пародия птиц... женщина – гнездо вселенной... мужчина – луч и щит... если не в той шкуре родился, то лучше страдай... страдания – те же грезы... они просветляют... упования любви божественны, но сама любовь – вещь грубая и земная... различай... так же опасны средостения гор и равнин... снег вершин быстро тает в долинах и становится грязен... луговые ромашки не для эверестов... там голый камень без лепестков... не тщись быть поэтом, зарабатывая деньги... снежный барс на лугу – нелепая пестрая кошка... прибрежная зона – батияль океана-сверх-плодородна... в сравнении с ним побережья пустынь... в лучшем случае, они – банальные пляжи... если влюбленная степнячка поет песню «Камасжай», то она для нее – «Камасутра»... похотливый мужик ей не подойдет... вот почему важны стражи сознания... они бдят нас среди наших же грез... если следовать простым правилам предосторожности, то все упования сбудутся...

Четверо Предстоящих оглядывали нижние земные просторы, но глаза им застилала пелена смущения и растерянности, ибо Надстоящий над днем и вечностью не призывал их к себе и потому не могли они поведать ему свои мысли и наблюдения над

человеками и дать некие рекомендации по улучшению людской природы, сотворенной из огненной плазмы страстей животных и безумной надежды обрести покой в непрестанной работе ума и души. Предстоящие смиренно и терпеливо ожидали, что их призовут из их долгого удаления-отстояния, и размышляли о деяниях Надстоящего и его высокого Замысла о бытии земном и вечном... Надстоящий молчал...

Мириады бабочек враз поднялись и полетели. Большие, обычные и совсем крохотные. О!.. Колоссальное, во все небо, многоцветное летящее Совершенство!.. Вот, что это было такое. Вскоре они – скопление бабочек – миновали земное небо и стали стремительно удаляться. Теперь они казались единым гибким крылом, некоей аэродинамической сущностью, а точнее – осуществленной высшей субстанцией. Впрочем, так оно и было. В каждой из бабочек: радужных-пестрых-черно-оранжевых – в прожилках серебряных – багряных – с подпалиной – голубых с алыми проблесками – сине – жемчужных – с глазом пронзающим – сиренево-лиловых по краю – в центре пылающая охра – знак солнца... в каждой из бабочек, собравшихся в сонм, хранилась душа человечья в коконе-тельце, душа всех человеков, когда-либо народившихся и живших здесь, на земле, мириады душ неповторимых, каждая со своей судьбой – кармой – мукой – сиянием – скорбью – радостью – сомнением – сокрушением – вдохновением – чаянием – любовью, и каждая душа (когда бы не изошла она из человека) была неповторима, как узоры на крыльях этого сонмища бабочек в неисчислимом множестве форм и красок... и вся эта, летящая за пределы земные, феерия: гибкое-тонкое-светящееся-стремительное совершенство, имела одно на всех великое и трепетное Упование, и несло это Упование к престолу Надстоящего над сущим и незримым, чтобы Тот через одно только это Упование понял, чего хотят люди, еще живущие на земле... Мировая душа улетала, однажды, под утро, когда на поля выпал иней..

2008-2009 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая	5
Часть вторая	117
Часть третья	187

THE
BEST

OLD

DRINK

For the...
e-mail: best@best.ru

Внимание!...
Телефон: 1 800 1 178

Накипов Дюсенбек

ТЕНЬ ВЕТРА

Роман

**Литературный редактор
Иван БЕКЕТОВ**

**Художник
Гани КИСТАУОВ**

**Компьютерный набор
Карлыгаш ИСКАРАЕВА**

**Корректор
Ирина ДМИТРИЕВА**

**Издатели:
Сайран САДЫКОВ
Гаухар ШАНГИТБАЕВА**

**Издательство «СаТа»
г. Алматы, ул. Желтоқсан, 140
(уг. ул. Кабанбай батыра), тел/факс: 261 48 75
e-mail: izdatelstvo_saga@mail.ru**

**Бумага офсетная №1. Формат 60x90 1/16
Уч.-изд. л. – 17,0. Тираж 1 000 экз.**





DN

Дюсенбек Накипов, поэт, хореограф, романист. Автор книг поэзии: «Вечер века», «Песня моллюска», «Женщина и пурпур», книги поэм «Время Ре», и романов: «Круг пепла» и «Тень ветра». Новый роман Дюсенбека Накипова «Тень ветра» можно рассматривать, как продолжение его первого романа «Круг пепла». Во всяком случае, в плане единого художественного стиля, своеобразного и дерзкого.